80 КОП.

ИНДЕКС 73274

НАШ СОВРЕМЕННИК

1989

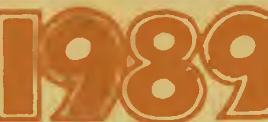
НАШ СОВРЕМЕННИК

9

ISSN 0027-8238

НАШ СОВРЕМЕННИК





9 · 1989

РОССИЯ – РОДИНА МОЯ



Уходит лето...

Фото В. Алексеева

НАШ
СОВРЕМЕННИК



ОСНОВАН А. М. ГОРЬКИМ В 1933 ГОДУ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

9 · 1989

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА», МОСКВА

СОДЕРЖАНИЕ

Технический редактор **Л. Л. Енова**. Корректоры **С. Л. Колганова, М. И. Кононова**.

Адрес редакции: 103750, ГСП, Москва, Цветной бульвар, 30. Телефоны: 200-24-24 (главный редактор), 200-24-83, 200-24-94 (заместители главного редактора), 921-43-59 (ответственный секретарь), 921-48-71, 200-23-05 (отдел прозы), 200-24-07 (отдел поэзии), 200-24-76 (отдел очерка и публицистики), 200-24-70 (отдел критики), [illegible]-32-16 (международный отдел), 200-24-32 (технический редактор), 200-23-54 (корректоры), 200-24-12 (зав. редакцией)

Сдано в набор 12.06.89. Подписано к печати 04.09.89. А 0[illegible]01
Формат 70×108¹/₁₆. Бумага типографская № 2. Печать высокая
Усл. печ. л. 16,8. Усл. кр.-отт. 17,24. Уч. изд. л. 20,71. Тираж 250 [illegible] экз. Заказ 1267
Цена 80 коп.

Издательство «Литературная газета», 103750, Москва, Цветной бульвар, 30.
Ордена «Знак Почета» типография газеты «Красная звезда»,
123826, Москва, Хорошевское шоссе, 38.

Фатей ШИПУНОВ

ВЕЛИКАЯ ЗАМЯТНЯ

В СЕЛЕ НА ДАЛЕКОМ АЛТАЕ

В 1980 году я заехал на свою малую родину — в село горного Алтая. Осмотрев его со склона горы, обнаружил, что оно почти вымерло: 17 захудалых изб с огородами и мелкими хозяйственными строениями стояли на большом удалении друг от друга. Ни одной живой души не было видно!

Правый склон долины речки Щебеты, где сеяли знаменитую ярицу — яровую рожь, весь покрылся лиственничным молодняком. Солнечные увалы, где обычно возделывали пшеницу, также обступили со всех сторон молодые леса, а по логам и мелким долинкам речек, некогда изобильным сенокосами,— непроходимые чащи ивняков, березняков, осинников и лиственничников. Деревьям было уже не менее полувека, а тем, что росли ближе к селу, лет 25—30. Что случилось с землей, которая так быстро запустела и занялась лесом? И почему мои односельчане допустили это?

Поднимаюсь вверх по своей любимой речке — Елиновой, где каждый камень и куст, каждый изгиб живого потока воды вызывает воспоминания, радостные или грустные. Не просто было ее перейти вброд еще в 40-е годы да и верхом на лошади не везде, бывало, проедешь — вода под стремена, а то и выше! Теперь она пробивается среди камней едва заметным ручейком. Не стало речки! Десяток ключей, ее питавших,— высохли. Даже ключ с водопадами и бурчилами, который мы называли Быстреньким, исчез и зарос тальниками и кустарниками. Еще 40—50 лет тому назад она была самой рыбной в округе: водился здесь в изобилии стремительный хариус. Теперь она мертва! От одной мельницы не осталось и следов, а от другой — нашел два жернова! Завершался август, а травы на сохранившихся приречных лугах не кошены!

А в селе, там, где стоял добротный телегинский дом, — полынь да бурьян! И рядом, на горе, нет парамоновского дома! Большая, хорошо выстроенная усадьба Фефеловых так заросла крапивой, что и близко не подойдешь. Чудный дом этой усадьбы был разорен еще в 30-е годы. Два брошенных дома за речкой совсем обветшали. Один из самых красивых домов — Рехтина, где в 40—50-е годы размещалась четырехклассная школа, вывезен на центральную усадьбу совхоза. И это место заросло крапивой. В пятидесятые не стало родового дома, в семидесятые исчезла изба, в которой провел детство. Я недосчитался более 60 дворов. Родники, бившие холодными струями из-под известковых горушек и разливавшиеся в чистейшие озерца, также сгинули или забиты мусором, грязью. Десятки лет ничья рука к ним не прикоснулась, чтоб их восстановить.

Но причудливые обрамления гор, сияние в лучах солнца снежных вершин, формы глубоких долин и поворотов речек, спускающиеся чере

дой в них облака и появляющиеся по утрам над поймами туманы — весь безмолвный вечный строй природы был все тот же, как и 50 лет назад. И тем не менее что-то очень важное отсутствовало в этом строе, угнетало душу, вызывало тревогу. Не слышны были детские голоса, хозяйственный гомон крестьянских дворов, не встречался и сам крестьянин. И только ли это? Не от ума, а от сердца пришло, что пропала здесь простая человеческая радость бытия, исчезла красота земли и творений человека, покинул долину всетворящий дух, где была и есть моя малая родина!

Подумалось тогда, что, видимо, сёла, как и люди, также смертны. Они родятся, резвятся, мужают, затем дряхлеют и погибают. Может быть, и судьба моего села такова же. Но от отца узнал, что оно погибло в расцвете сил, в начинавшейся юности! Много раз он мне рассказывал о селе, его крестьянах, их бедах и радостях, последней войне. Но на этот раз поведал самое главное, может быть, так до конца и не пережитое, состарившее его раньше времени, и без того искалеченного на фронте. Спустя три года после грустной исповеди он ушел из жизни.

Большое село Топольное, созданное в конце XVIII века выселенцами из Петропавловского, старинного алтайского села. В 60—70-е годы прошлого века Топольное имело заимки по долинам речек-притоков реки Ануй, в том числе и по речке Щебете. После того, как в начале XX века некоторые земли Алтая были переданы крестьянам под заселение, эти заимки стали обрастать деревнями. Так из трехзаимочного поселения на речке Щебете и возникла вначале деревня, а потом и село. В нем перед революцией насчитывалось 80 дворов с 480 душами обоего пола, из них взрослых трудоспособных — более 240 душ. Вначале дома рубились на месте из живого леса, обычно из ельника, что произрастал по берегам речек. Потому и прозвали село Елиново. Крестьяне разработали и окультурили вокруг села пашни и сенокосы. Пастбища простирались по горам и долам на многие километры в округе. На каждый крестьянский двор приходилось не менее 4—5 лошадей, 7—8 голов крупного рогатого скота (в том числе 3—4 дойных коровы), 10—12 овец и коз. По логам и долинам рек и речек каждый домохозяин ставил до 30 ульев. Он также имел более чем по пять десятин посевных площадей, где возделывались рожь, ячмень, пшеница, овес, лен, горох, бобы, картофель, а на огородах — овощи. В садах преобладали местные сорта ягодников и фруктовых.

Крестьянское землепользование держалось на общинном уставе, в который входили чересполосица и переделы, особенно покосов. Они нередко вносили споры, разногласия и раздоры в общину, которые миром улаживались, но в душе самых хозяйственных крестьян поселяли горесть и какую-то неустроенность. Понимали они, что эта неустроенность не помогает увеличивать силу земли и способность землевладельцев в поднятии урожайности возделываемых культур и трав. Крестьяне как будто сговорились круговой порукой и держали более десятка лет среднюю урожайность зерновых неизменно постоянной: озимой ржи — 45—50 пудов с десятины, ярицы — 40—45, озимой пшеницы — 65—70, яровой пшеницы — 40—45, ячменя — 55—60, овса — 50—55 пудов. Картофеля собирали по 500—530 пудов. Нередко высокие урожаи — стопудовые и выше — вызывали зависть у некоторых односельчан и вели в скором времени к переделу земли. Ежегодно около 15 пудов хлеба шло на прокорм одного члена семьи, а более 18 пудов на душу оставалось в остатке. Не торговало бойко село хлебом, как степные многолюдные села, но после обильных урожаев выдавало из излишков на торге до 2—2,5 тысячи пудов отборного зерна. Потому и неведомы были людям голодовки и незнаема была скоту и птице бескормица. По будничным дням стол крестьянский полнился простым ячменным да ржаным хлебом, а по праздничным прибавлялся и пшеничный. А всех хлебов пеклось в русских печках до десяти сортов. В постные дни к этим хлебам подавалось до 5—7 блюд, а в остальные — и поболее.

Но с 1910 года стали наезжать в село землемеры, часто упоминавшие в разговорах с крестьянами имя Столыпина и губернских земельных деятелей. По согласию сельского схода они нарезали землю и постоянно закрепляли на ней часть домохозяев. Такими домохозяевами являлись прежде всего те крестьянские семьи, которые вели уход за землею, расчищая ее от кустарников и леса. Не прошло и двух-трех лет, как эти дворы стали получать более чем стопудовые урожаи зерновых на своих пашнях! Потянулись и другие туда же, и пошли заявления в волость на постоянство землевладения. К 1916 году 15 процентов крестьянских дворов владели неотчуждаемой землей, то есть без передела и чересполосицу. Из заимок выросли хутора.

По согласию общины закреплялись за отдельными домохозяевами или несколькими семьями участки рек и речек для их расчистки от мусора и заиления. Точно так же закреплялись лесные участки, где проводился уход за древостоями и вырубка их спелой доли для потребности дворов. За состоянием закрепленного леса и правильностью ведения в нем хозяйства следило казенное лесничество. Другой домохозяин не мог рубить себе деловой лес не на своем участке, хотя сбор ягод и грибов и съедобных растений разрешался повсюду. Также были закреплены за дворами и кедровые леса, где запрещалось рубить живые плодоносящие деревья, не позволялся сбор кедровых орехов.

По многолетней практике сроки сенокосов, уборки зерновых и других культур и даже время рубки леса были известны. На этот счет были в селе старожилы-знатоки не только хода погодного времени, но и биологического и даже, как теперь сказали бы, экологического времени, в котором должны были разворачиваться хозяйственные работы. Эти крестьянские мудрецы знали, что круг экологический, который не похож от сезона к сезону и от года к году, переходил в круг хозяйственный, столь же непохожий в годовом и многолетнем циклах. Но в этом и было единство разнообразия сельского мира, радость не похожего ни на один миг крестьянского дела, требовавшего не только терпения, но и огромного таланта и выдумки. И по жизни этих знатоков — народных умельцев — негласно равнялось все крестьянское население в своей многосложной деятельности. «Фефеловы выехали на посев ярицы», — говорила жена мужу за ужином. И на следующее утро домохозяин готовил инвентарь, сбрую и лошадей к посевной на завтра. И так было во всем, но со своими прикидками на землю, добротность зерна, силу лошадей, дальность выезда, подмогу сыновей.

Траву косили тогда, когда пчела мед вынесла, а сами растения отдали семена земле да «поспели» для покоса. Обычно сенокосная пора начиналась после петрова дня, уборка первых зерновых — после прохождения «хлебозоров», или «зарниц» (дальних высоких гроз), в начале августа, а льна — после выпадения обильных рос. Под пары навоз вносили на троицу, а под овощи самый ценный навоз — конский — вносился перед их посадкой. А всего знали в селе более 20 способов изготовления навоза. Ведь у каждого домохозяина земелька требовала своего подхода и обихаживания, своей ласки! Да и сортов зерновых было десятки. Почти каждая семья имела свой набор сортов, особенно ржи. При переделе да чересполосице господствовала трехполка, редко четырехполка. А после закрепления неотчуждаемой земли крестьяне повели на ней шести-, девяти-, а то и двенадцатиполку!

Реки и речки были в общем пользовании, являясь питьевыми. В отношении рыбной ловли соблюдались жесткие правила. Так, в нерестовое время, когда шли на свои гульбища хариус, налим и таймень, для установки каждой верши разрешалось перегораживать не более чем треть реки. Все следили также за тем, чтобы были настилы и мосты через родники, речки и реки, для того чтобы не мутить воду и не грязнить ее смазочными материалами. Мочка льна и конопли была разрешена только на отводных рукавах без стока обескислороженных вод в

открытые водоемы. По речкам и ключам, и тоже на отводных рукавах, было построено 20 мельниц. Они были вписаны в природу с минимальными ее нарушениями: никогда не перегораживалось основное русло реки, речки или ключа. Мощность каждой из таких мельниц достигала 5—7 киловатт. Так что вместе с рабочими лошадьми они давали установленную мощность до 300—400 киловатт. Такой мощности хватало селу для обеспечения его хозяйства энергией, хотя труд еще был во многом ручным, особенно в животноводстве. Однако уборка зерновых и их обмолот все больше становились полумеханизированными: были уже молотилки, жнейки и косилки. Гумновое хозяйство, о котором в скором времени забудет крестьянство, позволяло без надрыва обмолачивать хлеба в позднеосеннее и зимнее время, когда зерно в скирдах становилось «спелым», набирало максимум живительной силы. С такого обмолота шел тот хлеб, который красотой, запахом и здоровьем вершил крестьянский престол! Потому и считалось обмолачивать хлеба раньше времени, когда они не дошли в скирдах на гумне, делом греховным и зряшным.

В селе был и кооператив по приему молока, поступавшего в изобилии с крестьянских хозяйств. На его маслобойке вырабатывалось масло, имевшее мировой спрос. Привозимый с трехсот пасек мед считался наиболее ценным и шел, как правило, на рынки Москвы, Санкт-Петербурга и даже Лондона. На случай недородов, несчастий и прибавки в посевах береглось в достатке страховое и запасное зерно. Для этого были сооружены особые склады, которые назывались «магазеями».

Крестьянский достаток, названный в 30-е годы «богатством», определялся трудолюбием и умением вести хозяйство, то есть радением к земле и сельскому делу. Один вставал до свету и по росе накашивался вдосталь, а другой — к десяти часам и косу не отбил! У одного сено собрано в стогах загодя, а у другого — в дождь оставлено в прокосах да малых копнах. Иной и по ночам строит водяную мельницу, а тот — в ступе ячмень толчет. Один сани сделает так, что годы ходят без ремонта, а второй — тяп-ляп, на один год! Крестьянский недостаток, прозванный в те же 30-е годы «бедностью», происходил главным образом от лености в труде, неумения вести хозяйство, то есть нерадения земле и сельскому делу.

В 1913—1914 годах захудалых хозяйств с крестьянским недостатком было в селе около 20 дворов, имевших на семью в 5—6 человек 1—2, реже 3 дойных коровы и 2—3 запряжных лошади.

В закрома засыпалось у них около 20 пудов на душу в год. Крестьянский мир считал такие семьи несчастными, стремился им помогать, опекать, и число их оттого с годами уменьшалось. Может быть, нерадение это рождалось от неуважения к сельскому делу, от «нележания души» к нему. Потому и переходили от крестьянствования к кустарным и отхожим промыслам, тянулись к частым переездам от села к селу, забрасывали животноводство, которое ко двору привязывало неотлучно. Крепких хозяйств с высоким достатком имелось в те годы около 20 дворов, которые на 10—12 человек семьи держали 15—20 дойных коров и 20—25 запряжных лошадей. Хлеба намолачивали более 30—35 пудов на душу в год. Более половины хозяйств, имевших в семье 5—6 человек, содержали 7—8 дойных коров и столько же рабочих лошадей. Они засыпали хлеба также более 30 пудов на душу в год. Крестьянский достаток этих хозяйств был столь же высок, как и у крепких хозяйств. Впоследствии в 30-е годы в горном Алтае эти три категории хозяйств будут положены в основу классового деления крестьянства на бедных, кулаков и середняков.

Наемный труд в селе не применялся, разве что на помочи призовут, так для того, чтобы не только в сжатые сроки сделать работу, но и на народе побыть. И катились эти помочи от двора ко двору!

В больших селах были один-два двора, державшие до 30—40 дойных коров и столько же запряжных коней. Такие дворы имели 2—3-х работников, которые, проработав несколько лет в найме, вставали на ноги и становились вровень с трудолюбивыми и зажиточными домохозяевами. С 30-х годов повелось считать, что причиной бедняцких дворов являются мироеды, что, видимо, в степных округах имело место, но не в нашем селе, в котором приторговывал скотом только один двор — Митрофана Рехтина. Но и его нельзя было отнести к мироедам.

Самое интересное то, что этот социально-трудовой устой села происходил не столько сам из себя, сколько из другого устоя — хозяйственно-экологического. Каждое хозяйство двора было поистине организмом, состоящим из человеческой семьи, домашних животных, растений, в целом земли-кормилицы. И чем слаженнее был этот организм, опирающийся на вековое крестьянское знание многих поколений, их хозяйственный и экологический опыт, чем талантливее он был устроен, тем более продуктивно он действовал, тем больше был прибыток в хозяйстве. Потому крестьянство — это одно из величайших искусств, которое было по плечу не каждому. Оно было по силам тому, кто рождался с молоком матери крестьянином, кто затем жил и творил как **знаток** земли, который объективно проявлялся крестьянским **умельцем**. Тут великое крестьянское умение — **радение** проистекало от столь же великого крестьянского **знания** — мудрожития.

Но и этот устой в **свою** очередь вытекал не столько сам из себя, сколько из еще более глубинного устоя — нравственно-духовного, опиравшегося на нерасторжимые связи крестьянина и природы, земли и тварей ее населяющих. Скажем, приезжал дед Трифон Лаврентьевич Новиков с пасеки в свое большое семейство с невестками, детьми и внуками и спокойно за столом при всех говорил: «Миритесь, из-за вашей свары боль — пчелы плохо взёт идут!» И мирились в семье, кто семя злобы внес, и после того примечал дед, что пчелы выправились в службе по опылению растений и сбору меда. В доброй семье и пчелы были добры и к работе пригожи, а в недоброй и особо злобной — агрессивны и ленивы в труде и даже охочи до чужого меда. Сей знаменательный факт наблюдался и у других домашних животных, особенно собак, хотя и не был правилом. Другими словами, нравственность незримыми нугями распространялась от мира человека к миру животных и растений, от которых получала в свою очередь ответную реакцию. В нравственный мир человека включался мир сродных живых существ, которых он нарекал по именам, давал им смысл существования. Но в основе этого явления лежала любовь, которая была многогранна и всеобъемлюща: к отцам и дедам — прошлому, к детям — будущему, к родителям — настоящему, к земле с ее животными и растениями — своей второй живой половине. Вот почему земля являлась не столь поприщем, сколько детищем крестьянина.

Оттого — и провиденциальность, осмысленность человеческой жизни, которая не только зависела от воли живых, но и от памяти об умерших и от думы о еще не родившихся. Выхоленные буренки и красули рожали телочек еще краше, чем их матери, а воронухи и гнедухи — таких же жеребят, которых жалко было отдавать в чужие руки, — все они были членами семьи. И тем во многом объяснялось прибавление стада коров и лошадей. Оно росло как на опаре! И было то не столько от достатка в земле и числа работников в семье, сколько от милосердия к сродным существам, душевной боли за них. Потому подлинное крестьянствование — великий духовный подвиг, который тем более не каждому по плечу. Оно было под силу тому, кто с колыбели его чувствовал, им жил и творил как духовный **подвижник**, который объективно проявлялся в **святительстве** земли своей. Земля для него была не столько мастерской, сколько храмом! Именно крестьянин более всего верил во что-то иное, чем само крестьянствование. А это означало, что и весь народ также верил во что-то иное, чем сама его история. Перед са-

мой революцией деды уговаривали своих могутных сыновей приступить к созданию православного храма на селе такой красоты, которой еще не было в храмах, построенных в старинных селах — Сибирячихе, Черном Ануе или Солонешном. И облюбовали место, где его ставить! И старообрядцы готовились срубить на славу свой молельный дом.

Веками создавался крестьянский мир, и вся его полнота еще не постигнута. Но ясно, что этот мир рождался из крестьянского чувства красоты, важнейшего связывающего звена между материальным и духовным миром как источником культуры. Потому-то крестьянская культура лилась, как из драгоценного сосуда, несказанной красотой на бесчисленные веси, затерявшиеся на просторах России. Она составляла основу всеобщей культуры Отечества.

Пусть малой долей, но вносило изо дня в день свою лепту в этот процесс и село на Алтае. Оно благоустраивалось добротными усадьбами с домами, амбарами, скотными дворами, гумнами, мельницами, заимками, поскотинами. Всяк хотел блеснуть умением сладить свой дом напригляд другому, показать, что и он не лыком шит, чтоб говорили: «Вот парамоновский, большаковский или новиковский дом!» Село шло улицей вдоль реки Щебеты и ее притоков — речек Елиновой и Рыбной. По улице не ездили, чтобы ее не захламлять да не разбивать зеленые лужайки около домов, чтобы всегда она была праздничной. Заезд к хозяйственным строениям был с околицы, по-за огородами. И утопало в зелени трав-мурав да раскидистых ветел поселение, не были разъезжены и раздрызганы вкривь и вкось проселки; радели за деревенскую улицу. «Ах, какая ярица уродилась у Ермилы. Глаз бы не отводил», — говорил сосед соседу. У одних — так лошади все вороные, а у других — гнедые иль игрение! Появились домохозяева, где все лошади были не только одной масти, но и иноходцами. А сбруи на масленицу? — и под серебром, и под медью, и под медью и серебром разом, и плетенные в десятки ремней! А крестьянская одежда из десятков домотканей — то тончайших, то средних, то крученных в несколько, то грубых нитей из льна или шерсти! И прикупленные ткани на ярмарках! Глаз не отведешь, а главное — легкие, удобные, здоровые! Для женщин и девушек на каждый божий праздник, почитай, иная одежда — сарафаны, оборки, юбки, кофты, шали, кокошники, пояски, бусы, жемчуга, ожерелья, серьги. Как маков цвет или июньский алтайский луг в цвету покрыто село в такие дни разодетыми сельчанами. А крестьянская утварь из сотен изделий, и какой красоты и утонченности! Сейчас кажется, что не они, крестьяне, все это творили, а некто другой. И где только время брали?

Да, крестьяне много и трудно работали, часто с четырех часов утра до позднего вечера, особенно в страду, но следили главы семейства да старшие в роде, чтоб надсады никто не имел — грех то неоправданный! Потому умели отдыхать. «Отдохнем — так потом и примахнем», — говаривали старики. Более 110 дней в году было праздничных, включая воскресенья, когда считалось, что работа в лесу, поле, на огороде, гумне и стройке являлась грехом и потому не шла впрок. Многие из этих дней уходили не только на молитву, устройство нравственного лада и духовного покоя и мира, но и на творение красоты во всем, что окружало крестьянина и что воздействовало на его повседневную жизнь.

Песни в такие праздничные дни лились со всех сторон — каждая семья имела свои особенные песни и напевы общесельских песен. Что ни семья — то многоголосый хор! Но и летом на работу или с работы — с песнями. И на девичьих посиделках за веретеном — тоже песни! А какими хороводами славились сельские девушки и парни! Завидовали тому многие села и деревни и старались выбирать невест и женихов в селении на берегах речки Щебеты. Породниться с крестьянами села на этой речке было завидным делом!

А какие свадьбы справляли! Что ни семья, что ни село — свадьба свадьбе рознь! Неслись по накатанному снегу 7—8 троек и пар лошадей, запряженных в чудесно расписанные кошевки и возки, и лились по долинам от села к селу звон колокольчиков, игра гармошек да протяжные песни. На первой серой тройке — дружка с женихом и невестой, на второй, соловой тройке — родители той и другой стороны, а следом на чалых, игрених, бурых, мухортых, карих и вороных парах — свахи, родные и близкие, стрельцы-молодцы да потешники. И длилась свадьба неделю, и заезжала она в десятки крестьянских ворот, пока вся родня окрестных сел и деревень не угостит молодых и всех с ними давно перебродившей в логунах под божницей в горнице медовухой. И диву теперь даешься, как умели крестьяне творить красоту своей жизни и обладать радостью простого человеческого бытия.

Быть крестьянином означало постоянно нести крест — тяжкое бремя не только кормления народа, но и сохранения его нравственно-духовного здоровья. В тяжком несении крестьянского тягла, в радостях и печалях, в творчестве хозяйства и культуры пребывали села и деревни, не ведая безнравственных помыслов, поступков и дел. Было то же и в далеком селе на Алтае. Не поклониться соседу или селянину, увидев его первый раз на день, не пожелать ему здравствия, не спросить его о здравии деток, хозяйки, благоденствии хозяйства — только потемневший разумом и растерявший совесть человек мог пойти на то.

Как зеницу ока берегли и хранили честь девушки и парня, семьи да и села. Без согласия родителей, без венца вступить в сожительство девушке или парню — хуже не было греха, позор — не только на семью, но и на все село и всех родичей в округе. Хождение из семей от живых мужа или жены по сударикам и сударушкам, смена жены или мужа при их жизни — преступление, которому не было никакого оправдания. Семьи, где это встречалось, считались несчастными, которых можно было только жалеть, как домашних животных. И жалели их и пытались исправлять их, но породнение с ними не вязалось. Как чудесные нежные цветы, лелеяли и растили девушек перед выданьем замуж. Никто при них не токмо что не осмеливался говорить обидные, хульные, скверные, недостойные слова, но и в светлых, добрых, радостных и красивых речах имел подбор. Никто не смел бередить душу девушки или парня, когда они готовились к совершению святого дела — творению семьи. И берегли язык свой, не засоряя его зазорными и зряшными словами, пустословием и суетностью. Что ни семья, что ни село — то речь особая, со своими поговорками, пословицами и прибаутками — меткая, точная, краткая, смышленая. Для тех крестьян, что владели тем языком, нынешний — просто тарабарщина, почти что набор звуков, не могущих отразить тонкую мысль, надругательство над священным общением между разумными людьми. «Каков язык — таковы и души», — помнили все!

Только приставленные костыльки или хворостинки к дверям «охраняли» дома и оповещали, что в них нет ни души. На заимках по дальним пасекам и покосам оставался хлеб, квас и мед для уставшего прохожего иль заезжего путника. За всю историю села был один случай кражи сбруи. Того воришку изловили, провели с одетым хомутом по селу, чтоб другим было неповадно, и отпустили с миром. А попадался еще раз на том же — получал отходную из села на все четыре стороны. Потому-то большая по территории, хозяйству, населению Солонешенская волость имела в управлении старосту из местных крестьян на общественных началах, платных писаря и урядника. В селе же избирался на сходе из добрых и самых толковых крестьян староста, и тоже на общественных началах. Под руководством такого старосты два раза в год собирался сход, который решал вопросы, касавшиеся всего сельского мира, — отремонтировать ли мосты, починить ли дороги и поскотины, засыпать ли страховое зерно, учинить ли передел земли, обеспечить ли погорельца необходимым, да мало ли чего бывало на селе,

требовавшего решения миром. И попробуй не выполнить то, что предписано сходом! Крестьянский упрекающий взор, непоклон и отрешение за то — хуже нет наказания! Сельский мир сам собой управлялся, да еще с какой премудростью. Писаных законов знали мало (на то писарь сидел в волости!), но в сердце носили нравственные устои по совести великой!

А взглянем пошире да поглубже на историю нашу, так увидим, что крестьянство было судьбоносной основой Отечества. Мельчайшими живыми «клеточками» этого тела были крестьянские семьи — соборные личности. Они по невидимым взору нравственным и духовным законам созидались из индивидуальных личностей — крестьян и объединялись в свою очередь в сосемьи — с о о б щ и н ы, из которых слагалось крестьянство как целое. Потому без семьи и личности крестьянина, без сообщины не было бы крестьянства и его великих дел. Точно так же без социально-трудового, хозяйственно-экологического и нравственно-духовного устоев не было бы крестьянина и его семьи, сообщины и в целом крестьянства. Все эти устои, будучи неравными, но равноценными, только и могли обогащать друг друга, и государственная деятельность состояла в том, чтобы не покладая рук поддерживать этот крестьянский строй. В этом суть крестьянства и крестьянствования. Таков же был крестьянский строй и в селе на далеком Алтае. От года к году он совершенствовался, и, казалось, никто и ничто ему не страшны, не найдется силы его сломить. Но вскоре стряслась нежданная тяжкая беда.

МАЛАЯ ЗАМЯТНЯ!

Революционные события, катившиеся по России, не скоро дошли до села. Но слышно стало, что из соседних сел выехали наскоро несколько крестьян, кто приторговывал скотом. За ними следом куда-то уехал и Митрофан Рехтин — единственный крестьянин, тоже приторговывавший скотом.

Катилась волна гражданской войны: то белые приходили, то красные их теснили, то те обирали крестьян, то эти — надо же было кормить лошадей и вооруженных людей. В 1919—1920 годы были взяты якобы за поддержку белого движения и пропали без вести несколько крестьян — глав семейств со старшими сыновьями. Во след своим пропавшим сородичам — старшим — исчезли и остальные члены семей. Бывало так: днем только что говорил с соседом, а на следующее утро — его и духу уже не было. Пополнение села жителями остановилось. Все приглядывались, что далее будет.

В 1924 году появились в селе уполномоченные из района иль из округа, и по их настоянию был создан комитет бедноты из тех крестьян, что не очень-то уважали крестьянский труд и не отличались высокой нравственностью. Этому комитету вменялось в обязанность следить за всем, что происходило в селе, особенно за помыслами, чаяниями и «разговорчиками богатеев». Ему наказывалось глаз не спускать с крепких хозяйств, хотя и не зариться пока на их имущество. Но это не главное, что вменялось комитетам. Они обязаны были образовать ячейку новой сельской жизни — коллективного, совместного труда и землепользования. И убедить в необходимости, непреложности наступления этой жизни как можно больше крестьян, а кто не пойдет на убеждения — заранее их приметить и взять на карандаш. И как ни работал и ни заседал комитет, как ни горел у активистов свет в окнах до утра, пока не удалось сколотить такую ячейку. В марте 1925 года прибывший из района уполномоченный предложил вначале из самых активных бедняков организовать товарищество по совместной обработке земли (ТОЗ), то есть весной совместно обработать землю и засеять ее из собранного в кучу семенного зерна. Но в 1925 году весной это не получилось, и только в 1926 году ТОЗ сработал, но урожай делили с криком, руганью, вспоминали былые обиды. Большая часть тозовцев ушла из первенца колхоза. Сохранился лишь кооператив по совместной обработке молока, но количество его членов поубавилось. И так было не только в селе Елиново, но и во всем районе, а там далее и в округе и крае.

Первые шаги коллективизации явно не удавались, крестьяне только им данным чутьем видели в них опасность всему крестьянскому делу: все делалось наспех, непродуманно, без совета с ними, во вред ему. Крестьянам навязывалось что-то такое, что элементарно не вязалось с простым здравомыслием — противоречило основам крестьянского строя, который выстрадан в тяжком вековом труде, всем гением народа. Но эксперимент с крестьянством на началах коллективизации упорно навязывался. Чтобы поправить с ним дело, райкомы и райисполкомы, окружкомы и окрисполкомы, крайком и крайисполком принимали экстренные меры, такие, чтобы не было выхода у крестьян, как только податься в колхозы. А поскольку большинство в селах и деревнях составляли так называемые середняцкие хозяйства, то на них и направлялись все способы принуждения к тому. Так, 21 апреля 1928 года в районе создается с е м е й н а я н а л о г о в а я комиссия, которая должна была п е р е о б л о ж и т ь многосемейного середняка, «уловить его доходы от несельскохозяйственных заработков». Она установила надбавки к исчисленным ранее у них доходам до 25%. Причем с хозяйств, имевших доходы до 400—500 рублей, снималось 16%, а с хозяйств с бóльшим доходом — только 8%. Были установлены три типа хозяйств по степени налогообложения: индивидуально обложенные, индивидуально обложенные с надбавкой и лишенные льгот по сельскохозяйственному налогу, то есть отнесенные к полному изыманию у них всех наличных продуктов. Члены комитетов бедноты уже не работали непосредственно в сельском хозяйстве, а занимались только политикой — проводили слеты и смотры групп бедноты, совещания, обучения в округах. На них вырабатывалась тактика нового строительства колхозного строя. В этой тактике первым делом должно быть выявление кулаков, вторым — индивидуальное обложение всякого, кто будет препятствовать колхозному движению (продал 10 пудов хлеба — в обложенье пошел!), третьим — ликвидация кулака как класса. Коммуна как форма колхоза должна занимать ведущее место.

В апреле 1928-го и затем в июне того же года пришли «сверху» директивы, запрещающие внутридеревенскую куплю и продажу хлеба, то есть вводилась государственная монополия на хлеб. В селах и деревнях «активисты» начали производить обыски хлебных запасов и даже создавать заградотряды. Находимое в хозяйствах зерно, которое оставлялось на прокорм семьи, и семена изымались полностью, а чтобы замести следы сего разбоя, относили такие хозяйства к третьей категории, то есть лишенных льгот, и объявляли их срывающими хлебозаготовки и нарушающими хлебную монополию. Восемь таких хозяйств были разграблены, а главы их семейств увезены ОГПУ и навечно исчезли в лагерях. А директивы все ужесточались! В феврале 1929 года поступило запрещение на аренду земли кулаками, а в ноябре того же года их лишили всякого голоса во всех видах кооперации. Но этого было мало. Зажиточные крестьяне, трудившиеся от зари до зари, имели от такого труда еще накопленные запасы имущества и продуктов, которые делали их в какой-то мере экономически и нравственно независимыми в своей деятельности и жизни. Это позволяло им, несмотря на внешнее разрушающее давление, сохранять в себе крестьянскую личность — как индивидуальную, так и соборную, семейную. Но существование именно таких крестьян было главным препятствием для силовой коллективизации. Потому более 35—45% общей суммы налогов было возложено на зажиточных крестьян. Бедные хозяйства, составлявшие в селе менее 20%, от налогов освобождались.

Еще с конца 1928 года и особенно в первые месяцы 1929 года зачастили в село уполномоченные из района, округа, края и убеждали поселян в необходимости создания коммуны. «Коммуна нам нужна для того, чтобы ликвидировать двойную душу крестьянина, который не является еще социалистом», — говорили они на сходах. В августе 1929 года наконец удалось сорганизовать такую коммуну под именем «Гигант», в которую первыми вошли 14 бедных дворов. К концу года в нее согнали 11 сел и деревень, включавших около 2500 дворов. Лошадей и жеребят, коров и телят, овец и коз, кур и гусей, инвентарь и сбрую, телеги и сани, молотилки и жатки, зерно и муку, сено и овощи, пчел, мед и воск — все свезли, стащили, согнали в один «котел».

Над селом стояли плач женщин и детей, ругань мужиков, ржание лошадей, рев скота, лай собак, гогот гусей и неразбериха во всем. Лошади и коровы бежали из непривычных загонов-лагерей на свои дворы. За ними неслись очумелые скотогоны-«активисты» с матом, угрожая тем, кто приютит теперь коммунарскую скотинку! Большая часть накопленных за десятилетия крестьянами имущества и продуктов за несколько месяцев была разворована, растащена, съедена — пошла прахом! Коммуна «Гигант» распалась.

Благо каждый тащил своего савраску и изревевшуюся буренку во двор, когда видел, что спина у лошади сбита или вымя у коровы не доит — присушено, да загодя косил сено по ночам в кустарниках. Нашлись и несколько десятков семей, которые не сдали свое хозяйство в коммуну, тем и сохранили его от растранжиривания. Августовские ночи стояли лунными, так многие урывками убирали хлеб серпами. Кто побольше вернул «добра» во двор, тот и не столь бедствовал, а кто был нерасторопен, тот пошел в голод и по миру. Жители села почувствовали впервые признаки голодовки! У кого что уцелело да лишку было, тот делился с растерявшими по спешке к новой жизни. Так с миру по нитке насобирали семена, рабочий скот да готовились к весеннему севу 1930 года. Но не думали крестьяне, выйдя едва живыми из беды коммунарской, что их больше не оставят в покое, не дадут самим решать крестьянские дела и что потянется эта «хлябстина» на десятилетия!

В январе 1930 года стало известно, что Сибкрайком принял постановление об окружных темпах коллективизации на текущий год. По Бийскому округу, куда входило село, надо было поднять уровень коллективизированных хозяйств с 4%, как было предусмотрено ранее планом, до 36% и более. Сплошная коллективизация должна быть закончена к 1 октября 1932 года. В Сибкрайкоме, окружкоме и райисполкомах создавались боевые штабы по руководству операцией по раскулачиванию и выселению контрреволюционных элементов из сел и деревень. Весь наличный репрессивный аппарат: ОГПУ, милиция, прокуратура и суд, земотделы, финотделы, редакции газет, селькоры, комитеты бедноты, сельские Советы, руководители ТОЗов, артелей и коммун — все были задействованы в силовом давлении на крестьянство. В села и деревни выезжали уполномоченные, которые при участии сельсоветов, предколхозов, бедняцко-середняцких групп и батраков должны были производить опись имущества кулаков и его конфискацию.

В феврале 1930 года Сибкрайисполком усиливает темпы коллективизации. Спускается конкретная разнарядка о выселении на новые земли, не считая изгоняемых на север «социально особо опасных крестьян», 50 тысяч семей, в том числе по Бийскому округу — 6500 семей. Надо было согнать с земли, выселить из домов и вывезти 250—300 тысяч душ по краю и 35—40 тысяч душ по округу! На помощь лихорадочно действовавшим боевым штабам идут драконовские директивы «сверху». Сибкрайком рассылает 1 марта 1930 года по местам директиву о порядке раскулачивания и переселения кулацких семей, в которой разъяснялось, что часть этих семей, не представлявших социальной опасности и имевших трудоспособных, но больных членов, и женщин на последнем периоде беременности, райисполкомы по своему усмотрению могли выселять на новые земли в отдельные местности или отдаленные места в пределах края. Вот гуманисты XX века! То ли из центра поступила депеша, то ли в крае посчитали, что темпы коллективизации сильно занижены, и потому 25 апреля 1930 года отменили ранее данные директивы и приказали завершить сплошную коллективизацию не к октябрю 1932 года и даже не к концу 1931 года, а к весенней посевной кампании 1930 года! И заработал как исступленный районный боевой штаб, загоняя одних крестьян в колхозы, а других вырывая из сел и деревень.

На сельском сходе, состоявшемся в апреле 1930 года, выездные боевые штабы говорили, что сделана ошибка, преждевременный скачок в высшую форму коллективного хозяйства — коммуну, но что это делать еще рано и надо не с ТОЗа начинать, а с колхоза — артели, которая выше его по уровню обобществления и сознания крестьян. «Артель, — объясняли они, — это такой колхоз, когда становятся общими земли, инвентарь, хозяйственные строения, рабочий и продуктивный скот, а в личном пользовании остаются свои дома и огороды, мелкая птица, да одна корова, но кто хочет, может сдать и ее, молока хватит в колхозе на всех». Для организации такого колхоза создан был в селе боевой штаб из представителя райисполкома, председателя сельского Совета, активистов бедняков. Этот штаб объявил, что все села и деревни, которые ранее входили в коммуну «Гигант», теперь объединяются в колхоз-артель имени партизанского командира Громова. Во исполнение директив боевые штабисты работали круглосуточно, вызывая крестьян по одному или группами на собеседование, задавая специальные вопросы, по ответам на которые можно было судить об их классовой сущности и социалистической сознательности. На этих собеседованиях требовали от крестьян доносов, оговоров, предательства, злодейски попирая их совесть. Любой ценой надо было убрать с дороги нравственные устои, спасающие от раздора в крестьянстве, разжигания в нем социальной ненависти. Так собранный материал — досье на крестьян — необходим был для разделения всей крестьянской сообщины на классы — бедняков, середняков и кулаков. А из этого расклада выводилось главное — кого отнести к «мироедам». По директивам эти «мироеды» делились на три категории, и к ним должны были применяться различные меры репрессий. Кулацкий актив подлежал наиболее жестоким репрессиям, вплоть до заключения в концлагеря и расстрела. Наиболее экономически мощные и активные элементы кулачества выселялись, менее мощные кулацкие семьи переселялись за пределы коллективизируемых территорий. Все имущество таких кулаков-«мироедов», их вклады конфисковывались и передавались коллективизированной бедноте с зачислением в неделимые фонды создаваемых колхозов и на погашение долгов коммуны кооперативным и государственным органам.

На собрании бедняков и сочувствующих колхозному движению было зачитано по заранее отработанному списку с учетом разнарядки и определено к выдворению из села 17 семей как классовых врагов, которые мешали и будут мешать колхозному движению. О тех 11 крестьянах односельчанах, которые уже были взяты репрессивными органами в 1919—1920 годах и позднее, в 1927—1928 годах, не вспоминали, считали, что эти отцы и старшие сыновья самых хозяйственных семейств сгинули, ну и туда им дорога при теперешних-то делах.

И пора назвать репрессированные семьи, чтобы знала история их имена. Вечная им память! Они работали лучше всех, ухаживали за землей и скотом не в пример другим — нерадивым, соблюдали семейные крестьянские устои, берегли нравственную жизнь на селе. Без них не быть бы крестьянскому миру, которым мы держались века. Не каждый отваживался в их присутствии хулить высочайшие идеалы жизни крестьянина, нарушать экологические законы окружающей природы, глумиться над нравственными устоями жизни рода, семьи, села, деревни,

народа. Они жили по правде, потому и побаивались их те, кто возжелал кривды, кто уже творил черные дела!

Вот поименный перечень этих мучеников коллективизации: две семьи Фефеловых, две семьи Телегиных, две семьи Казазаевых, две семьи Новиковых, семьи Поповых, Большаковых, Пахомовых, Гордеевых, Черданцевых, Бобровых, Даниловых, Попугаевых, Зариных. На том же, видимо, сходе было решено семью Ермилы Трифоновича Новикова раскулачить, но оставить в селе, так как он, высказался сход, много делал добра людям, будучи выборным старостой на селе, и был глуховат. А было у него в то время в хозяйстве на 6 человек (самих двоих, трех дочерей и одного сына): 7 дойных коров, 6 запряжных лошадей, 2 телеги и два передка, 6 саней, 6 комплектов сбруи, 7 серпов, 6 кос, 4 топора, 3 поперечных и 1 продольная пила, плотнично-столярный инструмент, 2 плуга да 3 сохи, 3 бороны, мельница, 30 пчелосемей, гумно, амбар, навес и скотный двор с поветью, баня и крестовый дом из сеней, прихожей, избы и горницы да тесовый забор на столбах. Все это движимое и недвижимое имущество было описано и изъято в колхоз в фонд взносов бедняков, за исключением топора, поперечной пилы, двух лопат, лома, двух серпов, рубанка и четырех стамесок да съестных продуктов на два месяца. Даже последнюю овчинную шубейку сняли с плеч хозяйки Параскевии — жены Ермилы! Со словами: «Прости им, боже, не ведают си, что творят!» — перекрестился, поклонился на все четыре стороны и пошел он с сыном рыть землянку на берегу реки, куда и переехала обобранная семья. В отнятый у него дом въехала семья бедняка Кирилла Казазаева.

Потянулись за околицу прижатые с боков конвоирами санные и тележные вереницы повозок в дождь, грязь, снег да мороз, набитые детьми, отцами и матерями, стариками и старухами и прикрытые чем попало — рогожей, зипунами, тряпьем, половиками и рваными одеялами. Ограбленных и обобранных до нитки 16 семей провожали все оставшиеся жители села, за исключением тех, кто потерял человеческий облик, — активистов и уполномоченных. Никто, расставаясь, не мог удержаться от слез и стенания. Обнимались в последний раз и просили прощения друг у друга. Понимали, что уезжали навечно богатыри духа, великие труженики-крестьяне, рождаемые и творимые веками. Вначале изгоям говорили, что часть из них (это решал райисполком) будет выселена в отдельные места в пределах края. Но край был так велик, что тянулся до далеких тундр и холодных лесных болот Томского округа. Туда они все и загремели! На каком-то этапе выселенные семьи разделили на трудоспособных и нетрудоспособных членов. Первые пошли на лесозаготовки, сплав, строительство лагерей для себя, а вторые — в поселения, специально приспособленные для них.

И пошли они по дальним дорогам, баржам, пересылкам, болотным комариным лагерям, перекличкам, тюрьмам с голодовками, насилием, издевательствами, болезнями и вымиранием. Уже за последним домом на окраине села они были превращены в нелюдей, которым и на свето не стоило появляться.

Разрешалось брать на одну семью выселенцев серп, 2 мотыги, заступ, 2 топора, поперечную пилу, 0,1 продольной пилы, плотнично-столярный инструмент стоимостью 15 руб., 0,1 бороны, 2 косы, 0,5 комплекта саней, телег и сбруи, 0,2 плуга, харчей на два месяца, 0,5 коровы и 0,4 лошади. На запросы изгоняемых крестьян о том, как с таким-то имуществом можно далее жить, уполномоченные и активисты колхоза объясняли, что потому-то и дается им столь мало, чтоб в новых местах они объединялись в колхозы, чтоб перевоспитывались там к новой жизни. Но спешка с выселением была такова, так торопили уполномоченные, активисты и сотрудники ОГПУ, что даже половину того, что полагалось, взять с собой не удавалось. А иные просто на все махнули рукой и ничего не брали, кроме топора и пилы да сухарей на несколько недель.

И опять стояли стон и плач женщин и детей, рев животных, заунывный и не смолкавший сутками лай бросаемых собак (иных пристреливали на месте!), часть усадеб горела, подожженная от злости и в отместку, чтоб сгинули навечно! Имущество выселяемых свозилось на артельные склады и по домам бедняков, где оно за несколько месяцев растаскивалось, расхищалось, портилось! На отобранных и откормленных лошадях скакали активисты в пьяном и буйном состоянии, крича: «Наша власть пришла». Поили взмыленных лошадей сгоряча, и они гибли от воспаления легких, сбивали им спины и заподпруживали животы, ломали ноги. На фефеловском иноходце пьяный учетчик награбленного налетел на валявшуюся борону и распорол ему живот до смерти. Умирающую лошадь он добивал коваными сапогами, приговаривая: «Кулацкое отродье!» Вместе с этим иноходцем канули в Лету и иноходские табуны села Елиново! От знаменитых фефеловских, парамоновских, поповских, телегинских лошадей — вороных, игрених, карих, гнедых — скоро остались клячи и скелеты! Ведерницы коровы орали в колхозных загонах и не давались доиться новым хозяевам. И тех из коровушек, которые долго упорствовали в том, наказывали побоями, а нередко и забивали на мясо. Козы разбрелись по высоким горам и кручам, одичали, и спустя несколько лет пришлось их отстреливать специально созданной бригадой. Разграбленные дома стояли с пустыми глазницами да бродящими вокруг них кошками, собаками и курами. Некоторые из петухов стали агрессивными, пытаясь нападать на прохожих, особенно уполномоченных и конвоиров. Недавно добродушные и невороватые сибирские лайки пролезали в амбары и крали съестные продукты, таща их к своим бывшим дворам, защищались свирепо, когда кое-кто пытался их поколотить. А уполномоченного и двух конвоиров, заехавших поутру на телегинскую пасеку без хозяев и пытавшихся полакомиться медком, пчелы загнали в темный сарай-омшаник и держали их там, искусанных и опухших, до полной ночной темноты. Лошадей же нашли за 20 верст в соседнем селе.

Большая часть инвентаря, борон, жаток, молотяг, телег, передков, саней была свезена в одно место и брошена под открытым небом, завалена в первую же зиму снегом и стала непригодна ко второй весне. Зерно, наспех собранное в амбары с худыми крышами, промокло, загорелось и полностью пропало в двух амбарах из пяти. Искали виновных выезжавшие следователи и, не найдя их, угоняли в заключение невиновных, часто менявшихся кладовщиков. Сливочное масло, отобранное у выселенных и свезенное в амбар, в оттепель по весне вытекало сквозь щели в его полу и разлилось по улице на радость бродящим голодным собакам и свиньям.

Над селом подолгу и почасту стояла небывалая до сих пор зловещая мгла, которая днями шипела над головами прохожих странными, тихими, ползучими грозами. Наступившая весна была почти безмолвна: многие певчие птицы почему-то не прилетали или обошли стороной злополучное село. А еще до того как зазеленела трава на солнцепеках, собралась как-то ранним утром большая стая домашних белых гусей (говорили, что якобы парамоновских!) на горушку да долго горланила, видимо, созывая зачем-то всех своих сородичей. Бабка Соломония пошла их согнать в улицу, но при ее подходе гуси с криком взлетели и, поднимаясь все выше и выше в синь неба, улетели на восток — то ли вслед хозяевам, то ли просто на волю. Дивились все: летывали так-то гуси над селом, но чтоб улететь навсегда — не бывало такого!

Не прошло и двух месяцев после еще не закончившегося штурма крестьянства — небывалого за всю его историю завоевания, как появились окружные тройки из ОГПУ, РКИ и прокуратуры для рассмотрения жалоб о раскулаченных и возвращении им имущества. По решению такой тройки вернулись из ссылки, как незаконно выселенные, четыре семьи: две Телегинских, а затем Черданцевых и Новиковых. Имущество

им не вернули: оно было разворовано, растащено, изношено, прожито — и пойди найди его теперь! В семье Новиковых отец не вернулся. Он был замучен пытками за то, что не сознавался в школьном поджоге, которого, все знали, он не совершал, а был в нем оговорен злоумышленниками. Школа тогда размещалась в кулацком телегинском доме, и сожгла его сторожиха-истопник. Вновь испеченные следователи ОГПУ во главе со своим районным начальником Дударевым сажали Самсона Трифоновича Новикова голым на снег и подолгу так его держали в жестокий мороз! Высокому, статному, кроткому, с окладистой бородой крестьянину палачи кричали: «Мы те покажем жись — ишь грамотный!» А пытку ту подсказал им односельчанин активист, что сопровождал Самсона Трифоновича в ОГПУ и люто ненавидевший его за грамотность!

Вернувшиеся из Нарымского спецокруга ссыльные иногда близким рассказывали шепотом (я сам то же узнал в 60—70-е годы от живых выселенцев в Архангельской и Вологодской областях), что везли их на баржах и выбрасывали на лесные и болотистые берега рек, где они должны были на «правах колхозов» своими руками создать себе жилье, раскорчевать лес, осушить болота, построить хозяйственные постройки. Через год или даже к весне после осенней высадки на эти берега сохранялась в живых только половина привезенных. Особенно гибли старики и дети. Выжило же в местах спецпоселений не более одной пятой от прибывших. И все время, пока они находились в изгоне, их взоры обращались на юг, к своим землям, к родным могилам и пепелищам, глаза их не просыхали от слез! Силами 100—120 семей спецпереселенцев строился поселок, включавший 15 жилых бараков, здание комендатуры, скотный двор на 30 голов, тесовый и бревенчатый склады, пожарный сарай и общественную баню. Постоянный надзор, запрещение выезда и передвижений, отметки, ежедневные нормы труда и продуктов питания — все как в подлинном концлагере, который и призван был ликвидировать кулаков как класс!

А там, на родине, куда они убежали бы хоть с завязанными глазами, никто уже не мешал огромной своре «посадников да нарядчиков» из села, района, округа, края строить колхоз не столь высочайшей формы, как коммуна, но чуть пониже — артельной. В границах разбежавшейся коммуны «Гигант», то есть из тех же 11 сел и деревень, почитай, в округе с радиусом в 25—30 километров, в муках, ненависти, насилии родился колхоз. Его контору разместили в центре этой округи, в селе Елиново, чтоб начальству можно было обыденкой возвращаться из каждой деревни, прикрепленной к нему в удел. Председателями сельского Совета и колхоза стали те, кто до колхоза и своим-то хозяйством не мог управлять и не знал толком крестьянского дела. Так, первым предколхоза стал некий Семидякин — из двадцатипятитысячников. Семенной фонд наскребли кое-как на одну треть посевных площадей: после сплошной чистки амбаров еще в 1928 году крестьяне никак не могли свести концы с концами в хлебе! Посевы по пару уже как два года не водились, сеяли на скорую руку под весновспашку. Из 500 гектаров, возделываемых до коллективизации, засеяли весной только около 200 гектаров, уморив на тяжелой работе без овса десяток хороших рабочих меринов. Сеяли рожь до самых июньских теплых дней, когда береза стояла в пышном зеленом уборе. Засеянная так поздно ярица не вызрела и была скошена на сено, а часть ушла под снег.

Бригадир, объезжая по утрам колхозников, стучал плетью в окна, зазывая на работу, а если не откликались, то слезал с коня, входил в дом и заливал топящуюся печь водой, оставляя детей на день голодными и холодными. Колхозная работа — прежде всего! Однако собранный урожай хлеба пришлось сдавать по распоряжению района, округа и края и даже семенной приказано было увезти. Село осталось к зиме без хлеба! Еще не сданную впопыхах в колхоз скотину продолжали забивать. На оставшихся во дворах коровах — по одной на семью —

косили сено по ночам на лесных полянах да по берегам ручьев. Возили копны на себе. Голод стоял у ворот, но помогали старые запасы бобов, гороха, отрубей, овощей, кедровых орехов, спасал картофель! Да и мясо еще раздавали от забоя скота почти даром, чтоб не пропадало. Дрова возили тоже на себе: не надо было клянчить и унижаться лишний раз у бригадира, прося лошадь, принадлежавшую год назад просителю. Потиху начали растаскивать брошенные кулацкие сараи, амбары и дома. Пережили зиму — плохо, голодно, лихо, надрывно, так что кости да кожа остались — все малым ребятишкам отдавали. Но весной 1932 года дружно сеяли хлеб, выпросив семена в районе, а тот — в округе; пололи его, косили споро-пырейные луга, бабы выкладывались, кто любил работу, гоня трехметровые прокосы. Многие надеялись, что все это временно, что жизнь наладится, что не станут весь хлеб выгребать. «Не изверги же там «наверху», уж, поди, и наелись нашего хлеба, дак и нам теперича оставят!» — говорили бабы-ударницы на покосе. В солнечный и жаркий ильин день, который считался грозным летним праздником, погнали кого уговорами, кого силой на уборку сена на большом увале. Люди шли и работали с неохотой, но к обеду завершали уже несколько зародов-стогов с приметками. Вдруг появившаяся из-за хребта, с запада, тучка разрослась в гигантское кучевое облако, из которого обрушился ливень с грозой. Два зарода сгорели в небесном огне! Сеноуборщики остались целы и невредимы, но их труд пошел прахом, да вспомнили они великие крестьянские верования. В конце августа прошел слух в селе, что есть приказ все намолоченное зерно, которое почти на себе носили в амбары, свезти в район, а оттуда, известное дело, потащут далее. Слух подтвердился, и зерно все до зернышка увезли неизвестно куда. К поздней осени кончились последние остатки старых продуктовых запасов, включая отруби, что скребли по сусекам, ребятишек стали держать на молоке, которое давала единственная на дворе корова. А зимой начался голод! Он продолжался весь 1933 год! И в этот год ушли на забой многие дойные коровы и мелкая птица. Вся лебеда на огородах, глухая крапива и корни репья-лопуха за заборами и пряслами, на заброшенных усадьбах были начисто съедены. Дикие растения: лук-слизун, ревень, борщевики — все было снесено с гор и тоже съедено. Заготовкой этих растений занимались подростки. Как только ранней весной хариус поднялся на нерест в речки и ручьи, они же снабжали семьи рыбой. То вершой, то неводом, то удочкой вылавливали белоголовые босые парнишки каждый день по несколько килограммов хариуса, и на часть зимы хватало. Тем и поддерживали ослабевших матерей, отцов и работавших братьев и сестер. И если бы не эта рыба — не выжить бы сельчанам, благо ее было в те годы в реке, речках и ручьях столько, что потом никогда не бывало. Сил не хватало не только на колхозную работу, но и на собственный огород да покос. Мужики были в поле спозаранку. Но бригадир все объезжал дома и гнал баб, заливая топящиеся печи у нерасторопных, на покос или косовицу хлебов. Они падали, пройдя несколько прокосов, и тогда, сжалившись над ними, он давал команду: «Все по кустам». Это означало — полезай на черемуху, урожай которой в тот год был слишком изобилен. Подростки, бабы и мужики объедались плодами черемухи и долго потом маялись животами. Оттого некоторые так и не поднялись! Умирали дети, постепенно ослабевая. Почитай, каждый третий ребенок так-то ушел из жизни! Так же умер и мой второй по возрасту брат — Ефрем. Не выдержал голода, отдавая последнее детям, и Ермила Трифонович Новиков — умер в 1934 году, не дожив и до 60 лет.

В конце августа 1933 года едва ли достигшие двадцати лет парни-колхозники Никита, Астафий, Филипп, Санька, Степан, Ахромей набрали ночью в поле по торбе ржаных колосков и принесли домой, чтоб накормить умирающих матерей и детей (уж более двух лет хлеб во рту не бывал!). Но их сверстник Андриан их выдал. Всем дали по 7 лет лагерей! Никто не вернулся — все погибли там, за исключением Степа-

на, который пришел больным, немного поболел и умер. Не приняли судьи во внимание и того, что умирали родные и что принесли они колоски ржи не столько для еды, как для запаха в дому. Один из «колосковых» говорил на суде: «Бабушка заказала принести хоть пучок колосков под божницу для запаху, а мы и решили принести по торбе, чтоб его больше было!» Безучастны были судьи и начальство колхоза и сельского Совета к этому заявлению, хотя сами исподтишка не торбами тащили, а мешками! Василиса Пушкарева возила из села хлеб колхозный на подводах по госпоставкам в город за 200 км и в пути как-то взяла ведро овса. Принесла его на мельницу для размола, но мельник сказал об этом председателю, а тот подал в суд, и дали ей год лагерей. Отсидела и, идя домой, дорогой утонула в половодье, спасаясь на льдине. Сироты многие шли по миру, как стан заброшенных щенят, и мерли как мухи. Вернувшиеся из ссылки «незаконные кулаки» говорили, что там, в лагерях, при комендатуре, изредка скудный паек, но давали, а тут и того нет!

И не было недели, чтобы не являлись в село на откормленных лошадях уполномоченные разных рангов и представители райкома, райисполкома, ОГПУ, райземотдела и т. п. Говаривали, что только в здании бывшего волостного правления, где теперь размещался райком и райисполком, и в соседних домах сидело более сотни человек начальников! Ублажали их колхозные и сельсоветовские руководители, загружая на обратный путь припасами из кладовых, поили и кормили да по ночам женщин им водили. Не гнушались они даже насилием: девица ли была перед ними, женщина ли многодетная или солдатка...

По сообщениям газет, каким-то «колхозцентром» на самом «верху» была установлена еще в 1931 году в колхозах «сдельщина» в виде трудодня. Пришла она и в колхоз им. Громова. Колхозники в сущность «трудодня» толком никак не могли вникнуть. Бухгалтер на собрании разъяснял, что ежели ты сторож, уборщица, погонщик, подросток (!), то тебе, проработавшему 10 часов, запишут 1 трудодень, а ежели ты работник по посеву, то получишь 1,25 трудодня Будучи пастухом, трактористом, рулевым, возчиком — 1,45, грузчиком, землекопом — 1,65, а кузнецом, печником — 2 трудодня.

— Ну, а ты, Григорий Семенович, как счетовод наш, сколько же трудодней себе запишешь? — спрашивали из передних рядов.

— Я-то — два с половиной, а вот председателю положено — три! — отвечал, не глядя в зал, бухгалтер.

— А как, в толк не возьмем, с оплатой этих трудодней? Кто трудодни, энти трудовыходы, будет записывать? — кричали из прихожей бывшего новиковского дома.

— А как я на этот трудодень прокормлю всех-то — у меня их мал мала меньше — девять душ со стариками? — рассуждал маленький сгорбленный мужик, стоя у косяка.— Да женка чуть ноги волочит!

Иные вопили: «Не надо нам трудодней, оставим так, как было!» А было так. Зябь не пахалась, скирдование на гумнах и обмолот зимой, как в старое «докулацкое время», объявили «правым уклоном», а запишут в него — быть в лагере! Неработавшие получали больше хлеба, чем работавшие. Многие — тихие, негорластые — оставались без хлеба! На завалинках, у контор колхозов или в приемных председателей сидели с мешками и торбами бывшие партизаны, отстаивавшие Советскую власть еще в 20-е годы, и кричали в правлении: «Что за власть пришла — морют и морют, хуть до куда морют. Мы что, даром кровь свою проливали? Нас теперь пусть она кормит бесплатно и до глубокой старости. И семейным нашим тако же надобно жить. Небось мы партизанские!» Давали им из колхозной кладовки мешок отрубей, большая голодная семья съедала его за два дня, и они приходили снова в правление, клянчили прокорм партизанский, заслуженный.

Председатель на собрании объяснял, что устанавливается такой порядок распределения продуктов по трудодням: вначале сдадим государству, затем отчислим в неделимые фонды, а уж потом выдадим на трудодни. Базарили колхозники до утра, но так и не поняли, что такое трудодень и как с ним жизнь пойдет!

Колхоз не выполнял планов хлебозаготовок и отчислений в неделимые фонды, и потому на трудодни ничего не оставалось. Потому большую часть времени колхозники трудились бесплатно, и только труд в неурочное время и по ночам на клочке земли у дома спасал положение, не давал умирать с голоду. Но и эти приусадебные участки находились под прицелом начальников разных уровней: ждали случая, чтоб их взять в изгон! Слышно было, что в каких-то степных колхозах выдали на трудодень по 2 килограмма зерна, а в других — и по 20 копеек деньгами. Обещал председатель выдать к концу 1934 года по полкилограмма зерна и тоже по 20 копеек на трудодень, но кончился год — их не выдали, как и в следующем году. Один крестьянин в соседней Тележихе сказал на конюшне о том, что «живем похлеще, чем на барщине», и через день его забрали работники ОГПУ. С тех пор никто больше о нем ничего не слышал!

В 1931—1934 годах в районе каждый год создавались оперативные тройки по посеву в составе секретаря райкома, уполномоченного крайкома, начальника районного отдела ОГПУ с привлечением на заседания тройки — райпрокурора, начальника милиции, председателя райпартконтролькомиссии. Эта тройка в окружении десятка человек (были и конвоиры!) приезжала в село ранней весной, и стояла тогда в нем гробовая тишина, даже собаки прятались в подвалы и зарывались в сено на дворах. Была на этот случай и пословица: «Троица в село, а народ из села!». У коновязей стоял десяток лошадей, запряженных в кошевки. К вечеру их уводили в конюшни на кормление последними сбережениями колхозного овса. Его не выдавали даже голодающим детям и старикам для выпечки овсяного хлеба, но лошадям, на которых прибывали тройки с сопровождающими, — пожалуйста! Какое было дело до этих детей и стариков всесильной и всесокрушающей власти! Репрессии продолжали быть решающим мерилом руководства. Не вступил в колхоз или вышел из него — кулак, и место тебе в ссылке, то есть в лагере.

Приехав в село в 1934 году, тройка сняла с работы двух бригадиров и отдала их под суд. Тут же их и забрали — благо и прокурор и начальник милиции под рукой. А кладовщика взял в свои руки начальник ОГПУ, отобрав его у начальника милиции. По предложению троек продолжалось обобществление последних коров, раскулачивание чем-то заметных в достатке крестьян, а райисполком и сельские Советы накладывали на колхозы штрафы, давали твердые задания. Так раскулачены были две семьи в деревне Рыбное за то, что их родственники когда-то держали маралов. Тройка самовластно установила обязательную норму трудодней: для взрослых мужчин — 300, для взрослых женщин — 200, а для подростков — по усмотрению правления колхоза. И тешились руководители колхоза: кому и сколько эту норму установить. А не выполнил ее — отрезали приусадебный участок, лишали покосов, не давали лошадей. Тройка объясняла сокращение поголовья скота в колхозе агитацией «скрытых кулаков», которые перешли на новую тактику — изнутри разваливать и губить рост нового общественного хозяйства. Было объявлено, что развал колхоза им. Громова связан именно с явлением такого рода! На нескольких крестьян, продававших по 1—2 пуда ржи односельчанам, донесли, и они были индивидуально обложены. Чтобы рассчитаться, эти крестьяне «самообложились», то есть продали все свое имущество с молотка. Но и это им не помогло — они были сосланы как кулаки. Таким индивидуальным обложением и закрывали прорехи в поставках хлеба, подвергая крестьян «самораскулачиванию». Это была одна из главных задач «посевных» троек!

Шли указания из разных инстанций об «укреплении новой трудовой дисциплины». Сельсоветовское и колхозное руководство понимало это по-своему да так тому учили и тройки. За 5 минут опоздания на работу

2*

председатель или бригадир сажали в холодный амбар «прогульщика» на всю ночь без теплой одежды. Особенно это практиковалось в отношении молодых женок, имевших грудных детей. Отчаявшиеся мужики, натерпевшиеся издевательств, наконец осмелев, ломали двери амбаров, кидали им теплые шубы или спали вместе с ними, а иные уводили женок домой. «Добро» выселенных крестьян было к тому времени растрачено, прожито, съедено — пошло прахом! Не только не рассчитывались за долги коммуны «Гигант», которые хотели покрыть конфискованным имуществом изгнанных, но накопили еще большую задолженность. Обещанные районом, округом, краем дотации деньгами, техникой, товарами ширпотреба не приходили или растаскивались, может быть, где-то на подходе к колхозу. А работать все больше заставляли без просветов и выходных! Десять часов надо было отдать колхозной работе, чтобы отработать минимум трудодней, да потом вечером и ночью — столько же еще на своем дворе, чтоб с голоду не умереть. Не оставалось времени не только на ласки, пригрев детей и женщин, но и на элементарный сон. Дети беспризорными бродили по улицам и огородам, спали в конопляниках и на гумнах, где их подолгу искали. Устав артели не предусматривал ни платные, ни бесплатные отпуска колхозникам. Не было в нем оговорено ни тех, ни других отпусков по беременности и родам. Бабы все меньше рожали; ежели случалось такое, то частенько в поле да на покосе.

По ночам некоторые семьи куда-то исчезали, бросая свой скудный скарб на произвол судьбы. Но куда ж убежишь без паспорта, даже без справки из колхоза на то, что ты к нему прикреплен: горемык ловили и направляли в лагеря как злостных подрывателей колхозного строя. Не мог крестьянин вне колхоза сеять зерновые, так как еще с 1928 года это дело принадлежало монополии коллективных хозяйств, как и торговля хлебом. А кто рисковал посеять горсть зерна на поляне в лесу (такие бывали), тот уголовно наказывался. И хотя еще в июне 1930 года была отменена монополия на мясную продукцию на селе, но крестьянину негде было ее продать — базары и рынки были закрыты зимой того же года. Села и деревни пустели, вымирали. Все видели, что уже к концу 1933 года колхоз им. Громова, выросший из коммуны «Гигант», полностью развалился, как развалились и другие колхозы района. Забеспокоилось районное руководство, жаловалось выше, в округ, а тот — в край. В депешах летело: надо спасать положение. Навстречу пошли директивы из центра, края, округа, района. Одна из них — разрешить колхозы разукрупнить! И в 1934 году из колхоза им. Громова создали несколько колхозов. К селу Елиново присоединили две почти погибшие деревни — Рыбное и Чилик. В самом большом селе Топольное, входившем в гигантскую артель, организовали колхоз им. Кагановича. Вторая директива — разрешить отходничество колхозникам, третья — допустить им пользоваться лошадьми для удовлетворения личных нужд, четвертая — не допускать игнорирования единоличного хозяйства, с которым должно мириться, и, может быть, еще долго. Была и директива об освобождении на два года от налогов обобществленных скота и птицы, а также о списании задолженностей колхозов по землеустройству. И в селе раздали часть скота по дворам, прибавили огороды, на их вспашку и подвозку дров к домам стали иногда давать лошадей, труженики получили по несколько мешков отрубей. Но дело поправлялось плохо, колхоз продолжал влачить жалкое полуголодное существование, редея; многие стремились уехать из села. Вербовщики умудрялись охмурить председателя, и тот, изловчившись, отпускал некоторых поселян для великих строек, требовавших все больше рабочего люда. Ушедшие в армию часто не возвращались в село.

Солнечным хлебородным августом 1937 года по разнарядке, как врагов народа, прямо со жнеек опергруппа НКВД взяла семь самых работящих и совестливых мужиков, которыми как-то еще держалось село, таких, которые беспрекословно шли на все работы и лишения и в своей жизни и муху не обидели. Как тогда говорили, они пошли «по линии НКВД». Линия эта поглотила безвозвратно Максима Беспалова, Агафона и Федора Поповых, Венедикта Налимова, Дорофея, Ермилу и Василиса Большаковых. Подвыпившие уполномоченные проболтались в селе, что всего взяли в районе так-то около 1000 человек. Среди них был взят и Михаил Филаретович Черепанов из села Туманово. Осталось на руках жены Агафьи — дочери Ермилы Новикова — четверо малолетних детей. Разбойничавший в то время в том селе руководитель Кирька Ломакин носился на взмыленном жеребце и кричал: «Повалитесь все камни на богатые дома!»

Переехала Агафья с детьми в Елиново, поселилась в одном из заброшенных домов и стала приспрашивать работу, чтоб кормить голодных и босых ребятишек. Председатель сказал: «Тебе, жене врага народа, не следует давать никакой работы!» Но потом, сжалившись, отправил ее копать вручную силосные ямы глубиной до четырех метров. С такими же, как она, женами «врагов народа» Агафья корзинами поднимала из ям землю. И так бывало от зари до зари! И вспоминала, как в 1914 году умирала она от воспаления легких 8 лет от роду и как дед Трифон сказал ей тогда при матушке: «Зря, внучка, поправляешься, будешь всю жизнь силосные ямы копать!» О тех ямах и слыхом никто тогда еще не слыхивал. Дивилась Агафья Ермильевна на то предсказание деда. Она действительно потом всю жизнь их копала, пока не обезручела и не обезножела. И пропахла силосом так, что все ее сторонились. «Агафья идет», — за полверсты чуяли односельчане! Более 30 лет во рту хлеба не держала, отдавая его детям. Питалась конопляным семенем, натолченным в ступе. Поднимавшихся детей не принимали в школу как «вражье отродье»! Вспоминала также не раз, как поехала она в район передать съестные припасы мужу-арестанту и как узнала там, что «враги» содержатся в бараке НКВД. Подошла поближе к нему и увидела, как августовским теплым днем пар валил из открытых верхних продушин в окнах. Стояли арестанты в бараке впритык друг к другу, как селедка в бочке, не выдерживали тесноты и удушья — гибли, и по ночам их выбрасывали в овраг за селом, присыпая землей. Бегала в тот овраг, но не нашла своего. Прислал он потом пару писем с дальнего этапа, но потом сгинул неизвестно где.

Сказывали также, что и тот, чьим именем был назван колхоз — партизан Громов, — попал в эту же разнарядку как враг народа. Потому приехавший уполномоченный приказал переименовать колхоз им. Громова в колхоз XX лет Октября. И не только переименовать, но и дать ему другое направление деятельности — кустарное. Колхоз сделали промартелью! А оттого это надо сделать, объяснял он, что кустарная промышленность запущена в Сибири, а изделия ее так нужны государству. И заставили заниматься изготовлением саней, бричек, телег, хомутов, дуг, колес, бочек, выкуриванием смолы, выгонкой дегтя и пихтового масла. А сельским хозяйством обязали заниматься как подсобным. То, что было подсобным, сделали главным. Всего за 10 лет оказались заброшенными все дальние пашни и покосы, а это было 60% посевных и 70% сенокосных угодий, растеряно 70% скота, разогнано 30—40% крестьянских семей, именно тех, кто обладал талантом и любовью творить крестьянское дело.

— Ну и поделом, — говорило руководство района и округа.— Кустарь — это не крестьянин. Так что переход к промартели — шаг вперед к светлому будущему!

Никто уже не возражал против такого «великого обновления» в селе — некому было! Всех, кто в последние годы как-то пытался возражать да вносить толк в происходящее, прибрали по «линии НКВД». И всем все стало безразлично. Работали молча, отворачивались друг от друга: боялись, как бы чего лишнего не сказать — в душе поселился нечеловеческий страх! Не всякий желал здравствования встреченному

утром односельчанину, как и тот не отвечал взаимностью. Росло душевное неуважение друг к другу, накапливались обиды. На селе не было медицинского обслуживания, а в районный центр не наездишься. Старые целители погибли в ссылках. Потому селяне мерли от малейшего поветрия. Так умер в 1938 году трех лет от роду мой младший брат Виктор, проболевший всего три дня.

Выстроенное за десятилетия чудное село погибало на глазах. Оно напоминало поселение людей, собравшихся его покинуть в любой момент. Зеленая, усаженная ветлами улица была разбита и превращена в трясину и ухабы. В центре села, где стояла самая красивая и добротная фефеловская усадьба, теперь раскинулись колхозные скотные дворы. Навоз не убирался, и скот бродил, увязая по колено, в топкой, зловонной жиже. Всюду можно было встретить рваные веревки, обрывки сбруи, брошенную тару, доски и бревна, изломанные плуги и бороны, телеги и сани. Зияли провалы от сожженных и увезенных домов, усадьбы зарастали крапивой. Запустелыми стояли амбары, свезенные к одному месту. Поскотины обветшали и развалились, а главные въездные ворота были распилены на дрова. Тащили все, что плохо лежало да под руку попадало. На дверях домов висели амбарные замки. Дальние заимки были разграблены и растащены, след от них простыл. Разворованные и свезенные тоже к одному месту пасеки стояли беспризорными: часто менявшиеся на них пасечники не следили за ними, и пчелы вымирали, как мухи, при первых морозах.

Самобытная чудная русская речь жителей села сменилась непривычными слуху словами: контрактация, конфискация, реквизиция, контрреволюция, агитация, массовик, ударник, МТС, центросоюз, индустриализация, коллективизация, тракторизация, машинизация и т. д. В общении между людьми в быту, на колхозной работе хульные и матерные слова говорились в присутствии детей, подростков, девушек и женщин!

Еще в 1928 году, когда воинственные безбожники предлагали все село объявить безбожным, вековые праздники, включая воскресные, были объявлены изобретением темных сил «эксплуататорского» строя, и потому недостойными «праведного» колхозного строя. Именно в эти «темные» дни старого мира» предлагалось как можно больше работать, чтобы искоренить «опиум» для народа. Как только создали колхоз, так и пошло: ни выходных, ни праздников.

Проголосные, правдивые, удалые, душевные, звавшие на труд и любовь песни и хороводы исчезли.

Власть разладила устои народной жизни! А почему? Чтобы растворить свои грехи во всеобщем грехопадении.

Святость семьи была предана анафеме, о ней и не вспоминали. Муж ходил к другой замужней женщине или солдатке. Жена бегала украдкой от мужа к другому мужчине. Женщины меняли мужей. Муж бросал свою жену, когда она становилась в годах, и брал замуж ее дочь, ему неродную. Возраст женившегося или выходившей замуж не имел значения: молодая шла к пожилому или пожилая — к молодому! Крестьянская семья, как тонко слаженный живой организм, связанный незримыми материальными и духовными нитями, перестал существовать. Отец и мать, старшие и младшие дети, дед и бабка становились не членами единой семьи — временными жильцами, связанными только биологическим родством, которое легко порывалось. Даже двоюродные братья и сестры не стали считаться родными. Родительская тяга к детям еще сохранялась, но детей к родителям — все ослабевала и даже прекращалась. То, что взамен пришло, было уже не семья, а случайно сбежавшиеся по пригляду на время люди, не несшие никакой ответственности ни за стариков, ни за детей, ни за себя. То был уже не организм, а временно собранные живые существа — винтики для обслуживания плохо собранного непонятного механизма.

Даже коровы и лошади отвыкли и стали безразличны к доброму слову, подчинялись только ругани и матерщине. Когда бывшие хозяева называли по именам своих еще сохранившихся лошадей и коров, те тихо поворачивали головы на зов, как бы вспоминая о чем-то. Вечерами гонимое погонщиками с пастбищ стадо коров останавливалось у избы Пушкаревых, где играла гармонь, и не хотело уходить. Пастухи свирепели, били бичами скотину и жаловались председателю на Пушкаревых. Играть в гармонь было запрещено.

Благоговение к высшему — вечному миру, сострадание к равному миру — человеческому, вспомоществование к земле и населяющим ее тварям покинули сердца измученного крестьянства. И какие дьявольские силы надо было высвободить из преисподней, чтобы из года в год не давать проявлению святых стремлений. И как бесновались эти силы, какой паутиной демагогии и посулами опутывали крестьянский мир, чтобы загнать его в земной, ими придуманный «рай», но вместо него наступал ад!

Однако ничто не могло поколебать вечного зова крестьянина, заложенного в глубочайших тайниках его души, к живой земле, роду хлебов и животных, безответных к насилию. Он каждый день, хотя и отрешенный, шел и шел видеть это великое таинство — рождение новой жизни, и только он мог его глубоко понимать! Колхозники, делая всякую утварь, инвентарь и т. п., сеяли также хлеб, пасли и кормили скотину, пусть бесплатно и маловато, но делали все это.

Как бы винясь перед последними, недавно ушедшими по дорогам НКВД в небытие земляками, день и ночь убиравшими урожай, порешили и испросили в районе дать на трудодень по 1 килограмму зерна да по 20 копеек деньгами. И пошло так-то и на другой год. Но в мае 1939 года во исполнение высоких постановлений (состоялся майский Пленум ЦК ВКП(б)) пошли распоряжения краевых и районных инстанций, в которых увеличение приусадебных участков рассматривалось как уголовное преступление. А колхозники, не выработавшие обязательного минимума трудодней — не менее 80, считались выбывшими из колхоза и теряли все права на такой участок. Умершего ранее от угара председателя колхоза Семидянкина обвинили в наделении излишней землей колхозников. Слышно было, что несколько председателей по району были преданы суду, как уголовники, за увеличение приусадебных участков. Сохранившихся под видом кордонов лесников и объездчиков хутора свозили к одному месту, в села и деревни. Подросшее поголовье телок, бычков в личных хозяйствах скупалось за бесценок колхозами, и тем объяснялся в них рост стада крупного рогатого скота. В тот же 1939 год отчисления в неделимые фонды достигли 20%, а установленные еще в 1928 году грабительские заготовительные цены на сельскохозяйственные продукты (за 1 килограмм зерновых — 4—8 копеек, овощей — 19,2, картофеля — 4,7, говядины — 20 копеек!) не покрывали издержки производства, и экономика коллективных хозяйств разваливалась в прах! Росли долги. А тут еще организовали районную МТС, которая стала забирать себе более одной трети урожая. Натуроплата стала невозможной, а денежные выдачи за проданные изделия ширпотреба не превышали десятка рублей в месяц на трудившегося. Все наработанное отчислялось в фонды, на покрытие налогов и долгов. Надо было содержать вдобавок вновь созданный трест «Союзхимпромбытартель», засевший в городе Бийске с немалым числом управленцев.

Так в надрыве, надсаде, недоедании, но с неугасшей надеждой подошел народ к великой войне!

Шел июнь 1941 года. Уж привыкли ожидать какую-либо беду на каждый день и тем более месяц: то трудодни не запишут, то надсадную работу дадут, то «трудодневное» зерно увезут, то соседа, мужа иль брата заберут невесть почему, то бригадира-живодера поставят. Но в том колхозном июне, что пришел, было особенно тревожно и неспокойно: то

какой-то самолет все кружил и кружил над горами и селом, то ночное небо озарилось всполохами, то ударил ночной взрыв такой силы, что ранее не слыхивали. К объявлению войны прибывшим из района нарочным отнеслись как бы безмолвно, безропотно: привыкли к своей войне, которая, как прочитывалось в газетах, катилась по всей стране, потому и никто не обмолвился, понимая: «Одной беды не миновать, как другую ожидать!» Старый дед Афанасий только и сказал: «Добьют вконец крестьянство!»

Солнечным июльским днем стояли надрывный плач и глухой стон: жители села провожали первый набор тридцатилетних отборных мужиков, рожденных крестьянками в пору великого подъема сельского мира. Уходили на фронт появившиеся на свет в 1906—1912 годах. Мужчины, обряженные в самые лучшие одежды, нажитые в нелегкой крестьянской жизни, целовали и обнимали своих жен, невест, детей, родителей, близких с закаменевшими сердцами, зная наперед, что прощаются навечно. Жен и невест с трудом отрывали от мужей и женихов, сидевших уже на телегах и бричках. Все ушедшие в тот день легли смертью через два-три месяца, а кто и раньше, под Смоленском, Вязьмой, Можайском, Калинином, Москвой. К осени пошел на фронт второй набор мужиков, кто постарше да помоложе. Опять стоял несмолкавший женский плач. И эти, ушедшие на запад, пали под Киевом, Черниговом, Сталинградом, на Курской дуге. Затем все 17—18-летние юнцы, взятые в разгар войны, были выбиты в Прибалтике, Белоруссии, Польше. Девушки, не дождавшись своих суженых, тоже уходили на фронт, и многих из них так и не дождались в селе. Всего не вернулось с фронта 33 мужика, а двенадцать вернувшихся были изранены и искалечены!

Женщины и подростки, могутные старики и старухи впряглись в работу, не разгибая спины с раннего утра и до позднего вечера. Не раздеваясь, так и валились они в постель, чтобы утром снова бежать на работу. Падали лошади — сами впрягались в гужи! Первые возвратившиеся с фронта в начале 1942 года увидели в селе жестокую картину неимоверного женского и детского труда. Все, что нарабатывалось изо дня в день, сдавалось для снабжения армии. По зимнику хлеб увозился на едва живых лошадях. Питались с огородов овощами да картофелем, семенами конопли, мякиной и лебедой, лепешками из лукаслизуна да рыбой из речек и ключей.

Но ничто не менялось в установившемся государственном порядке по отношению к крестьянскому миру. Там, на фронтах, гибли мужья, женихи и сыновья, здесь медленно истощались последние силы жен, невест и сестер. Внешний и внутренний фронты как бы сливались воедино! Там гибла мужская, здесь женская половина крестьянских душ. Становой хребет государства — его крестьянство — крошился, дробился, рассыпался и исчезал из Отечества.

Как и десять лет тому назад, порядок распределения продуктов в колхозе сохранялся все тот же: вначале сдай в неделимый фонд и государству, а затем получи на трудодни. Но для выдачи на последнее ничего не оставалось. И чем дальше шла война, тем больше забиралось для нее, тем голоднее становилось. Ослабевших и упавших от голода и непосильного труда поднимали в полях, на огородах, гумнах, улицах, откармливали и отпаивали кто чем мог, сообща, и они снова шли на работу!

С трудом вспаханные и засеянные поля давали по 5—6 центнеров с гектара зерновых. Коровы от хронической бескормицы давали 700—800 литров молока. Личные хозяйства без коров составляли более 50%, без овец — более 60%. Часто не успевали присматривать за стельными коровами, и рожденные телята вмораживались в лед навозной жижи. Зимой 1943/44 годов более одной трети лошадей, крупного рогатого скота и овец пало. В районе голод косил людей, особенно детей и стариков.

Трое первых фронтовиков, вернувшихся израненными, начали поднимать кустарные промыслы, и появились денежные выдачи. Но увеличились военные займы, которые отнимали большую часть заработка. Напряжение селян в поддержании войны возрастало. Колхозы не справлялись с обеспечением продуктами армии и городов, несмотря на то, что все наработанное ими увозилось. Потому увеличивались обязательные поставки продуктов, мяса, птицы, живого скота и денежные налоги с единоличных хозяйств. Массовый характер принимает растаскивание скудных запасов продуктов в колхозах и личных хозяйствах. Возросший районный аппарат за низкие цены или бесплатно брал скот, зерно, муку, корм, мясо, молоко, овощи, мед. Не было ни одной недели, чтобы под видом инспекционных проверок не являлись представители из района, все также на откормленных лошадях, за таким промыслом. Бригады сотрудников МВД и МГБ являлись в село, вооруженные автоматами и карабинами, заставляли подростков по глубокому снегу гнать на них, засевших в засаде, диких косуль, и они расстреливали их десятками и набивали свои кошевки убитыми животными. Разбазаренные продукты списывали подложными актами на порчу или находили «козлов отпущения». Так был посажен на 3 года лагерей кладовщик — восемнадцатилетний Ефрем Максимов за недостачу продукции, выданной им районному начальству по записке директора совхоза. Из лагерей он не вернулся. Но вместо того чтобы наказать этих грабителей и разогнать их гнезда, выезжали районно-краевые комиссии по «борьбе с нарушением устава сельхозартели» и отбирали «излишки» земли у колхозников на приусадебных участках, которые снова шли в заброс.

В 1946 году в надежде поправить финансовые дела да иметь заработок силами промартели построили лесопилку, которая должна была приводиться в действие турбиной. Для этой цели соорудили на речке Шебете глухую плотину. Она перегородила эту речку, и все основное стадо хариуса не прошло на нерест, а та его часть, что была местной, — уничтожена взрывчаткой, которой пользовались вербованные из геолого-разведочной партии. Рыба была сгублена навсегда! Так случилась экологическая катастрофа на одной из малых речек в горном Алтае. Но такие катастрофы затем станут системой, они захватят с годами, как раковая опухоль, и малые, и великие реки.

Наступил долгожданный мир на фронтах, но в селах и деревнях его не было. Положение в сельском мире становилось все хуже. Колхозы района не поднимались на ноги, хотя промартель XX лет Октября както перебивалась кустарным промыслом. В 50-е годы обязательные поставки и контрактация продуктов с личных хозяйств, мясопоставки и птицепоставки, сдача по той же контрактации скота возросли до небывалых размеров. Эти продукты и скот просто забирались за бесценок. Это был государственный оброк! Доходы семей от него составляли единицы процентов, так как закупочные цены были в 100 раз ниже, чем рыночные. А тут еще давил подоходный налог. Скажем, личное хозяйство, имевшее корову, свинью, мелкую птицу, 0,4 гектара земли, в том числе 0,15 картофеля, 0,10 зерновых, 0,10 сада и 0,05 гектара овощей, каждый год должно было отдать 1500 рублей. Но большая часть продуктов сдавалась с участков по обязательным поставкам за бесценок (а до рынков — за сотни километров! — не доберешься), и потому на уплату налога ничего не оставалось. Агентов по налогу и госпоставкам развелось столько, что они буквально как мухи облепляли несчастных домохозяев — в основном инвалидов войны, вдов погибших на фронтах, стариков и старух. Только уходил агент по мясу, как являлся агент по скоту, а за ним шел налоговый агент! И так изо дня в день! Не сдал продукты, не заплатил деньги — отдавай личное имущество: самовар, посуду, зеркало, гармонь, балалайку, шкаф, стулья, диван, платье и обувь. Большая часть этого отобранного имущества оседала в домах агентов-грабителей! Каждый год село из 80 дворов должно было сдать

30—35 голов скота, то есть 25—30% всего поголовья! Пчелиный налог подкосил под корень все домашние пасеки. Личное хозяйство на земле стало повсеместно разоряться. Из села уезжали все кто мог, бросая дома, имущество, участки и обжитые места. Все опостылело им на этой земле, валилось из рук всякое дело, шло не в радость, а в горе! А как тому было не быть, если продолжали свирепствовать, да подчас так, как до войны и в войну не бывало, сельские «начальники», которых назначали в районе. В 1949 году один из председателей-пьяниц в селе Елиново отбирал лошадей у стариков и лесников, сгонял с личных дворов дойных коров в гурт, отрезал приусадебные участки, не давал покосов. В селе Коргон соседнего района председатель колхоза спустил на веревках вниз головой в колодец двух женщин за то, что они в урочное время ходили за кедровыми орехами и спрятали их в тот колодец. Погибли бы мученицы-колхозницы, но нашлись добрые люди, подняли их из него опухшими и еле живыми.

Плохо помогали шедшие сверху директивы 1953—1955 годов. В колхозах вводилось ежемесячное авансирование, поднимались заготовительные цены на скот, птицу, молоко, овощи, мясо, уменьшались ставки на кредиты и снимались долги по обязательным поставкам МТС и натуроплате, снижались ставки сельхозналога и делались независимыми от суммы дохода с приусадебных участков. Выжившие старики говорили: «Да где же вы, благодетели крестьянства, ранее-то были, разве не видели, что делалось-то с ним? Поди верни теперь крестьянина! Снявши голову, по волосам не плачут!»

К середине 50-х годов хозяйство артели уже было подрублено — мало пахалось и сеялось, мало водилось скота, а к концу их стал угасать кустарный промысел, трудоспособных людей почти не стало. Богатейшие лиственничные леса по верховьям рек и речек к этому времени были уничтожены и увезены в степные районы навалившимися на них колхозами и совхозами, трестами и всякими «промбытами» со своей армадой тракторов и прицепной техникой. И дошло дело до того, что ни дом поставить, ни сарай срубить, ни домовину смастерить! Так погиб хранитель чистоты и изобилия водных источников — алтайский лес!

Остатки промартели в 1957 году были переданы в райпромбыткомбинат, который через пять лет довел ее до полного разорения. Сменявшиеся председатели — пьяницы, забулдыги, придурки, грабители — растаскивали, уничтожали, прожигали последние ее «рожки да ножки». Потребовалось всего 44 года, чтобы великий крестьянский мир на маленьком уголке Земли пошел прахом! Нет теперь здесь ни села, ни крестьянина и его семьи, ни кустаря, ни хозяйства с его дворами, полями, лугами, лесами, пасеками, реками, ни лошадей, ни скота, ни мельниц, ни плотины, ни мастерских! Все сгинуло в «райских кущах» — коммуне «Гигант», колхозе им. Громова, промартели XX лет Октября, промбыткомбинате!

Трудно точно определить, сколько было сгублено крестьянских душ в селе с 20-х по 50-е годы, то есть за 30 лет лихолетья. Но неумолимые факты показывают, что в нем, не считая детей и стариков, умерших от голодовок и болезней, было физически уничтожено не менее 120 человек, или около 25% его населения. В 1917—1920 и в 1927—1928 годы погибло 11 человек, в 1929—1931 годы — около 60, в 1933—1937 годы—14 и в 1941—1945 годы — 34 человека. В эти же годы 42 семьи, или более 50%, было подвергнуто репрессиям в отношении целых семей или их членов. Более 40% семей стали фронтовыми, потерявшими своих отцов или сыновей. Другими словами, более 90% семей в селе было втянуто в жестокую распрю, физически уничтожено, морально, психически или нравственно затравлено, разложено и подавлено, то есть насильственно выведено из крестьянского строя. Еще до коллективизации село покинуло 15% семей, после нее также 15%, и затем в войну и после войны — более 50%. Из оставшихся ныне в погибшем селе 17 дворов, то

есть 20% от бывшего их числа, большая часть не занимается крестьянством, и в них насчитывается 10 трудоспособных. Так погиб крестьянский род на моей малой родине!

В течение тридцатилетия бурная, без роздыха, государственная деятельность была направлена здесь на то, чтобы постоянно удерживать крестьянский мир в жестокой замятне — распре и раздоре, призванных якобы привести к социальной справедливости. Но распря и раздор, основанные на злобе, еще никогда не были созидающим началом. Они не являются и не будут являться творческой силой крестьянского строя. И как теперь мы видим, именно они привели к разрушению этого строя. Путь к тому был избран простой. Вся сообщина была умышленно подразделена на три части: «бедняков», составлявших 20% дворов, «богатых», также составлявших 20% дворов, и «середняков», имевших 60% дворов. Так вот «бедняков» натравили на «богатых» при постоянной изоляции «середняков». Захудалым хозяйствам было сказано, что они таковы именно потому, что существуют зажиточные. И чтобы уничтожить источник их бедствия, было предложено ликвидировать зажиточные хозяйства. Молчаливое большинство — «середняцкие хозяйства» — смотрело безучастно или даже сочувственно на то, как руками «бедняков» избиваются «богатые». И когда это избиение «богатых» было закончено, а их имущество было отобрано в пользу «бедняков», то есть по большей части разворовано, тогда очередь дошла и до «середняцких хозяйств». Под видом коллективизации, призванной якобы обеспечить высшую социальную справедливость, им было предложено добровольно, без ропота сдать имущество и землю туда же, в колхоз, то есть под начало «бедняков». А те, кто пойдет против введения такой «высшей справедливости», относились к зажиточным хозяйствам, то есть подлежали репрессиям как социально опасные элементы. Эта операция с «середняками» была проведена быстро, чтоб не успели опомниться. Имущество «середняков» было отобрано, то есть присвоено «бедняками» под видом колхозной собственности. Так-то принудили «середняков» отказаться от экономической и нравственной независимости и стать зависимыми поденщиками всепоглощающих коллективных хозяйств. Истинная же цель таких хозяйств для поденщика оказалась за семью печатями.

Итак, на месте крестьянского строя как органического целого возникло нечто иное — механически смешанные временные коллективы. Люди не несли ни эколого-хозяйственной, ни нравственно-духовной ответственности ни за себя, ни за окружающий мир, ибо уничтожена была основа такой ответственности — нравственная личность крестьянина.

Только ли на моей малой родине случилась эта жестокая трагедия? Нет, то же произошло во всем районе и в более широкой округе. В уже упоминавшемся некогда богатейшем селе Коргон, имевшем более 200 дворов и более 1200 крестьянских душ, в те же годы было физически уничтожено 250 человек, то есть около 20% жителей, в том числе в коллективизацию — 215, на фронте — 18, за «колоски» и по «линии НКВД» — 16 человек. Репрессиям было подвержено около 30% семей. Более 18% семей стали фронтовыми — потерявшими отцов или сыновей. Ныне в селе насчитывается 30 дворов, имеющих 20 трудоспособных. И здесь, как видим, крестьянский строй рухнул. Система его разрушения была та же: разжигание ненависти и раздора внутри крестьянской сообщины для установления якобы социально справедливого мира. Этот «справедливый мир» в 1929 году вводился под видом коммуны, в 1930 году — колхоза-промартели, в 1931 году — колхоза-сельхозартели, а в 1957 году — отделения совхоза, которое довело село до полного разорения.

К 1980 году только в Солонешенском районе Алтайского края полностью исчезли 20 сел и деревень, имевших около 2600 дворов и более

16 тысяч жителей. В наши дни в оставшихся селах и деревнях насчитывается около 4200 дворов и 17 тысяч жителей, но еще в 1955 году их было 55 тысяч, то есть за 25 лет население района уменьшилось в три раза. Двенадцать сел, имевших по 100 и более дворов, за последние 30 лет стерты с лица земли.

Крестьянский строй района распадается. И этот процесс раскрестьянивания продолжается. Каждый год количество жителей в районе сокращается более чем на 1000 человек. Это означает, что через 12—15 лет в нем образуется крестьянская «пустыня».

Локальное ли это событие, принадлежащее только одному из уголков дальнего Алтая? Нет, к сожалению, оно, как незаживающая рана, охватило все Отечество!

ИСТОКИ БОЛЬШОЙ ЗАМЯТНИ

Малая замятня, которая разразилась в одном из сел на далеком Алтае, — не имела ли более глубинные и могущественные корни, раскинувшиеся на всю отечественную обширность? Историческая жизнь нашего народа показывает, что она уходит своими истоками в большую замятню, которая то затихала, то разгоралась вновь и преследовала нас из далекого прошлого. В чем суть этой великой замятни, которая нередко перерастала в смуты?

Ф. М. Достоевский в «Дневнике писателя» за 1877 год выразил такую мысль: «Это уж какой-то закон природы, не только в России, но и во всем свете... если в стране владение землей *серьезное,* то и всё в этой стране будет серьезно, во всех то есть отношениях, и в самом общем и в частностях». Но об этом же писали, пусть не столь мудро, как Достоевский, на протяжении двух веков государственные деятели, писатели, историки, естествоиспытатели, ученые-аграрники и экономисты, простые агрономы и даже крестьяне. Вспомним высказывания по этому поводу А. Т. Болотова, И. В. Киреевского, А. С. Хомякова, Н. М. Карамзина, А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, С. Т., К. С. и И. С. Аксаковых, Ю. Ф. Самарина, В. С. Соловьева, С. М. Максимова, Ю. В. Лебедева, В. В. Селиванова, А. Н. Энгельгардта, Н. Н. Златовратского, Г. И. Успенского, В. О. Ключевского, А. С. Ермолова, П. А. Столыпина, В. В. Докучаева, земских депутатов в Государственной думе, а в последние десятилетия — А. В. Чаянова, Н. П. Макарова, Н. Д. Кондратьева, А. Н. Челинцева, Т. И. Мальцева, писателей В. П. Астафьева, И. И. Акулова, В. И. Белова, И. А. Васильева, В. Г. Распутина, Б. М. Можаева...

Две задачи всегда возникали и будут возникать в государственной деятельности: постоянно совершенствовать крестьянский строй и следить за тем, чтобы внешние и внутренние силы — умышленно или неумышленно — не мешали этому. И если ни того, ни другого не делается, то как крестьянство, так и все хозяйство страны может дойти до полной деградации, а народ до вымирания. Именно в этом государство и его народ подстерегает великая двойственная опасность.

Вглядимся внимательно и непредубежденно в исторические события и поразмыслим над ними. Не раз возникали кризисы в государстве, которые были порождаемы в основном земельными смутами. Они бывали в Киевской и Владимирской Руси, в Московском царстве и в великой России. Они особенно сильно проявились на рубеже XVI и XVII, в начале XVIII, в середине XIX и в начале XX веков. Слишком тягостная пора наступала тогда, когда на земельную смуту накладывались природные невзгоды, которые скорее всего были связаны с расстройством нравственно-духовных устоев крестьянского мира. Но всякий раз народ собирался с силами и худо ли, бедно ли, в большей или меньшей степени решал земельный вопрос и тем был жив и творил культуру.

(Продолжение следует)



Владимир СОЛОУХИН

ОСОЗНАВАТЬ СВЕТЛО И ТРЕЗВО...

Друзьям

Россия еще не погибла,
Пока мы живы, друзья...
Могилы, могилы, могилы —
Их сосчитать нельзя.

Стреляли людей в затылок,
Косил людей пулемет.
Безвестные эти могилы
Никто теперь не найдет.

Земля их надежно скрыла
Под ровной волной травы.
В сущности — не могилы,
А просто ямы и рвы.

Людей убивали тайно
И зарывали во тьме.
В Ярославле, в Тамбове, в Полтаве,
В Астрахани, в Костроме.

И в Петрограде, конечно,
Ну и, конечно, в Москве.
Потоки их бесконечны
С пулями в голове.

Всех орденов кавалеры,
Священники, лекаря,
Земцы и землемеры
И просто учителя.

Под какими истлели росами
Не дожившие до утра
И гимназистки с косами,
И мальчики-юнкера?

Каких потеряла — не ведаем —
В мальчиках тех страна
Пушкиных и Грибоедовых,
Героев Бородина.

Россия — могила братская,
Рядами, по одному,
В Казани, в Саратове, в Брянске,
В Киеве и в Крыму...

Куда бы судьба ни носила,
Наступишь на мертвеца.
Россия — одна могила
Без края и без конца.

В черную свалены яму
Сокровища всех времен:
И златоглавые храмы,
И колокольный звон.

Усадьбы, пруды и парки,
Аллеи в свете зари,
И триумфальные арки,
И белые монастыри.

В уютных мельницах реки,
И ветряков крыло.
Старинные библиотеки
И старое серебро.

Грив лошадиных космы,
Ярмарок пестрота,
Праздники и сенокосы,
Милость и доброта.

Трезвая скромность буден,
Яркость песенных слов.
Шаляпин, Рахманинов, Бунин,
Есенин, Блок, Гумилев.

Славных преданий древних
Внятные голоса.
Российские наши деревни,
Воды, недра, леса.

Россия — одна могила?
Россия — под глыбой тьмы?
И все же она не погибла,
Пока еще живы мы.

Держитесь, копите силы,
Нам уходить нельзя.
Россия еще не погибла.
Пока мы живы, друзья.

1981

Настала очередь моя

Когда Россию захватили
И на растленье обрекли,
Не все России изменили,
Не все в предатели пошли.

И набивались тюрьмы теми,
В ком живы были долг и честь.
Их поглощали мрак и темень,
Им ни числа, ни меры несть.

Стреляли гордых, добрых, честных,
Чтоб, захватив, упрочить власть.
В глухих подвалах повсеместно
Кровица русская лилась.

Все для захватчиков годилось —
Вранье газет, обман, подлог.
Когда бы раньше я родился,
И я б тогда погибнуть мог.

Когда, теряя тень надежды,
Наперевес неся штыки,
В пропахших порохом одеждах
Шли белой гвардии полки,

А пулеметы их косили,
И кровь хлестала, как вода,
Я мог погибнуть за Россию,
Но не было меня тогда.

Когда (ах, просто как и мудро)
И день и ночь, и ночь и день
Крестьян везли в тайгу и тундру
Из всех российских деревень,

От всех черемух, лип и кленов,
От речек, льющихся светло,
Чтобы пятнадцать миллионов
Крестьян безвинных полегло,

Когда, чтоб кость народу кинуть,
Назвали это — «перегиб»,
Я — русский мальчик — мог погибнуть
И лишь случайно не погиб.

Я тот, кто, как ни странно, вышел
Почти сухим из кутерьмы,
Кто уцелел, остался, выжил
Без лагерей и без тюрьмы.

Что ж, вспоминать ли нам под вечер,
В передзакатный этот час,
Как, души русские калеча,
Подонков делали из нас?

Иль, противостоя железу
И мраку противостоя,
Осознавать светло и трезво:
Приходит очередь моя?

Как волку вырваться из круга,
Ни чувств, ни мыслей не тая?
Прости меня, моя подруга,
Настала очередь моя.

Я поднимаюсь, как на бруствер,
На фоне трусов и хамья.
Не надо слов, не надо грусти:
Сегодня очередь — моя!

1983



Память: еще одна страница

Русский писатель Владимир Зазубрин, расстрелянный в 1938 году, известен прежде всего как автор романа-хроники «Два мира» (1921) — о разгроме колчаковцев. Романа, получившего оценку В. И. Ленина как «страшная, нужная книга».

Владимир Яковлевич Зазубрин (Зубцов) родился в 1895 году в Пензе в семье рабочего-железнодорожника. В 1918 году был мобилизован белогвардейцами. Затем — Иркутское военное училище. Осенью 1919 года вместе со своим взводом перешел на сторону сибирских партизан. Потом работал в печати — был редактором газеты «Красный стрелок» политуправления Пятой армии, сотрудником журнала «Сибирские огни».

Именно этому изданию была предложена повесть «Щепка», написанная в 1923 году. Однако публикация состоялась лишь в наши дни, спустя шестьдесят с лишним лет...

Произведение В. Зазубрина — искреннее, обнаженное свидетельство жестокой правды о революции, о массовом терроре, доведенном до абсурда механического производства, о палачах и жертвах, о чудовищной философии братоубийства и расплате за содеянное.

Повесть «Щепка» в этом году печатали альманах «Енисей» и журнал «Сибирские огни». Член нашей редколлегии, сибиряк Виктор Петрович Астафьев горячо рекомендовал эту повесть и вниманию всесоюзной аудитории «Нашего современника».

Владимир ЗАЗУБРИН

ЩЕПКА

ПОВЕСТЬ О НЕЙ И О НЕЙ

1

НА ДВОРЕ затопали стальные ноги грузовиков. По всему каменному дому дрожь.

На третьем этаже на столе у Срубова звякнули медные крышечки чернильниц. Срубов побледнел. Члены Коллегии и следователь торопливо закурили. Каждый за дымную занавесочку. А глаза в пол.

В подвале отец Василий поднял над головой нагрудный крест.

— Братья и сестры, помолимся в последний час.

Темно-зеленая ряса, живот, расплывшийся книзу, череп лысый, круглый — просвирка заплесневевшая. Стал в угол. С нар, шурша, сползали черные тени. К полу припали со стоном.

В другом углу, синея, хрипел поручик Снежницкий. Короткой петлей из подтяжек его душил прапорщик Скачков. Офицер торопился — боялся, не заметили бы. Повертывался к двери широкой спиной. Голову Снежницкого зажимал между колен. И тянул. Для себя у него был приготовлен острый осколок от бутылки.

А автомобили стучали на дворе. И все в трехэтажном каменном доме знали, что подали их для вывозки трупов.

Жирной, волосатой змеей выгнулась из широкого рукава рука с крестом. Поднимались от пола бледные лица. Мертвые, тухнущие глаза лезли из орбит, слезились. Отчетливо видели крест немногие. Некоторые только узкую серебряную пластинку. Несколько человек — сверкающую звезду. Остальные — пустоту черную. У священника язык лип к нёбу, к губам. Губы лиловые, холодные.

— Во имя отца и сына...

На серых стенах серый пот. В углах белые ажурные кружева мерзлоты.

Листьями опавшими шелестели по полу слова молитв. Метались люди. Были они в холодном поту, как и стены. Но дрожали. А стены неподвижны — в них несокрушимая твердость камня.

На коменданте красная фуражка, красные галифе, темно-синяя гимнастерка, коричневая английская портупея через плечо, кривой маузер без кобуры, сверкающие сапоги. У него бритое румяное лицо куклы из окна парикмахерской. Вошел он в кабинет совершенно бесшумно. В дверях вытянулся, застыл.

Срубов чуть приподнял голову.

— Готово?

Комендант ответил коротко, громко, почти крикнул:

— Готово.

И снова замер. Только глаза с колющими точками зрачков, с острым стеклянным блеском были неспокойны.

У Срубова и у других, сидевших в кабинете, глаза такие же — и стеклянные, и сверкающие, и остротревожные.

— Выводите первую пятерку. Я сейчас.

Не торопясь набил трубку. Прощаясь, жал руки и глядел в сторону.

Моргунов не подал руки.

— Я с вами — посмотреть.

Он первый раз в Чека. Срубов помолчал, поморщился. Надел черный полушубок, длинноухую рыжую шапку. В коридоре закурил. Высокий грузный Моргунов в тулупе и папахе сутулился сзади. На потолке огненные волдыри ламп. Срубов потянул шапку за уши. Закрыл лоб и наполовину глаз. Смотрел под ноги. Серые деревянные квадратики паркета. Их нанизали на ниточку и тянули. Они ползли Срубову под ноги, и он, сам не зная для чего, быстро считал:

— ...Три... семь... пятнадцать... двадцать один...

На полу серые, на стенах белые — вывески отделов. Не смотрел, но видел. Они тоже на ниточке.

...Секретно-оперативный... контрревол... вход воспр... бандитизм... преступл...

Отсчитал шестьдесят семь серых, сбился. Остановился, повернул назад. Раздраженно посмотрел на рыжие усы Моргунова. А когда понял, сдвинул брови, махнул рукой. Застучал каблуками вперед. Мысленно твердил: «...Санти-менты... санти-менты... санти...»

Злился, но не мог отвязаться.

— ...Санти-менты... менты-санти...

На площадке лестницы часовой. И сзади этот зритель, свидетель ненужный. Срубову противно, что на него смотрят, что так светло. А тут ступеньки. И опять пошло.

— ...Два... четыре... пять...

Площадка пустая. Снова:

— ...Одна... две... восемь...

Второй этаж. Новый часовой. Мимо, боком.

Еще ступеньки.

Еще.

Последний часовой. Скорее. Дверь. Двор. Снег. Светлее, чем в коридоре.

И тут штыки. Целый частокол. И Моргунов, бестактный, лепится к левому рукаву, вяжется с разговором.

Отец Василий все с поднятым крестом. Приговоренные около него на коленях. Пытались петь хором. Но пел каждый отдельно.

— Со свя-ты-ми упо-ок-о-о-о...

Женщин только пять. А мужских голосов не слышно. Страх туго набил стальные обручи на грудные клетки, на глотки и давил. Мужчины тонко, прерывисто скрипели:

— Со свя-ты-ми... свят-ты-ми...

Комендант тоже надел полушубок. Только желтый. В подвал спустился с белым листом — списком.

Тяжелым засовом громыхнула дверь.

У первых нет языков. Полны рты горячего песку. С колен встать все не смогли. Ползком в углы, на нары, под нары. Стадо овец. Визг только кошачий. Священник, прислонясь к стене, тихо заикался:

— ...упо-по-по-о-о...

И громко портил воздух.

Комендант замахал бумагой. Голос у него сырой, гнетущий — земля. Назвал пять фамилий — задавил, засыпал. Нет сил двинуться с места. Воздух стал как в растревоженной выгребной яме. Комендант брезгливо зажал нос.

Длинноусый есаул подошел, спросил:

— Куда нас?

Все знали — на расстрел. Но приговора не слышали. Хотели окончательно, точно. Неизвестность хуже.

Комендант суров, серьезен. Так вот прямо, не краснея, не смущаясь, глаза в глаза уставил и заявил:

— В Омск.

Есаул хихикнул, присел:

— Подземной дорогой?

Полковнику Никитину тоже смешно. Согнул широкую гвардейскую спину и в бороду:

— Хи-хи...

И не видел, что из-под него и из-под соседа генерала Треухова ползли по нарам тонкие струйки. На полу от них болотца и пар.

Пятерых повели. Дверь плотно загородила выход. Лязгнул люк во двор. Шум автомобилей яснее. И был похож он на стук комьев мерзлой земли в железную дверь подвала. Запертым показалось, что их заживо засыпают.

Ту-ту-ту-ту-ту. Фр-ту-ту. Фр-ту-ту.

Капитан Боженко встал у стены. Подбоченился. Голову поднял. Под потолком слабенькая лампочка. Капитан подмигнул ей.

— Меня, брат, не найдут.

И на четвереньках под нары.

Из угла поручик Снежницкий показывал всем синий мертвый язык. От коменданта Скачков его спрятал. А себе горло не перерезал. Вертел в руках стекло и не решался.

Маленький огненный волдырек на потолке неожиданно лопнул. Гной из него черной смолой всем в глаза. Тьма. В темноте не страх — отчаяние. Сидеть и ждать невозможно. Но стены, стены. Кирпичный пол. Ползком с визгом по нему. Ногтями, зубами в сырые камни.

Срубову и пяти выведенным показалось, что узкий снежный двор — накаленный добела металлический зал. Медленно вращаясь на дне трехэтажного каменного колодца, зал захватил людей и сбросил в люк другого подвала на противоположном конце двора. В узком горле винтовой лестницы у двоих захватило дыхание, закружились головы — упали. Остальных троих сбили с ног. На земляной пол скатились кучей.

Второй подвал без нар изогнут печатной буквой Г. В коротком крючке каменной буквы, далеком от входа, мрак. В длинном хвосте —

день. Лампы сильнее через каждые пять шагов. На полу все бугорки, ямки видны. Никогда не спрятаться. Стены кирпичными скалами сошлись вплотную, спаялись острыми четкими углами. Сверху навалилась каменная пустобрюхая глыба потолка. Не убежать. Кроме того, конвоиры — сзади, спереди, с боков. Винтовки, шашки, револьверы, красные, красные звезды. Железа, оружия больше, чем людей.

«Стенка» белела на границе светлого хвоста и неосвещенного изгиба. Пять дверей, сорванных с петель, были приставлены к кирпичной скале. Около — пять чекистов. В руках большие револьверы. Курки — черные знаки вопросов — взведены.

Комендант остановил приговоренных, приказал:

— Раздеться.

Приказание как удар. У всех пятерых дернулись и подогнулись колени. А Срубов почувствовал, что приказание коменданта относится и к нему. Бессознательно расстегнул полушубок. И в то же время рассудок убеждал, что это вздор, что он предгубчека и должен руководить расстрелом. Овладел собой с усилием. Посмотрел на коменданта, на других чекистов — никто не обращал на него внимания.

Приговоренные раздевались дрожащими руками. Пальцы, похолодевшие, не слушались, не гнулись. Пуговицы, крючки не расстегивались. Путались шнурки, завязки. Комендант грыз папиросу, торопил:

— Живей, живей.

У одного завязла в рубахе голова, и он не спешил ее высвободить. Раздеться первым никто не хотел. Косились друг на друга, медлили. А хорунжий Кашин совсем не раздевался. Сидел скорчившись, обняв колени. Смотрел отупело в одну точку на носок своего порыжевшего порванного сапога. К нему подошел Ефим Соломин. Револьвер в правой руке за спиной. Левой погладил по голове. Кашин вздрогнул, удивленно раскрыл рот, а глаза на чекиста.

— Чё призадумался, дорогой мой? Аль спужался? — А рукой все по волосам. Говорит тихо, нараспев: — Не бойсь, не бойсь, дорогой. Смертушка твоя еще далече. Страшного покудова ще нету-ка. Дай-ка я те пособлю курточку снять.

И ласково и твердо-уверенной левой рукой расстегивает у офицера френч.

— Не бойсь, дорогой мой. Теперь рукавчик сымем.

Кашин раскис. Руки растопырил покорно, безвольно. По лицу у него слезы. Но он не замечал их. Соломин совсем овладел им.

— Теперь штаники. Ничё, ничё, дорогой мой.

Глаза у Соломина честные, голубые. Лицо скуластое, открытое. Грязноватые мочала на подбородке и на верхней губе редкой бахромой. Раздевал он Кашина как заботливый санитар больного.

— Подштанники...

Срубов ясно до боли чувствовал всю безвыходность положения приговоренных. Ему казалось, что высшая мера насилья не в самом расстреле, а в этом раздевании. Из белья на голую землю. Раздетому среди одетых. Унижение предельное. Гнет ожидания смерти усиливался будничностью обстановки. Грязный пол, пыльные стены, подвал. А может быть, каждый из них мечтал быть председателем Учредительного собрания? Может быть, первым министром реставрированной монархии в России? Может быть, самим императором? Срубов тоже мечтал стать Народным Комиссаром не только в РСФСР, но даже в МСФСР. И Срубову показалось, что сейчас вместе с ними будут расстреливать и его. Холод тонкими иглами колол спину. Руки теребили портупею, жесткую бороду.

Голый костлявый человек стоял, поблескивая пенсне. Он первым разделся. Комендант показал ему на нос:

— Снимите.

Голый немного наклонился к коменданту, улыбнулся. Срубов увидел тонкое интеллигентное лицо, умный взгляд и русую бородку.

— А как же тогда я? Ведь я тогда и стенки не увижу.

В вопросе, в улыбке наивное, детское. У Срубова мысль: никто никого и не собирается расстреливать. А чекисты захохотали. Комендант выронил папиросу.

— Вы славный парень, черт возьми. Ну ничего, мы вас подведем. А пенсне-то все-таки снимите.

Другой, тучный, с черной шерстью на груди, тяжелым басом:

— Я хочу дать последнее показание.

Комендант обернулся к Срубову. Срубов подошел ближе. Вынул записную книжку. Записывать стал, не вдумываясь в смысл показания, не критикуя его. Был рад отсрочке решительного момента. А толстый врал, путался, тянул:

— Около леска, между речкой и болотом, в кустах...

Говорил, что отряд белых, в котором он служил, закопал где-то много золота. Никто из чекистов ему не верил. Все знали, что он только старается выиграть время. В конце концов приговоренный предложил отдалить его расстрел, взять его проводником, и он укажет, где зарыто золото.

Срубов положил записную книжку в карман. Комендант, смеясь, хлопнул голого по плечу:

— Брось, дядя, вола крутить. Становись.

Разделись уже все. От холода терли руки. Переступали на месте босыми ногами. Белье и одежда пестрой кучей. Комендант сделал рукой жест — пригласил:

— Становитесь.

Тучный в черной шерсти завыл, захлебнулся слезами. Уголовный бандит с тупым, равнодушным лицом подошел к одной из дверей. Кривые волосатые ноги с огромными плоскими ступнями расставил широко, устойчиво. Сухоногий ротмистр из карательного отряда крикнул:

— Да здравствует советская власть!

С револьвером против него широконосый, широколицый, бритый Ванька Мудыня. Махнул перед ротмистром жилистым татуированным матросским кулаком. И с сонным плевком через зубы, с усмешкой:

— Не кричи — не помилуем.

Коммунист, приговоренный за взяточничество, опустил круглую стриженую голову, в землю глухо сказал:

— Простите, товарищи.

А веселый с русой бородкой, уже без пенсне, и тут всех рассмешил.

Стал, скроил глупенькую рожицу.

— Вот они какие, двери-то на тот свет — без петель. Теперь буду знать.

И опять Срубов подумал, что их не будут расстреливать.

А комендант, все смеясь, приказал:

— Повернитесь.

Приговоренные не поняли.

— Лицом к стенке повернитесь, а к нам спиной.

Срубов знал, что, как только они станут повертываться, пятеро чекистов одновременно вскинут револьверы и в упор каждому выстрелят в затылок.

Пока наконец голые поняли, чего хотят от них одетые, Срубов успел набить и закурить потухшую трубку. Сейчас повернутся и — конец. Лица у конвоиров, у коменданта, у чекистов с револьверами, у Срубова одинаковы — напряженно-бледные. Только Соломин стоял совершенно спокойно. Лицо у него озабочено не более, чем то нужно для обыденной, будничной работы. Срубов глаза в трубку, на огонек. А все-таки заметил, как Моргунов, бледный, ртом хватал воздух, отвертывался. Но какая-то сила тянула его в сторону пяти голых, и он кривил на них лицо, глаза. Огонек в трубке вздрогнул. Больно стукнуло

в уши. Белые сырые туши мяса рухнули на пол. Чекисты с дымящимися револьверами быстро отбежали назад и сейчас же щелкнули курками. У расстрелянных в судорогах дергались ноги. Тучный с звонким визгом вздохнул в последний раз. Срубов подумал: «Есть душа или нет? Может быть, это душа с визгом выходит?»

Двое в серых шинелях ловко надевали трупам на ноги петли, отволакивали их в темный загиб подвала. Двое таких же лопатами копали землю, забрасывали дымящиеся ручейки крови. Соломин, заткнув за пояс револьвер, сортировал белье расстрелянных. Старательно складывал кальсоны с кальсонами, рубашки с рубашками, а верхнее платье отдельно.

В следующей пятерке был поп. Он не владел собой. Еле тащил толстое тело на коротких ножках и тонко дребезжал:

— Святый боже, святый крепкий...

Глаза у него лезли из орбит. Срубов вспомнил, как мать стряпала из теста жаворонков, вставляла им из изюма глаза. Голова попа походила на голову жаворонка, вынутого из печи с глазами-изюминками, надувшимися от жару. Отец Василий упал на колени:

— Братцы, родимые, не погубите...

А для Срубова он уже не человек — тесто, жаворонок из теста. Нисколько не жаль такого. Сердце затвердело злобой. Четко бросил сквозь зубы:

— Перестань ныть, божья дудка. Москва слезам не верит.

Его грубая твердость — толчок и другим чекистам. Мудыня крутил цигарку:

— Дать ему пинка в корму — замолчит.

Высокий, вихляющийся Семен Худоногов и низкий, квадратный, кривоногий Алексей Боже схватили попа, свалили, стали раздевать, он опять затянул, задребезжал стеклом в рассохшейся раме:

— Святый боже, святый крепкий...

Ефим Соломин остановил:

— Не трожьте батюшку. Он сам разденется.

Поп замолчал — мутные глаза на Соломина. Худоногов и Боже отошли.

— Братцы, не раздевайте меня. Священников полагается хоронить в облачении.

Соломин ласков.

— В лопотине-то те, дорогой мой, чижеле. Лопотина, она тянет.

Поп лежал на земле. Соломин сидел над ним на корточках, подобрав на колени полы длинной серой шинели, расстегивал у него черный репсовый подрясник.

— Оно этто ничё, дорогой мой, что раздеем. Вот надоть бы тебя ще в баньке попарить. Когды человек чистый да разначишенный, тожно ему лекше и помирать. Чичас, чичас всю эту бахтерму долой с тебя. Ты у меня тожно, как птаха, крылышки расправишь.

У священника тонкое полотняное белье. Соломин бережно развязал тесемки у щиколоток.

— В лопотине тока убийцы убивают. А мы не убиваем, а казним. А казнь, дорогой мой, дело великая.

Один офицер попросил закурить. Комендант дал. Офицер закурил и, стаскивая бровки, спокойно щурился от дыма.

— Нашим расстрелом транспорта не наладите, продовольственного вопроса не разрешите.

Срубов услышал и разозлился еще больше.

Двое других раздевались, как в предбаннике, смеясь, болтали о пустяках, казалось, ничего не замечали, не видели и видеть не хотели. Срубов внимательно посмотрел на них и понял, что это только маскарад — глаза у обоих были мертвые, расширенные от ужаса. Пятая, женщина-крестьянка, раздевшись, спокойно перекрестилась и стала под револьвер.

А с папиросской, рассердивший Срубова, не захотел повертываться спиной.

— Я прошу стрелять меня в лоб.

Срубов его обрезал:

— Системы нарушить не могу — стреляем только в затылок. Приказываю повернуться.

У голого офицера воля слабее. Повернулся. Увидел в дереве двери массу дырочек. И ему захотелось стать маленькой, маленькой мушкой, проскользнуть в одну из этих дырок, спрятаться, а потом найти в подвале какую-нибудь щелку и вылететь на волю. (В армии Колчака он мечтал кончить службу командиром корпуса — полным генералом.) И вдруг та дырка, которую он облюбовал себе, стала огромной дырой. Офицер легко прыгнул в нее и умер. Зрачок у него в правом открытом глазу был такой же широкий и нервный, как новая дырка в двери от пули, пробившей ему голову.

У отца Василия живот — тесто, вывалившееся из квашни на пол. (Отец Василий никогда не думал стать архиереем. Но протодьяконом рассчитывал.)

За ноги веревками потащили и этих в темный загиб. Все они — каждый по-своему — мечтали жить и кем-то быть. Но стоит ли об этом говорить, когда от каждого из них осталось только по три, по четыре пуда парного мяса?

Следующую пятерку не приводили, пока не была засыпана кровь и не убраны трупы. Чекисты крутили цигарки.

— Ефим, как жаба, ты завсегда веньгаешься с ними? — квадратный Боже спрашивал. Соломин тер пальцем под носом.

— А чё их дражнить и на них злобиться? Враг он когды не пойманный. А туто-ка скотина он бессловесная. А дома, когды по крестьянству приходилось побойку делать, так завсегда с лаской. Подойдешь, погладишь, стой, Буренка, стой. Тожно она и стоит. А мне того и надо, половчея потом-то.

Расстреливали пятеро — Ефим Соломин, Ванька Мудыня, Семен Худоногов, Алексей Боже, Наум Непомнящих. Из них никто не заметил, что в последней пятерке была женщина. Все видели только пять парных окровавленных туш мяса.

Трое стреляли как автоматы. И глаза у них были пустые, с мертвым стеклянистым блеском. Все, что они делали в подвале, делали почти непроизвольно. Ждали, пока приговоренные разденутся, встанут, механически поднимали револьверы, стреляли, отбегали назад, заменяли расстрелянные обоймы заряженными. Ждали, когда уберут трупы и приведут новых. Только когда осужденные кричали, сопротивлялись, у троих кровь пенилась жгучей злобой. Тогда они матерились, лезли с кулаками, с рукоятками револьверов. И тогда, поднимая револьверы к затылкам голых, чувствовали в руках, в груди холодную дрожь. Это от страха за промах, за ранение. Нужно было убить наповал. И если недобитый визжал, харкал, плевался кровью, то становилось душно в подвале, хотелось уйти и напиться до потери сознания. Но не было сил. Кто-то огромный, властный заставлял торопливо поднимать руку и приканчивать раненого.

Так стреляли Ванька Мудыня, Семен Худоногов, Наум Непомнящих.

Один Ефим Соломин чувствовал себя свободно и легко. Он знал твердо, что расстреливать белогвардейцев так же необходимо, как необходимо резать скот. И как не мог он злиться на корову, покорно подставляющую ему шею для ножа, так не чувствовал злобы и по отношению к приговоренным, повертывавшимся к нему открытыми затылками. Но не было у него и жалости к расстреливаемым. Соломин знал,

что они враги революции. А революции он служил охотно, добросовестно, как хорошему хозяину. Он не стрелял, а работал.

(В конце концов для нее не важно, кто и как стрелял. Ей нужно только уничтожить своих врагов.)

После четвертой пятерки Срубов перестал различать лица, фигуры приговоренных, слышать их крики, стоны. Дым от табаку, от револьверов, пар от крови и дыханья — дурнящий туман. Мелькали белые тела, корчились в предсмертных судорогах. Живые ползали на коленях, молили. Срубов молчал, смотрел и курил. Оттаскивали в сторону расстрелянных. Присыпали кровь землей. Раздевшиеся живые сменяли раздетых мертвых. Пятерка за пятеркой.

В темном конце подвала чекист ловил петли, спускавшиеся в люк, надевал их на шеи расстрелянных, кричал сверху:

— Тащи!

Трупы с мотающимися руками и ногами поднимались к потолку, исчезали. А в подвал вели и вели живых, от страха испражняющихся себе в белье, от страха потеющих, от страха плачущих. И топали, топали стальные ноги грузовиков. Глухими вздохами из подземелья во двор...

Тащили. Тащили.

Подошел комендант.

— Машина, товарищ Срубов. Завод механический.

Срубов кивнул головой и вспомнил снопоогненный зал двора. Вертится зал, перекидывает людей из подвала в подвал. А во всем доме огни, машины стучат. Сотни людей заняты круглые сутки. И тут ррр-ах-рр-ррр-ах. С гулким лязгом, с хрустом буравят черепа автоматические сверла. Брызжут красные непрогорающие опилки. Смазочная мазь летит кровяными сгустками мозга. (Бурят или буравят ведь не только землю, когда хотят рыть артезианский колодец или найти нефть. Иногда ведь приходится проходить целые толщи камня, жилы руд, чтобы добуриться или добуравиться до чистой земли, необходимо пройти стальными сверлами костяные пласты черепов, кашеобразные трясины мозгов, отвести в сточные трубы и ямы гейзеры крови.) Кровью парной, по́том едким человечьим, испражнениями пышет подвал. И туман, туман, дым. Лампочки с усилием таращат с потолка слепнущие огненные глаза. Холодной испариной мокнут стены. В лихорадке бьется земляной пол. Желто-красный, клейкий, вонючий студень стоит под ногами. Воздух отяжелел от свинца. Трудно дышать. Завод.

Ррр-ах-ррр-ррр-ах!

Тащили.

— А-ах-и-и. В-и-и-и!

— Имею ценное показание. Прекратите расстрел.

Трах-ах-рр.

Тащили.

— Ну, раздевайся. Раздевайся. Становись. Повернись.

— А-а-а-а. О-о-о.

Р-а-ахах.

Тащили.

— Да здравствует государь император. Стреляй, красная сволочь. Господи, помилуй. Долой коммунистов. Пощадите. Пострелял и вас, краснорожие.

Ррр-ррр.

Тащили.

— Невинно погибаю. У-у-у.

— Брось.

Ррр.

Тащили.

— Умоля-я-ю.

Ррр-у-у-ххх.

Тащили.

Ванька Мудыня, Семен Худоногов, Наум Непомнящих мертвенно-бледные, устало расстегивающие полушубки с рукавами, покрасневшими от крови. Алексей Боже с белками глаз, воспаленными кровавым возбуждением, с лицом, забрызганным кровью, с желтыми зубами в красном оскале губ, в черной копоти усов. Ефим Соломин с деловитостью, серьезной и невозмутимой, трущий под курносым носом, сбрасывающий с усов и бороды кровяные запекшиеся сгустки, поправляющий захватанный козырек, оторвавшийся наполовину от зеленой фуражки с красной звездой. (Но разве интересно Ей это? Ей необходимо только заставить убивать одних, приказать умирать другим. Только. И чекисты, и Срубов, и приговоренные одинаково были ничтожными пешками, маленькими винтиками в этом стихийном беге заводского механизма. На этом заводе уголь и пар — Ее гневная сила, хозяйка здесь Она — жестокая и прекрасная.) И Срубов, закутавный в черный мех полушубка, в рыжий мех шапки, в серый дым незатухающей трубки, почувствовал Ее дыхание. И от ощущения близости той новой напряженной энергии рванул мускулы, натянул жилы, быстрее погнал кровь. Для Нее и в Ее интересах Срубов готов на все. Для Нее и убийство — радость. И если нужно будет, то он не колеблясь сам станет лепить пули в затылки приговоренных. Пусть хоть один чекист попробует струсить, отступиться — он сейчас же уложит его на месте. Срубов полон радостной решимости.

Для Нее и ради Нее.

Но случались растопорки. Молодой красавец гвардеец не хотел раздеваться. Кривил тонкие аристократические губы, иронизировал:

— Я привык, чтобы меня раздевали холуи. Сам не буду.

Наум Непомнящих злобно ткнул его в грудь дулом нагана.

— Раздевайся, гад.

— Дайте холуя.

Непомнящих и Худоногов схватили упрямого за ноги, свалили. Рядом почти без чувств генерал Треухов. Хрипел, задыхался, молил. В горле у него шипело, словно вода уходила в раскаленный песок. Его тоже пришлось раздевать. Соломин плевался, отвертывался, когда стаскивал штаны с красными лампасами.

— Тьфу! Не продыхнешь. Белье-то како обгадил.

Гвардеец, раздетый, стал, сложил руки на груди и ни шагу. Заявил с гордостью:

— Не буду перед всякой мразью вертеться. Стреляй в грудь русского офицера.

Отхаркался и Худоногову в глаза. Худоногов в бешенстве сунул в губы офицеру длинный ствол маузера и, ломая белую пластинку стиснутых зубов, выстрелил. Офицер упал навзничь, беспомощно дернув головой и махнув руками. В судорогах тело заиграло мраморными мускулами атлета. Срубову на одну минуту стало жаль красавца. Однажды ему было так же жаль кровного могучего жеребца, бившегося на улице с переломленной ногой. Худоногов рукавом стирал с лица плевок. Срубов ему строго:

— Не нервничать.

И властно и раздраженно:

— Следующую пятерку. Живо. Распустили слюни.

Из пятерки остались две женщины и прапорщик Скачков. Он так и не перерезал себе горло. И уже голый все держал в руках маленький осколок стекла.

Полногрудая вислозадая дама с высокой прической дрожала, не хотела идти к «стенке». Соломин взял ее под руку:

— Не бойсь, дорогая моя. Не бойсь, красавица моя. Мы тебе ничё не сделаем. Вишь, туто-ка друга баба.

Голая женщина уступила одетому мужчине. С дрожью в холеных ногах, тонких у щиколоток, ступала по теплой липкой слизи пола. Соломин вел ее осторожно с лицом озабоченным.

Другая — высокая блондинка. Распущенными волосами прикрылась до колен. Глаза у нее синие. Брови густые, темные. Она совсем детским голосом и немного заикаясь:

— Если бы вы зн-знали, товарищи... жить, жить как хочется...

И синевой глубокой на всех льет. Чекисты не поднимают револьверы. У каждого глаза — угли. А от сердца к ногам ноющая, сладкая истома. Молчал комендант. Неподвижно стояли пятеро с закопченными револьверами. А глаза у всех неотрывно на нее. Стало тихо. Испарина капала с потолка. Об пол разбивалась с мягким стуком.

Запах крови, парного мяса будил в Срубове звериное, земляное. Схватить, сжать эту синеглазую. Когтями, зубами впиться в нее. Захлебнуться в соленом красном угаре... Но Та, которую любил Срубов, которой сулил, была здесь же. (Хотя, конечно, какое бы то ни было противопоставление, сравнение Ее с синеглазой немыслимо, абсурдно.) А потому — решительно два шага вперед. Из кармана черный браунинг. И прямо между темных дуг бровей, в белый лоб никелированную пулю. Женщина всем телом осела вниз, вытянулась на полу. На лбу, на русых волосах змейкой закрутились кровавые кораллы. Срубов не опускал руки. Скачков — в висок. Полногрудая рядом без чувств. Над ней нагнулся Соломин и толстой пулей сорвал крышку черепа с пышной прической.

Браунинг в карман. Отошел назад. В темном конце подвала трупы друг на друга лезли к потолку. Кровь от них в светлый конец ручейками. Уставший Срубов видел целую красную реку. В дурманящем тумане все покраснело. Все, кроме трупов. Те белые. На потолке красные лампы. Чекисты во всем красном. А в руках у них не револьверы — топоры. Трупы не падают — березы белоствольные валятся. Упруги тела берез. Упорно сопротивляется в них жизнь. Рубят их — они гнутся, трещат, долго не падают, а падая, хрустят со стоном. На земле дрожат умирающими сучьями. Сбрасывают чекисты белые бревна в красную реку. В реке вяжут в плоты. А сами рубят, рубят. Искры огненные от ударов.

Окровавленными зубами пены грызет кирпичные берега красная река. Вереницей плывут белоствольные плоты. Каждый из пяти бревен. На каждом пять чекистов. С плота на плот перепрыгивает Срубов, распоряжается, командует.

А потом, когда ночь, измученная красной бессонницей, с красными воспаленными глазами, задрожала предутренней дрожью, кровавые волны реки зажглись ослепительным светом. Красная кровь вспыхнула сверкающей огненной лавой. И не пол трясся в лихорадке — земля колебалась. Извергаясь, грохотал вулкан.

Трр-ах-ррр-ух-ррр.

Размыты, разрушены стены подвала. Затоплены двор, улицы, город. Жгучая лава льется и льется. На недосягаемую высоту выброшен Срубов огненными волнами. Слепит глаза светлый, сияющий простор. Но нет в сердце страха и колебаний. Твердо, с поднятой головой стоит Срубов в громе землетрясения, жадно вглядывается в даль. В голове только одна мысль — о Ней.

2

Бледной лихорадкой лихорадило луну. И от лихорадки, и от мороза дрожала луна мелкой дрожью. И дрожащей, прозрачно искристой дымкой вокруг нее ее дыхание. Над землей оно сгущалось облаками грязноватой ваты, на земле дымилась парным молоком.

На дворе в молоке тумана рядами горбились зябко-синие снежные сугробы. В синем снегу, лохмотьями налипшем на подоконники, лохмотьями свисавшем с крыш, посинели промерзшие белые трехэтажные многоглазые стены.

И в бледной лихорадке торопливости лица двоих в разных желтых (ночь, впрочем, в черных) полушубках, стоящих на грузовике, опускающих в черную глотку подвала петли веревок, ждущих с согнутыми спинами, с вытянутыми вперед руками.

Подвал вздыхает или кашляет:

— Тащи-т-и-и.

И выдохнутые или выплюнутые из дымящейся глотки мокротой или слюной тягучей, кроваво-сине-желтой, теплой тянутся на веревках трупы. Как по мокроте, по слюне, ходили по ним, топтали их, размазывая по грузовику. Потом, когда выше бортов начали горбиться спины трупов, стынущие и синеющие, как горбы сугробов, тогда брезентом, серым, как туман, накрывали грузовик. И стальными ногами топал и глубоко увязал в синем снегу, ломая спины сгорбившихся сугробов, в хрусте снежных костей, в лязге железа, в фыркающей одышке мотора, в кроваво-черном поту нефти и крови грузовик уходил за ворота. Шел серый в сером тумане на кладбище, сотрясая улицы, дома, поднимая с кроватей всезнающих обывателей. К замерзшим стеклам прикались, плющились заспанные носы. И в дрожании коленок, в дрожи кроватей, в позвякивании посуды и окон заспанные, загноившиеся глаза раскрылись от страха, заспанные вонючие рты шептали бессильно-злобно, испуганно:

— Чека... Из Чека... Чека свой товар вывозит...

И на дворе тоже ногами (только не стальными, а живыми, человечьими, при этом сильно уставшими) ломали с хрустом синие горбы сугробов — Срубов, Соломин, Мудыня, Боже, Непомнящих, Худоногов, комендант, двое с лопатами и конвоиры (конвоирам уже некого было конвоировать). Соломин шел со Срубовым рядом. Остальные сзади. У Соломина кровь на правом рукаве шинели, на правой стороне груди, на правой щеке — в лунном свете, как сажа. Говорил он голосом упавшим, но бодрым, говорил, как говорят люди, сделавшие большую, трудную, но важную и полезную работу.

— Кабы того высокого, красивого, в рот-то которого стреляли, да спарить с синеглазой — ладный бы плод дали.

Срубов посмотрел на него. Соломин говорил спокойно, деловито разводил руками. Срубов подумал: «О ком это он?» Но понял, что о людях. Усталыми глазами заметил только, что у чекиста на левой руке связка крестиков, образков, ладанок. Спросил машинально:

— Зачем тебе их, Ефим?

Тот светло улыбнулся.

— Ребятишкам играть, товарищ Срубов. Игрушек нонче не купишь. Нету-ка их.

Срубов вспомнил, что у него есть сын Юрий, Юрасик, Юхасик.

Сзади со смехом матерились. Вспоминали расстрелянных.

— Поп-то расписался... А генерал-то...

Срубов устало зевнул. Обернулся бледный.

— Таких веселых, как в пенснях, завсегда лекше бить. А уж которы воют...

Это Наум Непомнящих. Боже и согласен и нет.

Говорили с удалью, с лихо поднятыми головами.

Усталый мозг напрягся с усилием. Срубов понял, что все это напускное, показное. Все смертельно устали. Головы задирали потому, что они, свинцовые, не держались прямо. И матерщина только чтоб подбодриться. Всплыло в памяти иностранное слово — допинг.

До кабинета Срубов шел очень долго. В кабинете заперся. Повернул ключ и внимательно посмотрел на дверную ручку — чистая, не испачкана. Оглядел у лампы руки — крови не было. Сел в кресло и сейчас же вскочил, нагнулся к сиденью — тоже чистое. Крови не было ни на полушубке, ни на шапке. Открыл несгораемый шкаф. Из-за бумаг вытащил четверть спирта. Налил ровно половину чайного стакана. Развел отварной водой из графина. Болтал замутненную жид-

кость перед огнем. Напряженно оглядывался через стекло — красного ничего не было. Жидкость постепенно стала прозрачной. Поднес стакан ко рту и опять в памяти — допинг.

Только когда выпил и прошелся по кабинету — заметил, что от двери к столу, от стола к шкафу и обратно к двери его следы шли красной пунктирной линией, замыкавшейся в остроугольный треугольник.

И сейчас же с письменного стола нахально стала пялиться бронза безделушек, стальной диван брезгливо поднял тонкие гнутые ножки. Маркс на стене выпятил белую грудь сорочки. Увидел — разозлился:

— Белые сорочки, товарищ Маркс, черт бы вас побрал.

Со злобой, с болью схватил четверть, стакан, тяжело подошел к дивану. «Ишь жмется, аристократ. На вот тебе». Нарочно сапоги не снял. Растянулся и каблуками в ручку. На пепельно-голубой обивке грязь, кровь и снежная мокрота. Четверть, стакан рядом на пол поставил. А самому хочется с головой в реку, в море и все, все смыть. Уже лежа еще полстакана в рот жгучего, неразведенного. И в мозгу, пьянеющем от спирта, от подвального угара, от усталости, от бессонницы почти пьяные, почти бессвязные мысли:

— Почему, собственно, белая сорочка Маркса?

Ведь одни из них — поумереннее и полиберальнее — хотели сделать Ей аборт, другие — пореакционнее и порешительнее — кесарево сечение. И самые активные, самые черные пытались убить и Ее и ребенка. И разве не сделали так во Франции, где Ее, бабу, великую, здоровую, плодовитую, обесплодили, вырядили в бархат, в бриллианты, в золото, обратили в ничтожную, безвольную содержанку.

Потом, что такое колчаковская контрреволюция? Это небольшая комната, в которой мало воздуха и много табачного дыма, водочного перегара, вонючего человечьего пота, в которой письменный стол весь в бумагах — чистых и исписанных, в бутылках — пустых и непочатых со спиртом, с водкой, в нагайках — ременных, резиновых, проволочных, резиново-проволочно-свинцовых, в револьверах, в бебутах, в шашках, в гранатах. Нагайки, револьверы, гранаты, винтовки, бебуты и на стенах, и на полу, и на людях, сидящих за столом и спящих под ним и около него. Во время допроса вся комната пьяная или с похмелья набрасывается на допрашиваемого с ремнями, с резинами, с проволокой, со свинцом, с железом, с порожними бутылками, рвет его тело на клочья, порет в кровь, ревет десятками глоток, тычет десятками пальцев с угрозой на дула винтовок.

Колчаковская контрразведка — еще другая комната. В той письменный стол в зеленом сукне и бумагах. За столом капитан или полковник с надушенными усами, всегда вежливый, всегда деликатный — тушит папиросы о физиономии допрашиваемых и подписывает смертные приговоры.

Ну, вот вам и белая сорочка Маркса, брезгливый диван, чопорная чистота безделушек на столе.

Ну да, да, да, да, да... Да... Да... Да... Но... Но и но...

Сладко пуле — в лоб зверя. Но червя раздавить? Когда их сотни, тысячи хрустят под ногами и кровавый гной брызжет на сапоги, на руки, на лицо.

А Она не идея. Она — живой организм. Она — великая беременная баба. Она баба, которая вынашивает своего ребенка, которая должна родить.

Да... Да... Да...

Но для воспитанных на римских тогах и православных рясах Она, конечно, бесплотная, бесплодная богиня с мертвыми античными или библейскими чертами лица в античной или библейской хламиде. Иногда даже на революционных знаменах и плакатах Ее так изображают.

Но для меня Она — баба беременная, русская широкозадая, в рваной, заплатанной, грязной, вшивой холщовой рубахе. И я люблю Ее такую, какая Она есть, подлинную, живую, не выдуманную. Люблю за

то, что в Ее жилах, огромных, как реки, пылающая кровяная лава, что в Ее кишках здоровое урчание, как раскаты грома, что Ее желудок варит, как доменная печь, что биение Ее сердца, как подземные удары вулкана, что Она думает великую думу матери о зачатом, но еще не рожденном ребенке. И вот Она трясет свою рубашку, соскребает с нее и с тела вшей, червей и других паразитов — много их присосалось — в подвалы, в подвалы. И вот мы должны, и вот я должен, должен, должен их давить, давить, давить. И вот гной из них, гной, гной. И вот опять белая сорочка Маркса. А с улицы к окну липнет ледяная рожа мороза, ломит раму. И за окном термометр, на который раньше смотрел купец Иннокентий Пшеницын, падает до минус сорока семи Р.

В кабинете Иннокентия Пшеницына, теперь Срубова, мутный рассвет. Но дом Иннокентия Пшеницына, теперь Губчека, не знает, не замечает рассветов, сумерек, ночей, дней — стучит машинками, шелестит бумагой, шаркает десятками ног, хлопает дверьми, не ложится, не спит круглые сутки.

И в подвалах № 3, 2, 1, где у Иннокентия Пшеницына хранились головы сыру, головы сахару, колбасы, вино, консервы, теперь другое. В № 3 в полутьме на полках, заменяющих нары, головами сыра — головы арестованных, колбасами — колбасы рук и ног. Как между головами сыра, как между колбасами, осторожно, воровато шмыгают рыжие жирные крысы с длинными голыми хвостами. Арестованные забылись чуткой дрожащей дремотой. Чуткой дрожью усов, ноздрей, зорким блеском глаз щупают крысы воздух, безошибочно определяют уснувших более крепко, грызут у них обувь. У подследственной Неведомской отъели мех с высоких теплых галош.

И крысы же в подвале № 1, где уже убраны трупы, с визгом, с писком в драку, лижут, выгрызают из земляного пола человечью кровь. И языки их острые, маленькие, красные, жадные, как языки огня. И зубы у них острые, маленькие, белые, крепче камня, крепче бетона.

Нет крыс только в подвале № 2. В № 2 не расстреливают и не держат долго арестованных, туда сажают только на несколько часов перед расстрелом.

И в сыром тумане мороза, в мути рассвета на белом трехэтажном доме красными пятнами вывеска — черным по красному написано: «Губернская Чрезвычайная Комиссия». Ниже в скобках лаконичнее, понятнее (Губчека). А раньше золотом по черному: «Вино. Гастрономия. Бакалея. Иннокентий Пшеницын».

Над домом бархатное, тяжелое, набухшее кровью красное знамя брызжет по ветру кровавыми брызгами обтрепавшейся бахромы и кистей.

И, сотрясая улицы, дома и кладбище, везет чекистов с железными лопатами последний серый грузовик в кроваво-черном поту крови и нефти. Когда он, входя в белый подъезд, топает тяжелыми стальными ногами, белый каменный трехэтажный дом дрожит.

3

Ночами белый каменный трехэтажный дом с красивым флагом на крыше, с красной вывеской на стене, с красными звездами на шапках часовых вглядывался в город голодными блестящими четырехугольными глазами окон, щерил заледеневшие зубы чугунных решетчатых ворот, хватал, жевал охапками арестованных, глотал их каменными глотками подвалов, переваривал в каменном брюхе и мокротой, слюной, потом, экскрементами выплевывал, выхаркивал, выбрасывал на улицу. И к рассвету усталый, позевывая со скрипом чугунных зубов и челюстей, высовывал из подворотни красные языки крови.

Утрами тухли, чернели четырехугольные глаза окон, ярче загоралась кровь флага, вывески, звезды на шапках часовых, ярче кровавые

языки из подворотни, лизавшие тротуар, дорогу, ноги дрожащих прохожих. Утрами белый дом навязчивей, настойчивей металлическими щупальцами проводов щупал по городу дома с пестрыми вывесками советских учреждений.

— Говорят из Губчека. Немедленно сообщите... Из Губчека. В течение двадцати четырех часов представьте... Губчека предлагает срочно, под личную ответственность... Сегодня же до окончания занятий дайте объяснение Губчека... Губчека требует...

И так всем. И все дома с пестрыми вывесками советских учреждений, большие и маленькие, каменные и деревянные, растопыривали черные уши телефонных трубок, слушали внимательно, торопливо. И делали так, как требовала Чека,— немедленно, сейчас же, в двадцать четыре часа, до окончания занятий.

А в Губчека — люди, вооруженные винтовками, стояли на каждой площадке, в каждом коридоре, у каждой двери и во дворе, люди в кожаных куртках, в суконных гимнастерках, френчах, вооруженные револьверами, сидели за столами с бумагами, бегали с портфелями по комнатам, барышни, ничем не вооруженные, красивые и дурные, хорошо и плохо одетые, трещали на машинках, уполномоченные, агенты, красноармейцы батальона ВЧК курили, разговаривали в дыму комендантской, прислуга из столовой на подносе разносила по отделам жидкий чай в рыжих глиняных стаканах с конфетами из ржаной муки и патоки, посетители в рваных шубах (в Чека всегда ходили в рванье. У кого не было своего — доставали у знакомых) робко брали пропуски, свидетели нетерпеливо ждали допроса, те и другие боялись из посетителей, из свидетелей превратиться в обвиняемых и арестованных.

Утрами в кабинете на столе у Срубова серая горка пакетов. Конверты разные — белые, желтые, из газетной бумаги, из старых архивных дел. На адресах лихой канцелярский почерк с завитушками, с росчерком, безграмотные каракули, нервная интеллигентская вязь, старательно выведенные дамские колечки, ровные квадратики шрифта печатных машинок. Срубов быстро рвал конверты.

— Не мешало бы Губчека обратить внимание... Открыто две жены. Подрыв авторитета партии... Доброжелатель.

— Я, как идейный коммунист, не могу... возмутительное явление: некоторые посетители говорят прислуге — барышня, душечка, тогда как теперь советская власть и полагается не иначе, как товарищ, и вы, как... Необходимо, кому ведать сие надлежит...

Срубов набил трубку. Удобнее уселся в кресле. Пакет с надписью — «совершенно секретно», «в собственные руки». Газетная бумага. Разорвал.

«Я нашел вотку в 3-ай роти командер белай Гат...»

Дальше на белом листе писчей бумаги рассуждения о том, что сделал в Сибири Колчак и что делает советская власть. В самом конце вывод: «...и поетому ево (командира роты) непрямено унистожит, а он мешаит дела обидения рабочих и хрестьяноф, запричаит промеж крастно армейциф товарищетская рука пожатию. Врит политрук Паттыкин».

Срубов морщился, сосал трубку.

Акварелью на слоновой бумаге черный могильный бугорок, в бугорок воткнут кол. Внизу надпись: «Смерть кровопийцам чекистам...»

Брезгливо поджал губы, бросив в корзину.

«Товарищ председатель, я хочу с вами познакомица, потому что чекисты очень завлекательныя. Ходят все в кожаных френчах с бархатными воротниками, на боку завсегда револьверы. Очень храбрые, а иа грудях красные звезды... Я буду вас ожидать...»

Срубов захохотал, высыпал трубку на сукно стола. Бросил письмо, стал смахивать горящий табак. В дверь постучали. Не дожидаясь разрешения, вошел Алексей Боже. Положил большие красные руки на край стола, неморгающими красными глазами уставился на Срубова.

Спросил твердо, спокойно:

— Севодни будем?

Срубов понял, но почему-то переспросил:

— Что?

— Контрабошить.

— А что?

Четырехугольное плоское скуластое лицо Боже недовольно дернулось, шевельнулись черные сросшиеся брови, белки глаз совсем покраснели.

— Сами знаете.

Срубов знал. Знал, что старого крестьянина с весны тянет на пашню, что старый рабочий скучает о заводе, что старый чиновник быстро чахнет в отставке, что некоторые старые чекисты болезненно томятся, когда долго не имеют возможности расстреливать или присутствовать при расстрелах. Знал, что профессия кладет неизгладимый отпечаток на каждого человека, вырабатывает особые профессиональные (свойственные только данной профессии) черты характера, до известной степени обусловливает духовные запросы, наклонности и даже физические потребности. А Боже — старый чекист, и в Чека он был всегда только исполнителем-расстреливателем.

— Могуты нет никакой, товарищ Срубов. Втора неделя идет без дела. Напьюсь, что хотите делайте.

И Боже, четырехугольный, квадратный, с толстой шеей и низким лбом, беспомощно топтался на месте, не сводил со Срубова воспаленных красных глаз.

У Срубова мысль о Ней. Она уничтожает врагов. Но и они Ее ранят. Ведь Ее кровь, кровь из Ее раны этот Боже. А кровь, вышедшая из раны, неизбежно чернеет, загнивает, гибнет. Человек, обративший средство в цель, сбивается с Ее дороги, гибнет, разлагается. Ведь она ничтожна, но и велика только на Ее пути, с Ней. Без Нее, вне Ее она только ничтожна. И нет у Срубова жалости к Боже, нет сочувствия.

— Напьешься — в подвал спущу.

Без стука в дверь, без разрешения войти вошел раскачивающейся походкой матроса Ванька Мудыня, стал у стола рядом с Боже.

— Вызывали. Явился.

А в глаза не смотрит — обижен.

— Пьешь, Ванька?

— Пью.

— В подвал посажу.

Щеки у Мудыни вспыхнули, как от пощечины. Руки нервно обдергивали черную матросскую тужурку. В голосе боль обиды.

— Несправедливо эдак, товарищ Срубов. Я с первого дня советской власти. А тут с белогвардейцами в одну яму.

— Не пей.

Срубов холоден, равнодушен. Мудыня часто заморгал, скривил толстые губы.

— Вот хоть сейчас к стенке ставьте — не могу. Тысячу человек расстрелял — ничего, не пил. А как брата укокал, так и пить зачал. Мерещится он мне. Я ему — становись, мой Андрюша, а он — Ваньша, браток, на колени... Эх... Кажну ночь мерещится...

Срубову нехорошо. Мысли комками, лоскутами, узлами, обрывками. Путаница. Ничего не разберешь. Ванька пьет. Боже пьет, сам пьет. Почему им нельзя? (Ну да, престиж Чека. Они почти открыто. Да. Потом, вообще, имеет ли права Она? И что знает Она? А, Она? И вот взаимоотношения, роль права. Хаос. Хаос. Замахал руками.)

— Идите, идите. Нельзя же только так открыто.

А когда дверь закрылась, уткнулся в письмо, чтобы не думать, не думать, не думать.

«Я человек нейтральный, но... тем более он ответственный работ-

ник... Керосин необходим Республике... и выменивать полпуда картошки на два фунта керосина для личного удовольствия...»

И одно за другим поплыли заявления о двух фунтах соли, фунте хлеба, полфунте сахару, десяти фунтах муки, трех гвоздях, паре подошв, дюжине иголок, которые кто-либо у кого-либо выменял, купил (тогда как теперь советская власть и разрешается все приобретать только по ордерам с соответствующими подписями, за печатью, с надлежащего разрешения). А если все это было получено по ордеру, то указывалось на незаконность выписки самого ордера, неправильность выдачи.

Три-четыре дельных указания — контрразведчик скрывается под чужой фамилией, систематически расхищается пушнина со склада Губсовнархоза, каратель пролез в партию. И опять доброжелатели, зрячие, видящие, нейтральные, посторонние, независимые. В шорохе бумаги — угодливый шепоток. Они любили «довести до сведения кого следует». Они подобострастно брали Срубова за рукав, тащили его к своей спальне, показывали содержимое ночных горшков (может быть, человек пьяный был и, может быть, доктора могут исследовать и установить). Они трясли перед ним грязное белье свое, чужое, своих родных, родственников, знакомых. Как мыши, они проникали в чужие погреба, подполья, кладовки, забирались в помойки. И все время заискивающе улыбались или корчили рожи благородных блюстителей нравственности и все кивали головками и спрашивали:

— А как, по-вашему, это? А как это? А? Ничего? Не попахивает контрреволюцией? А вот посмотрите сюда. А вот здесь подозрительно. Нет? А?

В конце концов они спокойно отходили в сторону и равнодушно заявляли, что это их не касается, что их нравственный долг только довести до сведения того, кому «ведать сие надлежит».

Срубов наискось красным карандашом накладывал резолюции. Подписывался размашисто двумя буквами «А. С.». Рвал пакеты. Читал нетерпеливо, быстро, через строчку. На его имя приходили больше анонимки, пустячные мелкие заявления добровольных осведомителей. Серьезные сведения, донесения секретных агентов — непосредственно в агентурное отделение товарищу Яну Пепелу.

Срубов не кончил. Надоело. Встал. По кабинету крупными шагами из угла в угол. Трубка потухла, а он грыз ее, тянул. Липкая грязь раздражала тело. Срубов передернул плечами. Расстегнул ворот гимнастерки. Нижняя рубашка совершенно чистая. Вчера только надел после ванны. Все чистое и сам чистый. Но ощущение грязи не проходило.

Дорогой письменный стол с роскошным мраморным чернильным прибором. Удобные богатые кресла. Новые обои на стенах. Холодная, сверкающая чванная чистота. И Срубову неловко в своем кабинете.

Подошел к окну. По улице шли и ехали. Шли суетливые совработники с портфелями, хозяйки с корзинами, разношерстные люди с мешками и без мешков. Ехали только люди с портфелями и люди с красными звездами на фуражках, на рукавах. Тащились между тротуарами дорогой с нагруженными санками советские кони-люди.

Через всю эту движущуюся улицу от его кабинета тянулись сотни чутких нервов-проводов. У него сотни добровольных осведомителей, штат постоянных секретных агентов, и вместе с каждым из них он подглядывает, подслушивает, хитрит. Он постоянно в курсе чужих мыслей, намерений, поступков. Он спускается до интересов спекулянта, бандита, контрреволюционера. И туда, где люди напакостят, наносят грязь, обязан он протянуть свои руки и вычистить. В мозгу по букве вылезло и кривой лестницей вытянулось иностранное слово (оно за последнее время вязалось к нему) а-с-с-е-н-и-з-а-т-о-р. Срубов даже усмехнулся. Ассенизатор революции. Конечно, он с людьми дела

почти не имел, только с отбросами. Они ведь произвели переоценку ценностей. Ценное раньше — теперь стало бесценным, ненужным. Там, где работали честно живые люди, ему нечего было делать. Его обязанность вылавливать в кроваво-мутной реке революции самую дрянь, сор, отбросы, предупреждать загрязнение, отравление Ее чистых подпочвенных родников. И длинное это слово так и осталось в голове.

...Мудыня, Боже — оба закаленные фронтовики, верные, истинные товарищи. У обоих ордена Красного Знамени. Иван Никитич Смирнов знал их еще по восточному фронту и про них именно он сказал: «С такими мы будем умирать...» Но водка? А сам? И какое значение все мы — я, Мудыня, Боже, ну все, все... Да, какое значение имеем все мы для Нее?

И это письмо отца. Два дня как получил, а все в голове. Не свои, конечно, мысли у отца... Представь, что ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью осчастливить людей, дать им мир и покой, но для этого необходимо замучить всего только одно крохотное созданьице, на слезах его основать это здание. Согласился бы ты быть архитектором? Я, отец твой, отвечаю — нет, никогда, а ты... Ты думаешь на миллионах замученных, расстрелянных, уничтоженных воздвигнуть здание человеческого счастья... Ошибаешься... Откажется будущее человечество от «счастья», на крови людской созданного...

Нетерпеливо кашлянул нетерпеливый Ян Пепел, Срубов вздрогнул. К столу подошел, в кресло сел, пригласил сесть Пепела машинально. Слушал и не слышал того, что говорил Пепел. Смотрел на него пустыми, отсутствующими глазами.

Когда Пепел сказал, что было нужно, и поднялся, Срубов спросил:

— Вы никогда, товарищ Пепел, не задумываетесь над вопросом террора? Вам когда-нибудь было жаль расстрелянных, вернее, расстреливаемых?

Пепел, в черной кожаной тужурке, в черных кожаных брюках, в черном широком обруче ремня, в черных высоких начищенных сапогах, выбритый, причесанный, посмотрел на Срубова упрямыми, холодными голубыми глазами. И свой тонкий, с горбинкой, правильный нос, четкий четырехугольный подбородок — кверху. Кулак левой руки из кармана булыжником. Широкая ладонь правой на кобуре револьвера.

— Я есть рабочий, ви есть интеллигент. У меня есть ненависть, у вас есть философии.

Больше ничего не сказал. Не любил отвлеченных разговоров. Вырос на заводе. Десять лет над головой, под ногами змеями шипели ремни, скрипели зубы резцов, кружил голову крутящийся бег колеса. Некогда разговаривать. Поспевай повертывайся. Скуп стал на слова. Но приобрел ценную быстроту взгляда. Перенес в душу железное упорство машины. С завода ушел на войну, а с войны — в революцию на службу к Ней. Но рабочим остался. И на службе, в кабинете слышал шипящее ползанье приводных ремней, щелканье зубчатых колес жизни. В кабинете как в мастерской, за столом как за станком. Писал безграмотно, но быстро. Стружками летела бумага с его стола на стол машинистки. Трещал звонок телефона, хватал трубку. Одно ухо слушает, другое контролирует стук машинки. Перебой, остановка — кричит:

— Ну, пошла, пошла машина. Живо!

И в телефон кричит:

— Карошо. Слушаю.

На ходу распоряжения агентам, на ходу два-три слова посетителям. Быстро, быстро. Некогда сидеть, много думать у машины. На полном ходу завод.

Вот и сейчас, после Срубова, у себя посетителя схватил глазами

как клещами, в кресло усадил — в тиски сжал. И пошел, пошел вопросами, как молотками.

— Что? Благонадежность? Карошо. А советвласть сочувствуете? Вполне? Карошо. Но будем логичны до конца...

И Пепел написал на бумаге то, чего не хотел сказать при машинистке.

«Кто сочувствует советвласти, тот должен ее помогать давать. Будите у нас секретный осведомитель?»

Посетитель оглушен, бормочет полуотказ-полусогласие. А Пепел уже его заносит в список. Сует ему написанный на машинке лист — инструкцию секретным осведомителям.

— Согласны? Карошо. Прочтите. Дадим благонадежность.

Конечно, он ему и не думает доверять, как не доверяет десяткам других сотрудников. И работу каждого из них он обязательно проверяет, контролирует. За два с лишком года работы в Чека у него выработалась привычка никому не верить.

А в кабинет к Срубову шмыгающими, липнущими шажками, кланяясь, приседая, улыбаясь, заполз полковник Крутаев. Обрюзгший, седоусый, лысый, в потертой офицерской шинели, сел по одну сторону стола.

Срубов по другую.

— Я вам еще из тюрьмы писал, товарищ Срубов, о своих давнишних симпатиях к советской власти.

Полковник непринужденно закинул ногу на ногу.

— Я утверждал и утверждаю, что в моем лице вы приобретаете ценнейшего сотрудника и преданнейшего идейного коммуниста.

Срубову хотелось плюнуть в лицо Крутаеву, надавать пощечин, растоптать его. Сдерживался, грыз усы, забирал в рот бороду. Молчал, слушал.

Крутаев слащавой улыбкой растянул дряблые губы, вытащил из кармана серебряный портсигар.

— Разрешите? А вы?

Полковник привстал, с раскрытым портсигаром потянулся через стол. Срубов отказался.

— Сегодня я вам докажу это, идейный товарищ Срубов и проницательнейший предгубчека.

Срубов молчал. Крутаев руку в боковой карман шинели.

— Полюбуйтесь на молодчика.

Подал визитную фотографическую карточку. Одутловатое, интересное лицо, погоны капитана. Владимир с мечами и бантом.

— Ну?

— Брат моей жены.

Срубов пожал плечами:

— В чем же дело?

— А его фамилия, любезнейший товарищ Срубов.

— Кто он?

— Клименко. Капитан Клименко — начальник контрразведки армии.

Срубов не дал кончить

— Клименко?

Крутаев доволен. Старческие тухнущие глаза замаслились хитрой улыбкой:

— Видите, можно сказать, родного брата не щажу.

Срубов записал подробный адрес Клименко. Фамилию, под которой он скрывался.

Уходя, Крутаев небрежно бросил:

— Да, уважаемый товарищ Срубов, дайте мне двести рублей.

— Зачем?

— В возмещение расходов на приобретение карточки.

— Ведь вы же ее у себя дома взяли.

— Нет, у знакомых.

— У знакомых купили?

Крутаев закашлялся. Кашлял долго. На лбу у него надулись синие жилы. Толстый лоб побагровел. Глаза заслезились, покраснели. У Срубова руки на мраморном пресс-папье. В голове — поднять, размахнуться и полковнику в висок. Тот наконец прокашлялся.

— Помилуйте, товарищ Срубов, у прислуги купил. Ровно за двести рублей.

Бросил на стол две сторублевки. Крутаев взял и подал руку. Срубов показал глазами на стену: «РУКОПОЖАТИЯ ОТМЕНЕНЫ».

Крутаев опять слащаво растянул губы. Расшаркался в низком поклоне. Стоптанными галошами, прилипая к полу, зашмыгал к двери. А Срубову все хотелось запустить ему в сгорбленную спину пресс-папье.

В раскрытую дверь из коридора шум разговора и топот — чекисты шли в столовую обедать.

Вечером было заседание комячейки. Мудыня и Боже, полупьяные, сидели, бессмысленно улыбались. Соломин, только что вернувшийся с обыска, сосредоточенно тер под носом, слушал внимательно. Ян Пепел сидел с обычной маской серого безразличия на лице. Ежедневно хитря, обманывая и боясь быть обманутым, он научился убирать с лица малейшее отражение своих переживаний, мыслей. Срубов курил трубку, скучал. Докладчик — политработник из батальона ВЧК, безусый парень, говорил о программе РКП в жилищном вопросе.

Рядом в читальне беспартийные красноармейцы из батальона ВЧК играют в шашки, шелестят газетами, курят. А переводчица Губчека Ванда Клембровская играет на пианино. Красноармейцы прислушиваются, качают головами.

— Не поймешь, чего бренчит.

Звуки каплями дождя в стену, в потолок, глухой капелью по лестницам. Срубову кажется, что идет дождь. Дождь пробивает крышу, потолок, тысячами всплесков стучит по полу. Вспомнил Левитана, Чехова, Достоевского. И удивился: почему? И, уже уходя с собрания, понял: Клембровская играла из Скрябина.

Руки прятали дрожь в тонких складках платья. Полуопущенные ресницы закрывали беспокойный блеск глаз. Но не могла скрыть Валентина тяжелого дыхания и лица в холодной пудре испуга.

А на полу раскрыты чемоданы. На кровати выглаженное белье четырехугольными стопочками. Комод разинул пустые ящики. Замки в них ощерились плоскими зубами.

— Андрей, эти ночи, когда ты приходишь домой бледный, с запахом спирта, и на платье у тебя кровь... Нет, это ужасно. Я не могу, — Валентина не справилась с волнением. Голос ломался.

Срубов показал на спящего ребенка:

— Тише.

Сел на подоконник, спиной к свету. На алом золоте стекол размазалась черная тень лохматой головы и угловатых плеч.

— Андрюша... Когда-то такой близкий и понятный... А теперь вечно замкнутый в себе, вечно в маске... Чужой... Андрюша,— сделала движение в сторону мужа. Неуклюже, боком опустилась на кровать. Белую стопку белья свалила на пол. Схватилась за железную спинку. Голову опустила на руки.— Нет, не могу. С тех пор, как ты стал служить в этом ужасном учреждении, я боюсь тебя...

Андрей не отозвался.

— У тебя огромная, прямо неограниченная власть, и ты... Мне стыдно, что я жена...

Не договорила. Андрей быстро вытащил серебряный портсигар. Мундштуком папиросы стукнул о крышку с силой, раздраженно. Закурил.

— Ну, договаривай.

В стенных часах после каждого удара маятника хрипела пружина, точно кто шел по деревянному тротуару, четко стучал каблуками здоровой ноги, а другую, больную, шаркая, подволакивал. Маленький Юрка сопел на своей высокой постельке. Валентина молчала. Стекла в окнах стали серыми с желтым налетом. Комод, кровати, чемоданы и корзины оплыли темными опухолями. По углам нависли мягкие драпри теней, и комната утратила определенность своих линий, расплывчато округлилась. Андрей видел только огненную точку своей папиросы. Другая такая же тыкалась ему в сердце, и сердце, обожженное, болело.

— Молчишь? Ну так я скажу. Тебе стыдно, что разная обывательская сволочинка считает твоего мужа палачом. Да?

Валентина вздрогнула. Голову подняла. Увидела острый красный глаз папиросы. Отвернулась.

Андрей, не потушив, бросил окурок. Глаз закололо маленькой огненной булавкой с полу. Закололо больно, как и у Андрея сердце. Валентина закрыла лицо ладонями.

— Не обыватели только... Коммунисты некоторые...— И с отчаянием, с усилием, еле слышно последний довод: — И мне надоело сидеть с Юркой на одном пайке. Другие умеют, а ты предгубчека и не можешь...

Андрей сапогом тяжело придавил папиросу. Возмутился. Захотелось наговорить грубостей, захотелось унизить, оплевать ее, оплевавшую и унизившую своей близостью. Срубову стало до боли стыдно, что он женат на какой-то ограниченной мещанке, духовно совершенно чуждой ему. Щелкнул выключателем. Чемоданы, вороха вещей случайно сваленных в одну комнату. И сами так же. Потому чужие. Сдержался, промолчал. Стал припоминать первую встречу с Валентиной. Что повлекло его к этой слабенькой некрасивой мещанке? Да, да, она унизила его, оскорбила своей близостью потому, что она выдала себя совсем не за ту, какой была в действительности. Она искусно улавливала его мысли, желания, искусно повторяла их, выдавая за свои. Но разве потому только сходятся с женщиной, что ее убеждения, ее мысли тождественны убеждениям и мыслям того, кто с ней сходится? Пятый год вместе. Какая-то нелепость. Ведь было вот что-то еще, что повлекло к ней? И это что-то есть еще и сейчас, когда она уже решила окончательно уйти от него. Что было это что-то, Срубов не мог объяснить себе.

— Так ты, значит, уезжаешь навсегда?

— Навсегда, Андрей.

И в голосе даже, в выражении лица — твердость. Никогда ранее не замечал.

— Ну что ж, вольному воля. Мир велик. Ты встретила человека, и я встречу...

А самому больно. Отчего больно? Оттого, что уцелело это что-то по отношению к Валентине? Сын. Он общий. Обоим родной. И еще обида. Палач. Не слово — бич. Нестерпимо, жгуче больно от него. Душа нахлестана им в рубцы. Революция обязывает. Да. Революционер должен гордиться, что он выполнил свой долг до конца. Да. Но слово, слово. Вот забиться бы куда-нибудь под кровать, в гардероб. Пусть никто не видит. И самому чтоб — никого.

5

Срубов видел Ее каждый день в лохмотьях двух цветов — красных и серых. И Срубов думал.

Для воспитанных на лживом пафосе буржуазных резолюций — Она красная и в красном. Нет. Одним красным Ее не охарактеризуешь. Огонь восстаний, кровь жертв, призыв к борьбе — красный цвет. Соленый пот рабочих будней, голод, нищета, призыв к труду — серый цвет. Она красно-серая. И наше Красное Знамя — ошибка, неточность, недоговоренность, самообольщение. К нему должна быть пришита серая полоса. Или, может быть, его все надо сделать серым. И на сером красную звезду. Пусть не обманывается никто, не создает себе иллюзий. Меньше иллюзий — меньше ошибок и разочарований. Трезвее, вернее взгляд.

И еще думал:

«Разве не захватано, не затаскано это красное знамя, как затаскано, захватано слово социал-демократ? Разве не поднимали его, не прятались за ним палачи пролетариата и его революции? Разве оно не было над Таврическим и Зимним дворцами, над зданием самарского Комуча? Не под ним разве дралась колчаковская дивизия? А Гайдеман, Вандервельде, Керенский...»

Срубов был бойцом, товарищем и самым обыкновенным человеком с большими черными человечьими глазами. А глазам человечьим надо красного и серого, им нужно красок и света. Иначе затоскуют, потускнеют.

У Срубова каждый день — красное, серое, серое, красное, красно-серое. Разве не серое и красное — обыски — разрытый нафталинный уют сундуков, спугнутая тишина чужих квартир, реквизиции, конфискации, аресты и испуганные перекошенные лица, грязные вереницы арестованных, слезы, просьбы, расстрелы — расколотые черепа, дымящиеся кучки мозгов, кровь. Оттого и ходил в кино, любил балет. Потому через день после ухода жены и сидел в театре на гастролях новой балерины.

В театре ведь не только оркестр, рампа, сцена. Театр — еще и зрители. А когда оркестр запоздал, сцена закрыта, то зрителям нечего делать. И зрители — сотни глаз, десятки биноклей, лорнетов разглядывали Срубова. Куда ни обернется Срубов — блестящие кружочки стекол и глаз, глаз, глаз. От люстры, от биноклей, от лорнетов, от глаз — лучи. Их фокус — Срубов. А по партеру, по ложам, по галерке волнами ветерка еле уловимым шепотом:

— ...Предгубчека... Хозяин губподвала... Губпалач... Красный жандарм... Советский охранник... Первый грабитель...

Нервничает Срубов, бледнеет, вертится на стуле, толкает в рот бороду, жует усы. И глаза его, простые человечьи глаза, которым нужны краски и свет, темнеют, наливаются злобой. И мозг его усталый требует отдыха, напрягается стрелами, мечет мысли.

«Бесплатные зрители советского театра. Советские служащие. Знаю я вас. Наполовину потертые английские френчи с вырванными погонами. Наполовину бывшие барыни в заштопанных платьях и грязных, мятых горжетах. Шушукаетесь. Глазки таращите. Шарахаетесь, как от чумы. Подлые душонки. А доносы друг на друга пишете? С выражением своей лояльнейшей лояльности распинаетесь на целых писчих листах. Гады. Знаю, знаю, есть среди вас и пролезшие в партию коммунистишки. Есть и так называемые социалисты. Многие из вас с восторженным подвыванием пели и поют — месть беспощадная всем супостатам... Мщение и смерть... Бей, губи их, злодеев проклятых. Кровью мы наших врагов обагрим. И, сволочи, сторонятся, сторонитесь чекистов. Чекисты — второй сорт. О подлецы, о лицемеры, подлые белоручки, в книге, в газете теоретически вы не против террора, при-

знаете его необходимость, а чекиста, осуществляющего признанную вами теорию, презираете. Вы скажете — враг обезоружен. Пока он жив — он не обезоружен. Его главное оружие — голова. Это уже доказано не раз. Краснов, юнкера, бывшие у нас в руках и не уничтоженные нами. Вы окружаете ореолом героизма террористов, социалистов-революционеров. Разве Сазонов, Калшев, Балмашев не такие же палачи? Конечно они делали это на фоне красивой декорации с пафосом, в порыве. А у нас это будничное дело, работа. А работы-то вы более всего боитесь. Мы проделываем огромную черновую, черную грязную работу. О, вы не любите чернорабочих черного труда. Вы любите чистоту везде и во всем, вплоть до клозета. А от ассенизатора, чистящего его, вы отвертываетесь с презрением. Вы любите бифштекс с кровью. И мясник для вас ругательное слово. Ведь все вы, от черносотенца до социалиста, оправдываете существование смертной казни. А палача сторонитесь, изображаете его всегда звероподобным Малютой. О палаче вы всегда говорите с отвращением. Но я говорю вам, сволочи, что мы, палачи, имеем право на уважение...»

Но до начала так и не досидел, вскочил, пошел к выходу. Глаза, бинокли, лорнеты с боков, в спину, в лицо. Не заметил, что громко сказал — сволочи. И плюнул.

Домой пришел бледный, с дергающимся лицом. Старуха в черном платье и платке, открывавшая дверь, пытливо-ласково посмотрела в глаза:

— Ты болен, Андрюша?

У Срубова бессильно опущены плечи. Взглянул на мать тяжелым измученным взглядом, глазами, которым не дали красок и света, которые потускнели, затосковали.

— Я устал, мама.

На кровать лег сейчас же. Мать гремела в столовой посудой. Собирала ужин. Но Срубову хотелось только спать.

Видит Срубов во сне огромную машину. Много людей на ней. Главные машинисты на командных местах, наверху, переводят рычаги, крутят колеса, не отрываясь смотрят вдаль. Иногда они перегибаются через перила мостков, машут руками, кричат что-то работающим ниже и все показывают вперед. Нижние грузят топливо, качают воду, бегают с масленками. Все они черные от копоти и худы. И в самом низу, у колес, вертятся блестящие диски-ножи. Около них сослуживцы Срубова — чекисты. Вращаются диски в кровавой массе. Срубов приглядывается — черви. Колоннами ползут на машину, мягкие красные черви, грозят засорить, попортить ее механизм. Ножи их режут, режут. Сырое красное тесто валится под колеса, втаптывается в землю. Чекисты не отходят от ножей. Мясом пахнет около них. Не может только понять Срубов, почему не сырым, а жареным.

И вдруг черви обратились в коров. А головы у них человечьи. Коровы с человечьими головами, как черви,— ползут, ползут. Автоматические диски-ножи не поспевают резать. Чекисты их вручную тычут ножами в затылки. И валится, валится под машину красное тело. У одной коровы глаза синие-синие. Хвост — золотая коса девичья. Лезет по Срубову. Срубов ее между глаз. Нож увяз. Из раны кровью, мясом жареным так и пахнуло в лицо. Срубову душно. Он задыхается.

На столике возле кровати в тарелке две котлеты. Рядом вилка, кусок хлеба и стакан молока. Мать недобудилась, оставила. Срубов проснулся, кричит:

— Мама, мама, зачем ты мне поставила мясо?

Старуха спит, не слышит.

— Мама!

Против постели трюмо. В нем бледное лицо с острым носом. Огромные испуганные глаза. Всклокоченные волосы, борода. Срубову

страшно пошевелиться. Двойник из зеркала следит за ним, повторяет все его движения. И он, как ребенок, зовет:

— Мама, мама.

Спит, не слышит. Тихо в доме. Шаркает больная нога маятника. Хрипят часы. Срубов холодеет, примерзает к постели. Двойник напротив. Безумный взгляд настороже. Он караулит. Срубов хочет снова позвать мать. Нет сил повернуть языком. Голоса нет. Только тот, другой, в зеркале беззвучно шевелит губами.

6

Товарищ Срубова по гимназии, университету и по партийному подполью Исаак Кац, член Коллегии Губчека, подписал смертный приговор отцу Срубова, доктору медицины Павлу Петровичу Срубову, тому самому Павлу Петровичу, московскому чернобородому доктору в золотых очках, который приготовишку гимназистика Каца шутя трепал за рыжие вихры и звал Икой и которого Кац звал Павлом Петровичем.

И перед расстрелом, раздеваясь в сырой духоте подвала, Павел Петрович говорил Кацу:

— Ика, передай Андрею, что я умер без злобы на него и на тебя. Я знаю, что люди способны ослепляться какой-либо идеей настолько, что перестают здраво мыслить, отличать черное от белого. Большевизм — это временное болезненное явление, припадок бешенства, в который впало сейчас большинство русского народа.

Голый чернобородый доктор наклонил набок голову в вороненом серебре волос, снял очки в золотой оправе, отдал коменданту. Потер рука об руку, шагнул к Кацу.

— А теперь, Ика, позволь пожать твою руку.

И Кац не мог не подать руки доктору Срубову, глаза которого были, как всегда, ласковы, голос которого, как всегда, был бархатно мягок.

— Желаю тебе скорейшего выздоровления. Поверь мне как старому доктору, поверь так, как верил гимназистом, когда я лечил тебя от скарлатины, что твоя болезнь, болезнь всего русского народа, безусловно, излечима и со временем исчезнет бесследно и навсегда. Навсегда, ибо в переболевшем организме вырабатывается достаточное количество антивещества. Прощай.

И доктор Срубов, боясь потерять самообладание, отвернулся, торопливо, сгорбившись, пошел к «стенке».

А член Коллегии Губчека Исаак Кац, который был обязан сегодня присутствовать при расстрелах, едва удержался от желания убежать из подвала.

И в ночь расстрела доктора медицины Павла Петровича Срубова член Коллегии Губчека Исаак Кац телеграммой был переведен на ту же должность члена Коллегии Губчека в другой город, в тот, где работал Андрей Срубов. И в первый же день своего приезда Исаак Кац сидел на квартире у Андрея Срубова и пил с Андреем Срубовым кофе. А мать Срубова, бледная старуха с черными глазами, в черном платье и в черном платке, варила кофе, вызывала сына из столовой и в темной прихожей шепотом говорила:

— Андрюша, Ика Кац расстрелял твоего папу, и ты сидишь с ним за одним столом.

Андрей Срубов ладонями рук ласково касался лица матери, шептал:

— Милая моя мамочка, мамунечка, об этом не надо говорить, не надо думать. Дай нам еще по стакану кофе.

И сам не хотел говорить, не хотел думать. Но Ика Кац считал неудобным не говорить и говорил. Говорил, помешивая, позвякивая ло-

жечкой в стакане, внимательно разглядывал свою руку, красноватую, в рыжих волосах, в синих жилах, опуская рыжую кудрявую голову, наклонясь над дымящимся кофе, вдыхая его запах — крепкий, резкий, мешающийся с мягким запахом кипящего молока.

— Никак нельзя было не расстрелять. Старик организовал общество идейной борьбы с большевизмом — ОИБ. Мечтал о таких «оибах» по всей Сибири, хотел объединить в них распыленные силы интеллигенции, настроенной антисоветски. Во время следствия он их звал оибистами...

Говорил, а лица не поднимал от стакана. Срубов слушал, медленно набивал трубку, не смотрел на Каца, чувствуя, что ему не хочется говорить, что говорит он только из вежливости. Срубов убеждал себя, что расстрел отца был необходим, что он как коммунист-революционер должен согласиться с этим безоговорочно, безропотно. А глаза тянуло к руке, красными короткими пальцами сжимавшей стакан с коричневой жидкостью, к руке, подписавшей смертный приговор отцу. И, с улыбкой натянутой, фальшивой, с усилием тяжелым разжимая губы, сказал:

— Знаешь, Ика, когда один простодушный чекист на допросе спросил Колчака, сколько и за что вы расстреляли, Колчак ответил: «Мы с вами, господа, кажется, люди взрослые, давайте поговорим о чем-нибудь более серьезном». Понял?

— Хорошо, не будем говорить.

Срубова передернуло оттого, что Кац так быстро согласился с ним, что на его лице, бритом, красном, мясистом, с крючковатым острым носом, в его глазах, зеленых, выпуклых, было деревянное безразличие. И когда Кац замолчал, стал пить, громко глотая, у Срубова мысли быстро-быстро, одна за другой. Мысли как оправдание. Перед кем? Может быть, перед Ней, может быть, перед самим собою. В глазах Срубова боль и стыд и желание, страстное, непреодолимое — оправдываться. И если нет смелости вслух, то хотя бы про себя, мысленно оправдываться, оправдываться, оправдываться.

«Я знаю твердо, каждый человек, следовательно, и мой отец,— мясо, кости, кровь. Я знаю, труп расстрелянного — мясо, кости, кровь. Но почему страх? Почему я стал бояться ходить в подвал? Почему я таращу глаза на руку Каца? Потому что свобода есть бесстрашие. Потому что быть свободным значит, прежде всего, быть бесстрашным. Потому что я еще не свободен вполне. Но я не виноват. Свобода и власть после столетий рабства — штуки не легкие. Китаянке изуродованные ноги разбинтуй — падать начнет, на четвереньках наползается, пока научится по-человечьи ходить, разовьет свои культяпки. Дерзаний-то, замыслов-то, порывов-то у нее, может быть, океан, а культяпки мешают. Культяпки эти, несомненно, и у Наполеона были, и у Смердякова. И у кого из нас не изуродованные ноги? Учиться, упражняться тут, пожалуй, мало — переродиться надо, кожей другой обрасти».

Кац кончил пить. Не опуская стакана, вслух подумал или сказал Срубову:

— Конечно, что говорить, плакать, философствовать. Каждый из нас, пожалуй, может и хныкать. Но класс в целом неумолим, тверд и жесток. Класс в целом никогда не останавливается над трупом — перешагнет. И если мы с тобой рассиропимся, то и через нас перешагнут.

А в это время в Губчека, в подвале № 3, дрожь коленок, тряска рук, щелканье зубов ста двенадцати человек. И комендант, у которого из-под толстого полушубка красные галифе, у которого розовое бритое лицо и в руках белый лист — список, приказывает ста двенадцати арестованным собираться и выходить с вещами. И дрожь, и тряска, и пересыхание глоток, и слезы, и вздохи, и стоны именно оттого, что приказано выходить с вещами. Сто двенадцать участвовали в восстании против советской власти, захвачены с оружием в руках и знают, что

их всех расстреляют, думают, если выводят с вещами — выводят на расстрел. И вот сто двенадцать в черных, рыжих овчинах, пахучих шубах, полушубках, в пестрых собачьих, оленьих, козловых, телячьих дохах, пиджаках, в лохматых папахах, в длинноухих малахаях, в расшитых унтах, в простых катанках, сложив горой вещи в просторной комендантской, идут из подвала, из сырости, из мрака, от крыс, от колебаемых и сырых полок, от страха, от томления предсмертного, от дней полузабытья, от ночей бессонницы, идут в зрительный зал клуба Губчека и батальона ВЧК по светлым широким мраморным ступеням лестниц, по площадкам, на которых часовые как изваянья, а воздух насыщен электрическим светом, нагрет сухим дыханием калориферов. Длинный, пестрый, стоголовый пахучий зверь с мягким шумом катанок и унтов послушно прополз за комендантом в третий этаж, пестрой шкурой накрыл все стулья зрительного зала.

На красном полотнище занавеса сцены надпись: «ОБМАНУТЫМ КРЕСТЬЯНАМ СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ НЕ МСТИТ».

По складам, с трудом разобрали и с затаенной радостной надеждой вздохнули, зашевелились, зашептали. Но в зеленых гирляндах сосновых веток, по стенам другие надписи, страшные, пугающие, противоречащие: «СМЕРТЬ ВРАГАМ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ», «СМЕРТЬ АНТАНТЕ И ЕЕ СЛУГАМ».

На пестрой шкуре дрожь, от дрожи складки. И шепот громче, взволнованнее.

— Сме-е-ерть... См... сме-сме-рть... сме-сме-смерть...

В зале запах пота, заношенного белья, портянок, кислых овчин, махорки. Комендант приказал открыть форточку. И пестрый лохматый зверь жадно раздул ноздри, захватил полную грудь свежей сырости тающего снега, крепкого хмеля первого холодного пота земли. Беспокойно, с тоской завозился зверь, затрещали, заскрипели стулья. Потянуло здорового, сильного к земле, захотелось впиться в ее черную грудь, припасть к ней большим, потным, мокрым, на работе взмокнувшим телом.

И Срубов и Кац, когда вошли в зал, увидели на лицах, в глазах арестованных крестьян серую тоску, поняли, что от безделья, от подвальной духоты, от тягостного ожидания смерти, что по земле, по работе она. Срубов быстро, упругими широкими шагами вышел на подмостки сцены. Высокий, в черной коже брюк и куртки, чернобородый, черноволосый, с револьвером на боку, на красном фоне занавеса, он стал как отлитый из чугуна. Смело посмотрел в глаза укрощенному, пестрому сильному зверю. Первое слово-обращение сказал с радостью укротителя, уверенного в победе:

— Товарищи...

Негромко, медленно, чуть нараспев. Как погладил по упрямой жесткой шерсти. Вызвал легкую щекочущую дрожь во всей пестрой шкуре. Как укротитель, спокойно открывающий клетку укрощенного зверя, Срубов спокойно объявил:

— Через час вы будете освобождены.

Радостью огненной, сверкающей блеснули сто двенадцать пар глаз. Взволнованно, радостно зарычал пестрый зверь. А из форточки непрерывным потоком хмель тающего снега. Сильнее, шире раздуваются ноздри, кружит головы весенний угар. И Срубов захмелел от хмельного дыхания близкой весны, от хмельной звериной радости ста двенадцати человек. Расперли грудь большие, набухшие радостью огненные клубы слов. Рассыпались солнечным, слепящим дождем искр по пестрой шкуре зверя, щелкая, подпаливая шерсть, забегали колющими красными, синими, зелеными огоньками.

— Товарищи, Революция — не разверстка, не расстрелы, не Чека.

В море огня мелькнула черная обуглившаяся фигура расстрелянного отца и исчезла, сгорела.

— Революция — братство трудящихся.

После концерта, спектакля освобожденный пестрый зверь с довольным ворчанием, с топотом, сотнями ног побежал в раскрытые ворота на улицу.

И радостью, беспричинной, хмельной, звериной радостью жизни опьянели чекисты. И в ту ночь невиданное увидел белый трехэтажный каменный дом с красным флагом, с красной вывеской, с часовыми у ворот и дверей.

Вышли за ворота с хохотом, с громкими криками сотрудники Губчека. Предгубчека мальчишкой забежал вперед, схватил горсть снегу, смял и Ваньке Мудыне в рожу. Ванька захлебнулся смехом, взвизгнул:

— Я вам сейчас, товарищ Срубов, председательскую залеплю.

Мудыню поддержал мрачный Боже. Срубову сразу в спину и шею два белых холодных комка. Срубов в кучу чекистов еще ком, и чекисты, как школьники, выскочившие на большую перемену на улицу, с визгом принялись лупиться снегом. Ком снега — ком смеха. Смех — снег. И радость неподдельная, беспричинная, хмельная, звериная радость жизни.

Срубова облепили, выбелили с головы до ног. Попало в лицо и неприкосновенным лицам — часовым.

Простились, разошлись усталые, с мокротой за воротниками, с мокрыми, покрасневшими горящими руками и щеками.

Срубов на углу пожал руку Каца, посмотрел на него прояснившимися, блестящими черными глазами.

— До свидания, Ика. Все хорошо, Ика. Революция — это жизнь. Да здравствует Революция, Ика.

И дома Срубов с аппетитом поужинал. И, вставая из-за стола, схватил печальную, черную женщину-мать, закружился с ней по комнате. Мать вырывалась, не знала, сердиться ей или смеяться, кричала, задыхаясь от бешеных туров неожиданного вальса:

— Андрей, ты с ума сошел. Пусти, Андрей...

Срубов смеялся:

— Все хорошо, мамочка. Да здравствует Революция, мамочка!

7

Допрашиваемый посредине кабинета. Яркий свет ему в глаза. Сзади него, с боков — мрак. Впереди, лицом к лицу,— Срубов. Допрашиваемый видит только Срубова и двух конвоиров на границе освещаемого куска пола.

Срубов работал с бумагами. На допрашиваемого никакого внимания. Не смотрел даже. А тот волнуется, теребит хилые, едва пробивающиеся усики. Готовится к ответам. Со Срубова не спускает глаз. Ждет, что он сейчас начнет спрашивать. Напрасно. Пять минут — молчание. Десять. Пятнадцать. Закрадывается сомнение, будет ли допрос. Может быть, его вызвали просто для объявления постановления об освобождении? Мысли о свободе легки, радостны.

И вдруг неожиданно:

— Ваше имя, отчество, фамилия?

Спросил и головы не поднял. Будто бы и не он. Все бумаги перекладывает с места на место. Допрашиваемый вздрогнул, ответил. Срубов и не подумал записать. Но все-таки вопрос задан. Допрос начался. Надо говорить ответы.

Пять минут — тишина. И опять:

— Ваше имя, отчество, фамилия?

Допрашиваемый растерялся. Он рассчитывал на другой вопрос. Запнувшись, ответил. Стал успокаивать себя. Ничего нет особенного, если переспросили. Новая пауза.

— Ваше имя, отчество, фамилия?

Это уже удар молота. Допрашиваемый обескуражен. А Срубов делает вид, что ничего не замечает.

И еще пауза. И еще вопрос:

— Ваше имя, отчество, фамилия?

Допрашиваемый обессилен, раскис. Не может собраться с мыслями. Сидит он на табуретке без спинки. От стены далеко. Да и стену не видно. Мрак рыхлый. Ни к чему не прислониться. И этот свет в глаза. Винтовки конвойных. Срубов, наконец, поднимает голову. Давит тяжелым взглядом. Вопросов не задает. Рассказывает, в какой части служил допрашиваемый, где она стояла, какие выполняли задания, кто был командиром. Говорит Срубов уверенно, как по послужному списку читает. Допрашиваемый молчит, головой кивает. Он в руках Срубова.

Нужно подписать протокол. Не читая, дрожащей рукой выводит свою фамилию. И только отдавая длинный лист обратно, осознает страшный смысл случившегося — собственноручно подписал себе смертный приговор. Заключительная фраза протокола дает полное право Коллегии Губчека приговорить к высшей мере наказания.

...участвовал в расстрелах, порках, истязаниях красноармейцев и крестьян, участвовал в поджогах сел и деревень.

Срубов прячет бумагу в портфель. Небрежно бросает:

— Следующего.

А об этом ни слова. Что был он, что нет. Срубов не любит слабых, легко сдающихся. Ему нравились встречи с ловкими, смелыми противниками, с врагом до конца.

Допрашиваемый ломает руки.

— Умоляю, пощадите. Я буду вашим агентом, я выдам вам всех...

Срубов даже не взглянул. И только конвойным еще раз, настойчиво:

— Следующего, следующего.

После допроса этого жидкоусого в душе брезгливая дрожь. Точно мокрицу раздавил.

Следующий капитан-артиллерист. Открытое лицо, прямой, уверенный взгляд расположили. Сразу заговорил.

— Долго у белых служили?

— С самого начала.

— Артиллерист?

— Артиллерист.

— Вы под Ахлабинным не участвовали в бою?

— Как же, был.

— Это ваша батарея возле деревни в лесу стояла?

— Моя.

— Ха-ха-ха-ха!..

Срубов расстегивает френч, нижнюю рубашку. Капитан удивлен. Срубов хохочет, оголяет правое плечо.

— Смотрите, вот вы мне как залепили.

На плече три розовых глубоких рубца. Плечо ссохшееся.

— Я под Ахлабинным ранен шрапнелью. Тогда комиссаром полка был.

Капитан волнуется. Крутит длинные усы. Смотрит в пол. А Срубов ему совсем как старому знакомому:

— Ничего, это в открытом бою.

Долго не допрашивал. В списке разыскиваемых капитана не было. Подписал постановление об освобождении. Расставаясь, обменялись долгими, пристальными, простыми человечьими взглядами.

Остался один, закурил, улыбнулся и на память в карманный блокнот записал фамилию капитана.

А в соседней комнате возня. Заглушенный крик. Срубов прислу-

шался. Крик снова. Кричащий рот — худая бочка. Жмут обручи пальцы. Вода в щели. Между пальцев крик.

Срубов в коридор.

К двери.

ДЕЖУРНЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ.

Заперто.

Застучал, руке больно.

Револьвером.

— Товарищ Иванов, откройте! Взломаю.

Не то выломал, не то Иванов открыл.

Черный турецкий диван. На нем подследственная Новодомская. Белые, голые ноги. Белые клочки кружев. Белое белье. И лицо. Уже обморок.

А Иванов красный, мокро-потный.

И через полчаса арестованный Иванов и Новодомская в кабинете Срубова. У левой стены рядом в креслах. Оба бледные. Глаза большие, черные. У правой на диване, на стульях все ответственные работники. Френчи, гимнастерки защитные, кожаные тужурки, брюки разноцветные. И черные, и красные, и зеленые.

Курили все. За дымом лица серые, мутные.

Срубов посередине за столом. В руке большой карандаш. Говорил и черкал.

— Отчего не изнасиловать, если ее все равно расстреляют? Какой соблазн для рабьей душонки.

Новодомской нехорошо. Холодные кожаные ручки сжала похолодевшими руками.

— Позволено стрелять — позволено и насиловать. Все позволено... И если каждый Иванов?..

Взглянул и направо и налево. Молчали все. Посасывали серые папироски.

— Нет, не все позволено. Позволено то, что позволено.

Сломал карандаш. С силой бросил на стол. Вскочил, выпятил лохматую черную бороду.

— Иначе не революция, а поповщина. Не террор, а пакостничанье.

Опять взял карандаш.

— Революция — это не то, что моя левая нога хочет. Революция...

Черкнул карандашом.

— Во-первых...

И медленно, с расстановкой:

— Ор-га-ни-зо-ван-ность.

Помолчал.

— Во-вторых...

Опять черкнул. И так же:

— Пла-но-мер-ность, в-третьих...

Порвал бумагу.

— Ра-а-счет.

Вышел из-за стола. Ходит по кабинету. Бородой направо, бородой налево. Жмет к стенам. И руками все поднимает с пола и кладет кирпич, другой, целый ряд. Вывел фундамент. Цементом его. Стены, крышу, трубы. Корпус огромного завода.

— Революция — завод механический.

Каждой машине, каждому винтику свое.

А стихия? Стихия — пар, не зажатый в котел, электричество, грозой гуляющее по земле.

Революция начинает свое поступательное движение с момента захвата стихии в железные рамки порядка, целесообразности. Электричество тогда электричество, когда оно в стальной сетке проводов. Пар тогда пар, когда он в котле.

Завод заработал. В нем. Ходит между машинами, тычет пальцами.

— Вот наша. Чем работает? Гневом масс, организованным в целях самозащиты...

Крепкими железными плиточками, одна к одной в головах слушателей мысли Срубова.

Кончил, остановился перед комендантом, сдвинул брови, постоял и совершенно твердо (голос не допускает возражений):

— Сейчас же расстреляйте обоих. Его первого. Пусть она убедится.

Чекисты с шумом сразу встали. Вышли, не оглядываясь, молча. Только Пепел обернулся в дверях и бросил твердо, как Срубов:

— Это есть правильно. Революция — никакой философий.

У Иванова голова на грудь. Раскрылся рот. Всегда ходил прямо, а тут закосолапил. Новодомская чуть вскрикнула. Лицо у нее из алебастра. Ничком на пол, без чувств. Срубов заметил ее рваные высокие теплые галоши (крысы изъели в подвале).

Взглянул на часы, потянулся, подошел к телефону, позвонил:

— Мама, ты? Я иду домой.

За последнее время Срубов стал бояться темноты. К его приходу мать зажгла огонь во всех комнатах.

8

Срубов видел диво — Белый и Красный ткали серую паутину будней.

Его, Срубова, будней.

Белый тянул паутину от учреждения к учреждению, от штаба к штабу, клал узкие, крепкие петли вокруг белого трехэтажного каменного дома, стягивая концы в одно место, за город, в гнилой домишко караульщика губземотдельских огородов. Белый плел паутину ночами, по темным задворкам, по глухим переулкам, прятался от Красного, думал, что Красный не видит, не знает.

Красный вил паутинную сетку параллельно сетке Белого — нить в нить, узел в узел, петлю в петлю, но концы стягивал в другое место — в белый трехэтажный каменный дом. Красный вил и днем и ночью, не прерывал работу ни на минуту. Прятался от Белого, был уверен, что Белый не видит, не знает.

У Белого и у Красного напряженная торопливость работы, у каждого надежда на крепость своей паутины, расчет своей паутиной опутать, порвать паутину другого.

А именно в торопливости, напряженности, настороженности — в близкой путанице паутины своей и чужой — будни Срубова. Не спать неделями или спать, не раздеваясь, на стуле за столом, на столе, в санях, в седле, в автомобиле, в вагоне, на тормозе, есть всухомятку, на ходу, принять, встретить, опросить, проинструктировать десятки агентов, прочесть, написать, подписать сотни бумаг, еле держать голову, еле таскать ноги от усталости — будни. И так вот, не раздеваясь, засыпая за столом в кресле или ложась на час, на два на диван, в непрерывной грязной лавине людей, в белых горах бумаги, в сине-серых облаках табачного дыма Срубов работал восьмые сутки. (Вообще же служба в Чека красно-серое, серо-красное. Красный и Белый, Белый и Красный. И бесконечная путаница паутины — третий год.)

И вот когда все приготовления сделаны, все распоряжения отданы, паутина чужая прочно оплетена паутиной своей, когда сотрудники с ордерами, с мандатами посланы куда следует и сделают все как следует и когда следует, когда в белом трехэтажном доме тихо и пусто (только в нижнем этаже оставлена рота батальона ВЧК), когда в

ночь с восьмого на девятое нужно ждать результатов горячечной работы последней недели, когда до начала облавы, обысков, арестов осталось ровно два часа, когда хочется спать, глаза красны — раскрыть на столе папку черного сафьяна и одним пальцем рыться в стопках бумажных клочков, обрывков, перечитывать клочки, обрывки мыслей, подпирать рукой тяжелую голову, зевать, курить.

Большой лист графленой бумаги.

«Во Франции были гильотина, публичные казни. У нас подвал. Казнь негласная. Публичные казни окружают смерть преступника, даже самого грозного, ореолом мученичества, героизма. Публичные казни агитируют, дают нравственную силу врагу. Публичные казни оставляют родственникам и близким труп, могилу, последние слова, последнюю волю, точную дату смерти. Казненный как бы не уничтожается совсем.

Казнь негласная, в подвале, без всяких внешних эффектов, без объявления приговора, внезапная, действует на врагов подавляюще. Огромная, беспощадная, всевидящая машина неожиданно хватает свои жертвы и перемалывает, как в мясорубке. После казни нет точного дня смерти, нет последних слов, нет трупа, нет даже могилы. Пустота. Враг уничтожен совершенно».

Бланк — председатель Губернской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контр... Далее вырван неровный лоскут. На уцелевшей полоске записано:

«1. В 9 ч. в. свидание с Арутьевым.

2. Спросить завхоза, почему в этом м-це выдали тухлое сало.

3. Завтра общегородское собрание.

4. Юрасику на штанишки и чего-нибудь сладкого».

Подписанный протокол обыска. На чистом конце синим карандашом: «Террор необходимо организовать так, чтобы работа палача-исполнителя почти ничем не отличалась от работы вождя-теоретика. Один сказал — террор необходим, другой нажал кнопку автомата-расстреливателя. Главное, чтобы не видеть крови.

В будущем «просвещенное» человеческое общество будет освобождаться от лишних или преступных членов с помощью газов, кислот, электричества, смертоносных бактерий. Тогда не будет подвалов и «кровожадных» чекистов. Господа ученые с ученым видом совершенно бесстрашно будут погружать живых людей в огромные колбы, реторты и с помощью всевозможных соединений, реакций, перегонок начнут обращать их в ваксу, в вазелин, в смазочное масло.

О, когда эти мудрые химики откроют для блага человечества свои лаборатории, тогда не нужны будут палачи, не будет убийства, войн. Исчезнет и слово «жестокость». Останутся одни только химические реакции и эксперименты...»

Из блокнота:

«1. Сдать в газету приказ о регистрации нарезного оружия.

2. Посоветоваться с Начосо.

3. Мысли о терроре систематически записывать. Когда будет время — написать книгу.

4. Поговорить с профессором Беспалых об электронах».

Обрывок глянцевитой бумаги для черчения. Чертеж автомата-расстреливателя.

На внутренней стороне использованного пакета мелко красными чернилами:

«Наша работа чрезвычайно тяжела. Недаром наше учреждение носит название чрезвычайной комиссии. Бесспорно, и не все чекисты люди чрезвычайные. Однажды высокопоставленный приятель сказал мне, что чекист, расстрелявший пятьдесят контрреволюционеров, достоин быть расстрелянным пятьдесят первым. Очень мило. Выходит, так — мы люди первого сорта, мы теоретически находим террор

необходимым. Хорошо. Примерно получается такая картина — существуют насекомые — вредители хлебных злаков. И есть у них враги — такие же насекомые. Ученые-агрономы напускают вторых на первых. Вторые пожирают первых. Хлебец целиком попадает в руки агрономов. А несчастные истребители больше не нужны и к числу спокойно кушающих белые булочки причислены быть не могут».

Но если голова тяжела, глаза красны и сон свинцом наваливается на плечи, на спину — сложить, закрыть черную папку грудью, лицом, бородой на нее и спать, спать, спать.

А за окнами в синем мраке шмыгающий топот ног, хруст льдинок невидимых лужиц, гул голосов, шорох толпы, гудящие волны идущих к заутрене. На соборной колокольне колокол, самый большой и старый, серо-зеленый от старости, черным железным языком лениво лизал медные серо-зеленые губы, ворчал: «О-о-о-мим-о-о-омим-о-о-омим...»

В кабинете табак, духота, яркий свет электрической люстры и дрожь непрерывная, звонкая дрожь молоточка телефонного звонка. К Срубову в оба уха ползли металлические мухи: «Ж-ж-ж-др-р-р-др-р-р-р-ж-ж-ж...»

Добились своего — разбудили. Голова еще тяжелей, веки слиплись. Горько, сухо во рту. Но мысль сразу верная, ясная — началось.

И началось. Левая рука не отпускает трубку от уха. По телефону донесения, по телефону — распоряжения. На столе карта города. Глаза на ней. Правая рука ставит крестики над захваченными районами, конспиративными квадратами, складами оружия, рвет, сечет короткими косыми черточками тонкую запутанную паутину Белого. У Срубова на губах горькая, ироническая усмешка.

Над городом сырая синь ночи, огни иллюминованных церквей, ликующий пасхальный звон, шуршащие шаги толп, поцелуи, христосование. Христос воскрес! И над городом с горькой усмешкой, со злыми глазами стоит Она — оборванная, полуголодная, властно, тяжело, босой ногой наступает на сусальную радость христосующихся, на белые сладкие пирамидки творога и куличей. Потухли горшки, плошки на церковных карнизах, заглох звон, затих шорох шагов, топот сбежавших, спрятавшихся по домам. Над городом молчание, напряженная тишина, жуть, и в черной синеве весенней ночи синева Ее зорких гневных глаз.

Срубов не усидел в кабинете. Отозвал с облавы Каца, усадил в свое кресло и на автомобиле помчался по городу. Торжествующим ревом с фырканьем, сверкая глазищами фонарей, заметался по улицам сильный стальной зверь. Но Белого не было. Белый забился на задворки, в темные углы, в подполье.

Остался в памяти арест главаря организации — караульщика губземотдельских огородов Ивана Никифоровича Чиркалова, бывшего колчаковского полковника Чудаева. Полковник держался гордо, спокойно. Не утерпел, съязвил:

— Христос воскрес, господин полковник.

И, сажая к себе в автомобиль, добавил:

— Эх, огородник, сажал редьку — вырос хрен.

Чудаев молчал, натягивая на глаза фуражку. Испуганные дамы в нарядных платьях, мужчины в сюртуках, сорочках. Соломин невозмутимо спокойный, шмыгающий носом, разрывающий нафталинный покой сундуков.

— Сказывайте, сколь вас буржуев. Кажинному по шубе оставим. Лишки заберем.

И еще, когда осматривал кучи отобранного оружия, гордо, радостно забилось сердце, крепкая красная сила разлилась по всем мускулам.

Остальное — ночь, день, улицы, улицы, цепочки, цепи патрулей, ветер в ушах, запах бензина, дрожь сиденья автомобиля, хлопанье дверцы, слабость в ногах, шум, тяжесть в голове, резь в глазах, квартиры, комнаты, углы, кровати, люди — бодрствующие, со следами бессонни-

цы на серых лицах, заспанные, удивленные, спящие, испуганные, чекисты, красноармейцы, винтовки, гранаты, револьверы, табак, махорка и серо-красное, красно-серое и Белый, Красный и Красный, Белый. И после ночи, дня и еще ночи нужно было принимать посетителей, родственников арестованных.

Просили все больше об освобождении. Срубов внимателен и равнодушен. Сидит он хотя и в кресле, но на огромной высоте, ему совершенно не видно лиц, фигур посетителей. Двигаются какие-то маленькие черные точки — и все.

Старуха просит за сына, плачет:

— Пожалейте, единственный...

Падает на колени, щеки в слезах, мокрые. Утирается концом головного платка. Срубову кажется ее лицо не больше булавочной головки. Кланяется старуха в ноги. Опускает, поднимает голову — светлеет, темнеет электрический шарик булавки. Звук голоса едва долетел до слуха:

— Единственный.

Но что он может сказать ей? Враг всегда враг — семейный или одинокий — безразлично. И не все ли равно — одной точкой больше или меньше.

Сегодня для Срубова нет людей. Он даже забыл об их существовании. Просьбы не волнуют, не трогают. Отказывать легко.

— Нам нет дела, единственный он у вас или нет. Виноват — расстреляем.

Одна булавочная головка исчезла, другая вылезла.

— Единственный кормилец, муж... пять человек детей.

Старая история. И этой так же.

Семейное положение не принимается в расчет.

Булавка краснеет, бледнеет. Лицо Срубова, неподвижно-каменное, мертвенно-бледное, приводит ее в ужас.

Выходят, выходят черные точки-булавки. Со всеми одинаков Срубов — неумолимо жесток, холоден.

Одна точка придвинулась близко, близко к столу. И когда снова отошла, на столе осталась маленькая темная кучка. Срубов медленно сообразил — взятку сунула. Не спускаясь со своей недостигаемой высоты, бросил в трубку телефона несколько слов-ледышек. Точка почернела от испуга, бестолково залепетала:

— Вы не берете. Другие ваши берут. Случалось...

— Следствие выяснит, кто у вас брал. Расстреляем и бравших и вас.

Были и еще посетители — все такие же точки, булавочные головки. Во все время приема чувствовал себя очень легко — на высоте непомерной. Немного только озяб. От этого, вероятно, каменной белизной покрылось лицо.

Родные, родственники, близкие могли, конечно, униженно просить, дрожать, плакать, стоять в очереди с бедными узелками передач, передавать арестованным сладкие пасхи, сдобные куличи, крашеные яйца — белый трехэтажный каменный дом неумолим, тверд. Жесток, строго справедлив, как часовой механизм и его стрелки.

Родные могли еще приходить со сдобным и сладким, когда арестованные, сфотографированные с меловым номером на груди, уже прошли свой путь из подвала № 3 в тюрьму, из тюрьмы связанными в подвал № 2, из него в № 1 и, следовательно, на кладбище, когда на дворе в помойке дымились черновики их дел, уже сданных в архив (черновики, обрывки, выметенные за день из отделов, в Губчека всегда жглись), когда желтые, жирные, голохвостые крысы огрызали крепкими зубами, острыми красными язычками вылизывали их кровь.

Белый трехэтажный каменный дом с красным флагом, с красной вывеской, с часовыми равнодушно скалил чугунные зубы ворот, высовывал из подворотни красные кровяные языки в белой слюне известки (в теплое время кровь, натекшую с автомобилей, увозящих трупы, всегда присыпали известью). Он не знает горя ни тех, кто работает в нем, ни тех, кого приводят в него, ни тех, кто приходит к нему.

9

На заседании Коллегии окончательно выяснилась такая схема белогвардейской организации:

Группа А — пятнадцать пятерок, активнейшие строевые колчаковские офицеры, главным образом из числа служащих советских учреждений. Ее задача взять партшколу и артсклад. Группа Б — десять пятерок, бывшие офицеры, бывшие торговцы, мелкие предприниматели, лавочники, служащие в солдатах, несколько человек из комсостава Красной Армии. Задача — взять телеграф, телефонную станцию, Губисполком. Группа В — семь пятерок, сброд. Задача — вокзал.

После захвата назначенных пунктов и выделения достаточного количества постов для их охраны соединение всех групп, ставка на переход некоторых красноармейских частей, атака Губчека, бой с войсками, верными советской власти.

Организация, кроме тридцати двух пятерок, имела много сочувствующих, помогающих, исполняющих вторые роли.

На заседании Коллегии Срубов чувствует себя очень хорошо. Он на огромной высоте. А люди — где-то далеко, далеко внизу. И с высоты именно он увидел как на ладони всю хитрую путаницу паутины Белого, разорвал ее. Срубов полон гордого сознания своей силы.

Следователь докладывает:

— ...активный член организации, его задачей...

Слушали все внимательно. В кабинете совершенно тихо. У Каца насморк. Слышно, как он сдержанно сопит. Прерывисто мигает электрическая лампочка.

Следователь кончил. Молчит, смотрит на Срубова. Срубов ему вопрос:

— Ваше заключение?

Следователь трет руку об руку, поводит плечами, ежится:

— Полагаю, высшую меру наказания.

Срубов кивает головой. И ко всем:

— Имеется предложение — расстрелять. Возражения? Вопросы?

Моргунов покраснел, макнул усы в стакан с чаем.

— Ну, конечно.

— Стрельнули, значит?

Срубову весело. Кац, сморкаясь, подтвердил:

— Стрельнули.

— Следующего.

Следователь проводит рукой по черной щетине волос, начинает новый доклад:

— Поставщиком оружия для организации являлся...

— Этого как, товарищи?

Кац опустил голову, полез в карман за носовым платком. Пепел сосредоточенно закурил. Моргунов задумчиво помешивал ложечкой в стакане чай. Казалось, что никто ничего не слышал. Срубов помолчал. Потом громко решительно сказал за всех:

— Принято.

Фамилии, фамилии, фамилии, чины, должности и звания. Один раз Моргунов возразил, стал доказывать:

— По-моему, этот человек не виноват...

Срубов его остановил решительно и злобно:

— Ну, вы, миндаль сахарный, замолчите. Чека есть орудие классовой расправы. Поняли? Если расправы, так, значит,— не суд. Персо-

нальная ответственность для нас имеет значение безусловное, но не такое, как для обычного суда или Ревтрибунала. Для нас важнее всего социальное положение, классовая принадлежность. И только.

Ян Пепел, энергично подняв сжатые кулаки, поддержал Срубова:

— Революция — никакой философий. Расстрелять.

Кац тоже высказался за расстрел и стал усиленно сморкаться.

Срубов на огромной высоте. Страха, жестокости, непозволенного — нет. А разговоры о нравственном и безнравственном, моральном и аморальном — чепуха, предрассудки. Хотя для людишек-булавочек весь этот хлам необходим. Но ему, Срубову, к чему? Ему важно не допустить восстания этих булавочек. Как, каким способом — безразлично.

И одновременно Срубов думает, что это не так. Не все позволено. Есть граница всему. Но как не перейти ее? Как удержаться на ней?

Бледнело лицо. Между бровей складки. Срубов не слушал докладчика-следователя. Думал, как остановиться на предельной точке дозволенного. И где она? На чем-то очень остром стоял одной ногой, другой и руками пытался сохранить равновесие. Удавалось с трудом. И только, кажется, уже к концу заседания обеими ногами стал устойчиво, твердо Очень обрадовался, нашел способ удержаться на предельной черте Все зависит, оказывается, от остроконечной, трехгранной пирамидки. Ее, конечно, присутствие и обнаружил у себя в мозгу. Она железной твердости и чистоты. Ее состав — исключительно критикующие и контролирующие электроны. Улыбаясь, погладил себя по голове. Волосы прижал поплотнее к черепу, чтобы не выскочила драгоценная пирамидка. Успокоился.

Под протоколом подписался первым. Четко, крупными кольцами с нажимом подписал «Срубо», от «о» протянул тонкую ниточку и прикрепил ее к концу толстой длинной палки, заменившей букву «в». Вся подпись — кусок перекрученной деревянной стружки, нацепленной на кол. Члены коллегии на секунду замешкались. Каждый ждал, что кто-нибудь другой первый возьмет перо.

Ян Пепел решительно схватил ручку Срубова. Против слова «Члены» быстро нацарапал — «Ян Пепел».

Срубов мрачно сдвинул брови. От белого листа протокола в лицо холод снежной ямы. Живому неприятно у могилы. Она чужая. Но она под ногами. Между фамилией последнего приговоренного и подписью Срубова — один сантиметр. Сантиметром выше — и он в числе смертников. Срубов даже подумал, что машинистка при переписке может ошибиться, поставить его в ряд с теми.

А когда собрались расходиться, внимание привлек стриженый затылок Каца. Невольно пошутил:

— Какой у тебя, Ика, шикарный офицерский затылок — крутой, широкий. Не промахнешься.

Кац побледнел, нахмурился. Срубову неловко. Не глядя друг на друга, не простившись, вышли в коридор.

10

Последний лист бумаги (последние вспышки гаснущего рассудка), положенный Срубовым в черную папку, был мятый, неровно оторванный, с кривыми узловатыми синими жилами строк.

«Если расстреливать всю Чиркаловскую — Чулаевскую организацию пятерками в подвале, потребовалось бы много времени. Чтобы ускорить, вывел больше половины за город. Сразу всех раздели, поставили на краю канавы-могилы. Боже просил разрешения разграфить (зарубить шашками) — отказали. Стреляли сразу десять человек из револьверов в затылки. Некоторые приговоренные от страха садились на край канавы, свешивали в нее ноги. Некоторые плакали, молились,

просили пощадить, пытались бежать. Картина обычная. Но кругом была конная цепь. Кавалеристы не выпустили ни одного — порубили. Крутаев выл, требовал меня — «Позовите товарища Срубова! Имею ценные показания. Приостановите расстрел. Я еще пригожусь вам. Я идейный коммунист». И когда я подошел к нему, он не узнал меня, бессмысленно таращил глаза, ревел — «Позовите товарища Срубова!» Все-таки пришлось расстрелять его. Обнаружилось у него уж слишком кровавое прошлое, надоели заявления на него, да к тому же все, что мог дать нам, он дал.

Но все же меня поразило, привело в восторг большинство этих людей. Видимо, Революция выучила даже умирать с достоинством. Помню, еще мальчишкой я читал, как в японскую войну казаки заставили хунхузов рыть могилы, сажали их на край и поочередно, поодиночке отрубали им головы. Меня восхищало это восточное спокойствие, невозмутимость, с которыми ожидали смертельного удара. И теперь я прямо залюбовался, когда освещенная луной длинная шеренга голых людей застыла в совершенном безмолвии и спокойствии, как неживая, как ряд гипсовых алебастровых статуй. Особенно твердо держались женщины. И надо сказать, что, как правило, женщины умирают лучше мужчин.

Из ямы кто-то закричал: «Товарищи, добейте!» Соломин спрыгнул в яму на трупы, долго ходил по ним, переворачивал, добивал. Стрелять было все-таки плохо. Ночь была хотя и лунная, но облачная.

Когда луна осветила окровавленные лица расстрелянных, лица трупов, я почему-то подумал о своей смерти. Умерли они — умрешь и ты. Закон земли жесток, прост — родись, роди, умирай. И я подумал о человеке — неужели он, сверлящий глазами телескопов эфир вселенной, рвущий границы земли, роющийся в пыли веков, читающий иероглифы, жадно хватающийся за настоящее, дерзко метнувшийся в будущее, он, завоевавший землю, воду, воздух, неужели он никогда не будет бессмертен? Жить, работать, любить, ненавидеть, страдать, учиться, накопить массу опыта, знаний и потом стать зловонной падалью... Нелепость...

Возвращались мы с восходом солнца. Проходя к автомобилю, я наступил ногой на муравейник. Десятки муравьев впились мне в сапоги. Я ехал и думал: козявка и та вступает в смертельный бой за право жить, есть, родить. Козявка козявке грызет горло. А мы вот философствуем, нагромоздили разных отвлеченных теорий и мучаемся. Пепел говорит: «Революция — никакой философий». А я без «философий» ни шагу. Неужели это только так и есть... родись, роди, умри?»

11

Потом была койка в клиниках для нервнобольных. Был двухмесячный отпуск. Было смещение с должности предгубчека. Была тоска по ребенку. Был длительный запой. Многое было за несколько месяцев.

И вот теперь этот допрос. Срубов худой, желтый, под глазами синие дуги. Кожаный костюм надет прямо на кости. Тела, мускулов нет. Дыхание прерывистое, хриплое.

А допрашивает Кац. Лицо у него — круглый чайник. Нос — дудочка острая, опущенная вниз. Хочется встать и с силой ткнуть большим пальцем в ненавистную дудочку, заткнуть ее. И ведь сидит, начальство из себя разыгрывает за его же столом. Ручку белую слоновой кости схватил красной лапой, в чернилах всю вымазал. А допрос — пытка. Да хотя бы уж допрашивал. Куда там — лекцию читает: авторитет партии, престиж Чека. И все дудочкой кверху, кверху, как в самое сердце сует ее, ковыряет.

Рвет Срубов бороду. Зубы стискивает. Глазами огненными, неиа-

видящим Каца хватает. По жилам обида кислотой серной. Жжет, вертит. Не выдержал. Вскочил и бородой на него:

— Понял ты, дрянь, что я кровью служил Революции, я все ей отдал, и теперь лимон выжатый. И мне нужен сок. Понял, сок алкоголя, если крови не стало.

На мгновенье Кац, следователь, предгубчека, обратился в прежнего Ику. Посмотрел на Срубова ласковыми большими глазами.

— Андрей, зачем ты сердишься? Я знаю, ты хорошо служил Ей. Но ведь ты не выдержал?

И оттого, что Кац боролся с Икой, оттого, что это было, больно, с болью сморщившись, сказал:

— Ну, поставь себя на мое место. Ну, скажи, что я должен делать, когда ты стал позорить Ее, ронять Ее достоинство?

Срубов махнул рукой — и по кабинету. Кости хрустят в коленях. Громко шуршали кожаные штаны. На Каца не смотрит. Стоит ли обращать внимание на это ничтожество? Перед ним встала Она — любовница великая и жадная. Ей отдал лучшие годы жизни. Больше — жизнь целиком. Все взяла — душу, кровь и силы. И нищего, обобранного отшвырнула. Ей, ненасытной, нравятся только молодые, здоровые, полнокровные. Лимон выжатый не нужен более. Объедки в мусорную яму. Сколько позади Ее на пройденном пути валяется таких, выпитых, обессилевших, никому не нужных. Видит Срубов ясно Ее, жестокую и светлую. Проклятия, горечь разочарования комком жгучим в лицо Ей хочет бросить. Но руки опускаются. Бессилен язык. Видит Срубов, что Она сама — нищая, в крови и лохмотьях. Она бедна, потому и жестокая.

Но инвалид, объедок еще жив и жить хочет. А мусорщик с метлой уже пришел. Вон сидит — дудочка кверху. Нет, он не хочет в яму. Его решили уничтожить. Не удастся. Он сумеет скрыться. Не найдут. Жить, жить... Пусть остается на столе фуражка. С хитрой ядовитой улыбкой к Кацу:

— Гражданин предгубчека, я еще не арестован? Разрешите мне выйти в клозет?

И в дверь. И по коридору почти бегом. А Кац, ставший опять Кацем, предгубчека, краснеет от стыда за минутную слабость. С силой крутит ручку телефона, справляется у начальника тюрьмы, есть ли свободная одиночка. Закуривает, ждет Срубова, твердо, спокойно подписывает постановление об его аресте.

Но Срубов уже на улице. На тротуарах людно и тесно. По середине дороги длинные костлявые ноги разбрасывал широко. Руками махал. Волосы на ветру торчком в разные стороны. Любопытные останавливались и показывали пальцами. Ничего не видел. Помнил только, что надо бежать. Несколько раз сворачивал за углы. Названия улиц, номера домов не играли роли. Важно было только скрыться. Задыхался, падал, вставал и снова дальше. Хлопали, открывались какие-то двери. Росла надежда, что побег удастся. Не догонят...

И вдруг неожиданно, как несчастье, черная непроницаемая стена загородила дорогу. А за спиной двойник. Он, оказывается, гнался все время следом. Не оглядывался — не видел. Теперь он доволен — догнал. Вон ртом хватает воздух, как рыба, и рожу кривит.

Срубов не понимал, что он у себя на квартире стоит перед трюмо.

Страха перед двойником не было на этот раз. Моментально решил его уничтожить. Топор от печки сам прыгнул в руки. Со всего размаха двойника по лицу. Насквозь — от правого глаза к мочке левого уха. А он, дурак, в последнюю секунду еще засмеялся, захохотал. Так с хохотом и рассыпался на полу сверкающими кусками.

Один враг уничтожен. Теперь стена. Напрасно воображают поставить его к ней. Расстрелять его никому не удастся. Он обманет всех. Пусть думают, что он раздевается, а он ее топором. Прорубит и убежит.

Сзади в дверях бледное испуганное лицо матери.

— Андрюша, Андрюша.

Осыпалась штукатурка. Желтый бок бревна. Щепки летят. Еще и еще сильнее. Топор соскочил с топорища. Черт с ним. Зубы-то на что. Зубами, когтями прогрызет, процарапает и убежит.

— Андрей Павлович, Андрей Павлович, что вы делаете?

Кто это тянет его за плечи. Надо посмотреть. Может быть, двойник опять поднялся с полу. Не насмерть его, значит, убил. Срубов пристально смотрит в глаза маленькому коренастому черноусому человеку. Ага, квартирант Сорокин. Обывателишка, в собесе служит. Надо держать себя с достоинством, подальше от этой дряни. Гордо поднял голову:

— Прошу, во-первых, не фамильярничать, не прикасаться ко мне грязными ручишками. Во-вторых, запомните, я коммунист и христианских имен, разных Андреев блаженных и Василиев первозванных или как там... Ну да, не признаю. Если вам угодно обращаться ко мне, то пожалуйста — мое имя Лимон...

Отчего-то сразу устал. Голова кружится. Сил нет. Угорел, что ли? Проехаться бы на автомобиле за город. Пожалуй, надо попросить этого обывателишку. Оказывается, согласен, даже рад. И мать тоже тут, улыбается, головой кивает.

— Прокатись, Андрюша, прокатись, родной.

В прихожей разрешил надеть на себя пальто. На голову самое легкое кепи. Чем легче, тем лучше. В дверях обернулся. Мать что-то плачет. Вся дрожит, трясется.

— Мама, не забудь сегодня Юрику на завтрак котлетку...

Ничего не ответила, плачет. Автомобиль двигался почему-то не бензином, а конной тягой. Да и тащила его какая-то заморенная клячонка. Ну, все равно. Главное, чтобы сидеть. И Сорокин ничего, можно даже поговорить с ним.

— Сорокин, вы знаете, я ведь с механического завода. Рабочий. Двадцать четыре часа в сутки.

Все-таки сидеть трудно. Может быть, можно лечь? Надо спросить.

— Сорокин, кровать далеко? Я смертельно устал.

Ну и тип этот Сорокин. Чурбан с глазами. Молчит. Плохой кавалер — за талию сгреб, как медведь.

Из-за угла люди с оркестром, с развернутым красным знаменем. Оркестр молчит. Резкий, четкий стук ног.

В глазах Срубова красное знамя расплывается красным туманом. Стук ног — стук топоров на плотах (он никогда не забудет его). Срубову кажется, что он снова плывет по кровавой реке. Только не на плоту он. Он оторвался и щепкой одинокой качается на волнах. А плоты мимо, обгоняют его. Вдоль берегов многоэтажные корабли. Смешно немного Срубову, что сотни едущих, работающих на них с плотными красными лицами, с надувшимися напряженными жилами поднимают к небу длинные, длинные карандаши труб, чертят дымом каракульки на небесной голубой бумаге. Совсем дети. Те ведь всегда в тетрадках каракульки выводят.

Туман зловонный над рекой. Нависли крутые каменные берега. Русалка с синими глазами, покачиваясь, плывет навстречу. На золотистых волосах у нее красная коралловая диадема. Ведьма лохматая, полногрудая, широкозадая с ней рядом. Леший толстый в черной шерсти по воде, как по земле, идет. Из воды руки, ноги, головы почерневшие, полуразложившиеся, как коряги, как пни, волосы женщины перепленись, как водоросли. Срубов бледнеет, глаза не закрываются от ужаса. Хочет кричать — язык примерз к зубам.

А плоты все мимо, мимо... Вереницей многоэтажные корабли.

Оркестр поравнялся с пролеткой Срубова. Загремел. Срубов схва-

тился руками за голову. Для него ни стук ног, ни бой барабанов, ни рев труб — земля затряслась, загрохотал, низвергаясь, вулкан, ослепила огненная кровавая лава, посыпался на голову, на мозг черный горячий пепел. И вот, сгибаясь под тяжестью жгучей черной массы, наваливающейся на спину, на плечи, на голову, закрывая руками мозг от черных ожогов, Срубов все же видит, что вытекающая из огнедышащего кратера узкая, кроваво-мутная у истоков река к середине делается все шире, светлей, чище и в устье разливается сверкающим простором, разливается в безбрежный солнечный океан.

Плоты мимо, мимо корабли. Срубов собирает последние силы, стряхивает с плеч черную тяжесть, кидается к ближнему многоэтажному великану. Но гладки, скользки борта. Не за что уцепиться. Срубов соскочил с пролетки, упал на мостовой, машет руками, хочет плыть, хочет кричать и только хрипит:

— Я... я... я...

А на спине, на плечах, на голове, на мозгу черный пепел жгучей черной горой давит, жжет, жжет, давит.

И в тот же день.

Красноармейцы батальона ВЧК играли в клубе в шашки, играли, щелкали орехи, слушали, как Ванда Клембровская играла на пианино «непонятное».

Ефим Соломин на митинге говорил с высокого ящика:

— Товарищи, наша партия Рэ-Ка-Пы, наши учителя Маркса и Ленина — пшеница отборна, сортирована. Мы коммунисты — ничё себе сродна пшеничка. Ну, беспартийные — охвостье, мякина. Беспартийный — он понимает, чё куда? Никогды. По яво, убивцы и Чека, мол, одно убивство. По яво, и Ванька убиват, Митька убиват. А рази он понимат, что ни Ванька, ни Митька, а мир, не убивство, а казнь — дела мирская...

А Ее с битого стекла заговоров, со стрихнина саботажа рвало кровью, и пухло Ее брюхо (по-библейски — чрево) от материнства, от голода. И, израненная, окровавленная своей и вражьей кровью (разве не Ее кровь — Срубов, Кац, Боже, Мудыня), оборванная, в серо-красных лохмотьях, во вшивой грубой рубахе, крепко стояла Она босыми ногами на великой равнине, смотрела на мир зоркими гневными глазами.

Указом Президиума Верховного Совета СССР члену редколлегии, постоянному автору нашего журнала **Виктору Петровичу АСТАФЬЕВУ** присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Редакционная коллегия журнала «Наш современник» горячо поздравляет **Виктора АСТАФЬЕВА** с высокой наградой и желает ему новых творческих успехов на благо нашей любимой Родины.

Борис ОЛЕЙНИК

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОИНСТВО И ДОСТОЯНИЕ

НАЦИОНАЛЬНОЕ достоинство, если, конечно, это не просто кичливая фраза, а изначальная суть его, — равнозначно национальному самосознанию и самоуважению. А поскольку личное достоинство оплачивается достоянием народа, материальным и духовным, накопленным в тяжком многотрудье всеми поколениями, то право представлять нацию имеет лишь тот, кто внес и свою лепту в сокровищницу, наработанную всем обществом.

На протяжении десятилетий официальная пропаганда, опорочив благородный лозунг интернационализма «слиянием», вдалбливала в наши головы и души, что чуть ли не главная, конечная цель «светлого будущего» — сведение многообразия к чему-то сверхъединому. А коль это, по утверждению культовских идеологов, — конечная цель Революции, то малейший интерес к национальному аттестовался уже не просто как эмоциональное отклонение, а как прямая контрреволюция.

До поры до времени эта «концепция» была таинством, в которое посвящался лишь узкий круг верхнего этажа власти. Для нижнего же (читай — для массового потребления) иезуитски был брошен лозунг «расцвета наций». Так родилась двойная бухгалтерия, двойная мораль. Таким образом, верхний этаж, по существу, провоцировал непосвященных, наивно поверивших в лозунг «расцвета», раскрываться в своей любви к родному я... щедро пополнять материал для «двоек» и «троек».

Трагическая ирония судьбы: кирпичи из разгромленной «тюрьмы народов» оказались превосходным материалом для строительства... ГУЛАГа.

Казалось, что XX съезд, разоблачив культ, поставил все на свои места. Но не тут-то было: команда Брежнева, приостановив декультизацию, начала исподволь реанимировать прошлое, а следовательно, и «двойную бухгалтерию» в национальном вопросе. И снова наивно попавшие на блесну «расцвета наций» загремели этапом.

Эти беды в принципе универсальны для всех братских республик. И в то же время в судьбе каждой из них есть специфические черты. Есть таковые и на Украине. И если мы хотим найти самые оптимальные решения национальных проблем, то обязаны учитывать и «историю вопроса».

Природа одарила наш край всем, чего душа желает: рахманный, плодовитый чернозем, вся таблица Менделеева, живописные луга, горы, дубравы, леса, долины, реки во главе с Днепром — Славутичем. Словом, рай подлунный с умеренно континентальным климатом.

Все это богатство манило соседей, далеких и близких, то под девизом «од можа до можа», то под тевтонским «Lebensraum», то под зеленым флагом приобщения гяуров к истинной вере.

Работящий, талантливый и добросердечный народ, которому, казалось, сам бог велел одаривать мир золотой пшеницей, радовать себя и соседей непревзойденными песнями, — даже за плугом вынужден был ходить опоясанный мечом. А поскольку набеги чужаков следовали без передышек, то уже ополчениями сражаться с хорошо отлаженными регулярными армиями стало бессмысленно. Инстинкт самозащиты породил небывалый в истории тип регулярной армии, своеобразного гвардейского корпуса — Запорожскую Сечь.

Это были мужественные и талантливые воины. Подбор в Запорожскую Сечь производился элитарно: там были люди, виртуозно владеющие всеми видами оружия, до конца верные побратимству, преданные своей земле и народу. Возглавляемые военачальниками нередко с университетским европейским образованием, они покрыли себя всемирной славой и еще при жизни вошли в легенды. Но элитарные по подбору, они никогда не были замкнутой кастой — корнями Запорожья питала вся Украина.

Зажатая врагами со всех сторон, попавшая в водоворот мусульманской и католической стихий, Украина видела единственное спасение в единении с русскими братьями. По вере, по кровному родству и воссоединилась Украина с Россией под хоругвями Богдана Хмельницкого. Этот акт сотворен был на федеративной основе, закрепляя за Украиной все права полной автономии, вплоть до прямых выходов на международные дипломатические связи.

Но имперская, аннексионистская политика царского двора исподволь подпиливала корни самостоятельности Украины, постепенно низводя ее до провинциальной окраины Великороссии. Особенно в этом смысле «постарался» Петр I. Но самый жестокий и коварный удар нанесла Екатерина II, ликвидировав узловой плацдарм самостоятельности — Запорожскую Сечь.

Конечно же, омалороссивание совершалось не только лобовыми атаками. Использовались и «ласковые приемы» подкупа казацкой старшины графскими званиями, вельможными дарениями поместий с закрепощенными вчерашними вольными казаками и прочими приманками.

Но народ, вкусивший сладость воли, не склонил головы. Память о героическом прошлом питала корни его свободолюбия, время от времени вырывавшегося пламенем восстаний и гражданского неповиновения.

А посему весь идеологический аппарат был брошен на то, чтобы лишить украинцев прежде всего родовой памяти. Шовинистическая пропаганда пыталась укоренить в сознании современников, что Украина — это всего лишь часть «единой неделимой», а мова ее — просто испорченное наречие русского языка. Тонко играя на низменных чувствах обывателя, она повсеместно внедряла мысль о том, что, только преобразуясь в истинно русского, малоросс может достичь успехов и в карьере, и в творчестве, и в деле воинском, и в приобретении житейских благ.

Естественно, это в значительной мере расщепляло национальное самосознание. В значительной — но все же не в полной. Время шло, а этих «хохлов-сепаристов» не убывало. Раздражительность по сему поводу царского двора иногда доходила до той черты, когда он, уже отбросив камуфляж благодетеля народов, полицейски-жандармским образом просто «запрещал нацию». Вряд ли найдется в мира народ, которому державными указами предписывалось не общаться... на родном языке. А вот Украина на своем счету имеет Валуевский и Эмский указы, коими украинский язык просто-напросто возбранялся.

Но и эти акции, вкупе с весьма разветвленной системой доносительства, не смогли убить памяти. В самые застойные времена крепостничества, когда, по Шевченко, «на всих язиках все мовчить», украинцы говорили на своей мове. И не только селяне, а и та немногочисленная интеллигенция, которая и под «всевидящим оком» держалась своего корня. Более того, Котляревский, Квитка-Основьяненко, Гребинка и другие не только общались, но и писали на родном языке.

Надо признать, что и цензура иногда сквозь пальцы взирала на это: пусть, мол, потешатся, не такой уж великий грех побаловаться неперспективным наречием перед его полным исчезновением. Но в чем трагически для себя ошиблись апологеты шовинизма, — так это в том, что они не учли такого уникального явления, как украинская песня и дума. Если бы украинцу запретили писать и говорить не только на родном, но и на всех языках мира, он все же не забыл бы мовы, ибо она была закодирована уже в самих генах песен и дум, число коих я доныне не установлено: то ли 200, то ли все 500 тысяч!

Именно из этой неопалимой купины — песен и думы — вырос Тарас Шевченко, поэт, художник и философ планетарной величины, взявший на свои плечи, казалось бы, немыслимую для одной личности миссию, — отстоять и право на существование своего народа как равного среди равных в мировом сообществе, и его национальное достоинство, соразмерное своей героической истории.

Стражи короны чувствовали в лице Кобзаря особую опасность для престола, пытаясь то тюрьмой, то солдатчиной укоротить ему век. Но, ослепленные идеей незыблемости империи, они все же «проморгали» Тараса.

К чести истинных сынов России, именно они — в частности Чернышевский — первыми, еще при жизни Шевченко, провидчески прозрели историческую роль Поэта: «Когда у поляков явился Мицкевич, они перестали нуждаться в снисходительных отзывах каких-нибудь французских или немецких критиков: не признать польскую литературу значило бы тогда обнаружить собственную дикость. Имея теперь такого поэта, как Шевченко, малорусская литература также не нуждается ни в чьей благосклонности».

ПРИ ЖИЗНИ ЛЕНИНА, и еще некоторое время после его кончины, идея социального и национального освобождения в их органическом единстве исповедовалась не только в теории, но и на практике. За эти несколько лет, при всей разрухе, интервенции, голоде и холоде, народы в своем национальном осознании, в развитии родной культуры содеяли больше, чем за любое предшествующее столетие.

Яркое подтверждение сего — Украина. Освобожденная энергия нации буквально вспыхнула целым букетом талантов мирового масштаба как в литературе и искусстве, так и в науке. Причастившись исторических первоистоков, к коим ранее доступ был криминально воспрещен, народ впервые реально осознал себя равным среди равных. Оказалось, что и язык украинский, который шовинисты, чужие и родные, уничижали как наречие, якобы пригодное лишь для общения в быту или на пастбище, прекрасно служит не только литературе, но и науке во всех ее ипостасях.

К несчастью, этот период благоприятствования был слишком коротким. Культовская клика начисто извратила ленинскую национальную политику. Причем под благородным лозунгом пролетарского интернационализма. «Вождь» как бы возвращал нас к истинному — в его понимании — марксизму, в основание которого заложена доминанта классовой борьбы. А поскольку интересы рабочего класса, невзирая на этнические различия, едины, то национальное, мол, только мешает исполнению его главной миссии в мировом масштабе.

Поэтому, начиная с тридцатых, одним из главных обвинений против всех «врагов народа», наряду со «сговором с империализмом», стало уличение их в национализме. Поскольку же Украина была второй по значимости республикой, ей первой пришлось испытать всю жестокость сталинщины.

Самый невинный интерес к родной истории, языку, такой естественный в нормальном обществе, квалифицировали как лукавое прикрытие главной стратегической задачи украинских буржуазных националистов — отделения от Союза «с целью разрушить СССР». А так как компромата явно не хватало, поелику петлюровцы и махновцы были или расстреляны, или посажены на неопределенные сроки, или раскаялись, или и вовсе бежали за кордон, сталинская охранка прибегает к подлой, кощунственной фальшивке — мистифицирует так называемую СВУ (Спілка визволення України).

Ныне уже доподлинно известно, что таковой не существовало в природе.

Тем более трагично, что это «несуществующее» послужило первым сигналом к массовому истреблению живых, реальных людей. После этого коса смерти по Украине пошла гулять почти три десятилетия без передыха. От СВУ до голода 33-го, унесшего миллионы жизней; от голода, по нарастающей, до 37-го. А потом — война...

Не успели мы отпраздновать великую Победу, как уже буквально на второй день начались посадки. Опять же, за исключением разве что «космополитов», почти сплошную — под грифом «украинского буржуазного национализма».

Наконец пробил благовест исторического (говорю это не в дежурной интонации!) XX съезда нашей партии, на котором Хрущев мужественно вскрыл апокалипсические злодеяния культа. На весь мир прозвучала клятва в том, что подобного никогда не повторится.

После тридцатилетнего тотального прессинга, когда уже только за пользование родным языком тебя заносили в списки соответствующих ведомств по меньшей мере как потенциального националиста, от Украины, казалось бы, осталось лишь одно название. Но просчитались украинофобы. Буквально за несколько лет оттепели только, скажем, литература наша явила миру целое созвездие талантов, многие из которых сделали бы честь любой цивилизованной нации. Да и чудом оставшиеся в живых писатели старшего поколения, обретя второе творческое дыхание, подарили читателю немало непреходящих духовных ценностей. Подобный ренессанс наблюдался и в исторической науке, и в народоведении, да буквально во всех сферах духовной жизни.

Но, опять же, было недолгим счастье... Оправившись от первоначального шока, соратники «вождя» сначала в обход, а со временем и напрямик начали реставрацию сталинской модели, и прежде всего — в национальном вопросе. Снова был вытащен лозунг «слияния наций» как основополагающий принцип. И снова малейший интерес к родной истории, языку стал квалифицироваться как отступничество от «идеи», проще говоря — как национализм.

И снова представители уже нового поколения, не успевшие даже опериться, загремели этапом в края далекие.

Вот с каким грузом пришел украинский народ к апрельскому (1985 г.) Пленуму ЦК КПСС, провозгласившему эпоху гласности, коренной демократизации и верховенство Закона.

ПОЖАЛУЙ, сколько мы себя помним как этнос и нацию, Украина впервые получила такие неограниченные, реальные возможности для полной реализации своей извечной цели — быть равной среди равных и в семье братских народов, и в сообществе всех народов мира.

Отдавая должное тому, что перестройка началась с верхов, мы в то же время твердо скажем, что идею обновления выстрадали и приближали все поколения — от легендарных запорожцев до зеков ГУЛАГа, загнанных туда только за то, что они любили Украину.

Это не слова. Это правда, освященная именами Котляревского и Шевченко, Леси Украинки и Франко, историков Костомарова и Яворницкого, ленинцев Скрыпника и Хвылёвого, Николы Кулиша и Александра Довженко, Сосюры и Яновского, Павло Тычины и Рыльского.

Итак, пробил час, при наивысшем благоприятствовании, засучив рукава, наконец реализовать выстраданное предшественниками. И начинать надо было с разрешения языковой проблемы. Это естественно, ибо язык — один из главных определяющих самой сути нации, а ему, откровенно говоря, была отведена роль литературно-этнографическая, роль «национального утешения» для писателей, краеведов, учителей украинского языка, да и то преимущественно в сельских и райместечковых школах, поскольку в крупных городах таковых осталось всего лишь для декора, а в некоторых — и вовсе не осталось. В науке, в вузах, техникумах, ПТУ, в дошкольных учреждениях, в партийных, советских и других серьезных инстанциях, в театрах, в кино, на радио и телевидении, в рекламной индустрии, в объявлениях, в названиях улиц и делопроизводстве украинский язык был оттеснен на второй, если не на третий план.

Разрешение языковой проблемы органически сочеталось с ликвидацией белых пятен или, скорее, черных дыр в нашей истории и культуре, с возвращением из забвения безвинно репрессированных писателей, политических деятелей, ученых, мастеров искусства, среди которых сияют звезды мировой величины.

Естественной составной сюда входило и сохранение среды обитания, защита ее от нашествия центральных ведомств, которые безнаказанно, игнорируя волю народа, внедряли АЭС, химические монстры, все-

возможные каналы, где им вздумается. А поскольку свои «кукушкины дары» ведомства, как правило, подбрасывали в обжитые веками, очеловеченные культурно-исторические центры, как-то: Киев, Чигирин, Канев, Запорожье с его легендарной Хортицей, поскольку все эти мины не такого уж и замедленного действия подсовывались не только под национальные святыни, но и под всю республику, борьба против новоявленных, промышленных колонизаторов выходила на первый план. И вправду — еще один-два Чернобыля (не доведи, господи!), и уже не с кем будет сражаться ни за язык, ни за культуру вообще.

ВОТ ПЕРЕД КАКИМ пакетом проблем, взаимосвязанных и взаимозависимых, очутилась республика на пороге перестройки, которая провозгласила: пусть народ берет в свои руки все проблемы, в частности и национальную, и решает их, исходя из своего исторического опыта и конструктивных замыслов на грядущее, не забывая, конечно же, об интересах многонациональной державы.

Казалось бы, при таком благоприятствовании, да еще из Центра, беря и выводи, скажем, свой родной украинский язык на достойный его государственный уровень во всех без исключения структурах общества.

Но то, что на митингах, в дискуссиях, за круглыми и квадратными столами, в схватках на страницах газет и журналов, в кулуарных и коридорных баталиях казалось проще простого, — на практике оказалось весьма и весьма непростым. Уже хотя бы потому, что надо было переходить от слов к делу. К той черновой, терпеливой, подчас изнурительной работе, которая признает слово, лишь оплаченное делом.

Оказалось, что и практики у нас мало, да и не все спешат засучить рукава. Одни — поскольку привыкли только ставить задачи другим. Другие, зараженные идеей «слияния», упорно держались за старое и, где могли, сдерживали процесс национального возрождения. Третьи, забывшие, чьих отцов они дети, смотрели на все это обывательским, враждебно-пустым взглядом, точку зрения которых наиболее «ярко» выразил один шахтер из Донбасса, заметивший, что если бы знание украинского языка прибавило нам хлеба, то мы бы его все изучили.

Я был непосредственным свидетелем взрыва возмущения, сдетонированного этим «юмором». Но положа руку на сердце спросим себя: а разве это вина, а не беда шахтера? Неужели мы настолько наивны, чтобы не учитывать исторического опыта? Неужели кто-то полагал, что многовековая практика вытеснения украинского языка на околицы духовной жизни, низведения его до бытового говорка, планомерная квалификация его как неперспективного даст иные результаты? Если даже старшина, отрабатывая сословные пожалования от короны, в угоду ей изменила своему казацкому первородству; более того, если сама интеллигенция во имя иерархического продвижения отказывалась от родной речи, то что уж говорить о мещанстве, которое во все времена исповедовало и исповедует

принцип «своей сорочки»! А сталинское облучение страхом получить за любовь к Украине лагерь или пулю... Разве все это не вело к перерождению и духовной ткани?

Не надо ханжески закрывать глаза и на то, что в процессе «сталинской селекции» подбор кадров на руководящие посты осуществлялся как по степени их «беспредельной преданности вождю всех времен и народов», так и — в не меньшей мере — идее «слияния». В результате этого жестокого отбора сформировалась пластмассово-бескорневая прослойка, достоинство которой считалось тем выше, чем яростнее она затаптывала свою родовую память. Стало даже правилом бонтона в этой среде не только оплевывать родное, но и выкрещиваться из своей в другую нацию, дабы преуспеть в карьере. И преуспевали!

Конечно, к моменту горбачевского Пленума этот слой, потрепанный хрущевской оттепелью, уже был далеко не в прежней своей силе, но и не настолько ослаблен, чтобы сдаться без боя.

Взять хотя бы такой пример. Все здравомыслящие люди пришли к однозначному выводу: украинский язык очутился в том положении, когда уже без государственной защиты ему будет весьма и весьма трудно занять надлежащее место в духовных структурах общества. Требования были самые элементарные: придать языку коренной нации статус государственного, обусловив такую же державную защиту языкам всех национальностей на территории Украины.

Казалось бы, сие настолько же естественно, как дышать воздухом. Но оказалось, не для всех. Авторам идеи государственности приписывались самые тяжкие грехи, причем делалось это почти в сталинской интонации. Тут и ссылки на Ленина (причем цитаты усекались на выгодном месте), и обвинения в «самостийности», ведущей к подрыву многонациональной державы, и артистически имитированный страх перед «насильственной украинизацией».

Это сопротивление в какой-то мере ослабилось лишь к началу 1988 года, когда под давлением общественности идея государственного статуса языка вошла сначала в дискуссионный обиход, а затем и в проекты документов. Ныне уже, по представлению двух Постоянных комиссий Верховного Совета республики, создана Рабочая группа из числа правоведов, представителей общественных структур для разработки Закона о языке, который надлежит утвердить на сессии Верховного Совета УССР.

КОНЕЧНО, все это происходит не в той динамике, в которой бы хотелось. Но мы должны сознавать, что тормозная система — прерогатива не только верхов, а и того упомянутого выше пластмассово-бескорневого слоя, который и поныне втайне лелеет надежду, что перестройка — это всего лишь эпизод, что все уляжется и нынешние радетели «корневого» получат свой привычный ярлык «националист». Паче того, определенная часть так называемого простого народа и сегодня еще по инерции считает, что к высотам благополучия их и чадо их подымет только русский язык, пусть и исковерканный ими же до неузнаваемости.

И вот о чем надлежит ежечасно помнить: на Украине, как и в других республиках, живет солидное число представителей других национальностей. Некоторые из них не на шутку встревожились: не ущемит ли государственный статус коренного их национальные интересы?

Выше уже говорилось, что эти тревоги напрасны, поскольку Закон о языке предполагает конституционные гарантии развития всех национальностей, живущих на Украине. Но поскольку подобные страхи — результат не одного дня, а целых столетий, нам доведется терпеливо налаживать просвещение по части культуры межнациональных взаимообщений, которая у нас, скажем прямо, чуть выше нулевой отметки. Доведется вразумительно объяснять людям некоренной национальности, пустившим уже вековые корни в украинской земле, но так и не удосужившимся изучить ее язык, что сие по меньшей мере признак неполного присутствия внутренней культуры, а по самой большой — оскорбительное пренебрежение к земле и народу, который по-братски принял их в свое лоно.

В этом убеждаешься ежедневно. На встрече с трудящимися одной из донецких шахт, объясняя ненормальное положение с украинским языком, я спросил: «Допускаете ли вы, чтобы, скажем, в России или во Франции встал вопрос, какой язык выбирать для своего ребенка в школе?» И тут случился эксцесс, на первый взгляд, незначительный, однако говорящий о весьма значительном. Одна из присутствующих бросилась к трибуне и, задыхаясь от гнева, воскликнула: «Да как же вы могли?! Как вы могли... сравнивать Украину с Россией, а тем более с Францией?!»

Улавливаете, как глубоко и прочно засел в сознании многих людей стереотип Украины еще царской чеканки — как окраины Великороссии? И это — на семьдесят втором году Советской власти!

Я всегда стоял на том, что настоящему русскому органически омерзителен шовинизм. Более того, считал и считаю, что наиболее оголтелыми великодержавниками были как раз «патриоты» не русского происхождения. (К примеру, считающийся эталоном украинофобства Шульгин — не кто иной, как «наш» единокровный помещик с Волыни.) А посему на всех доступных мне уровнях решительно протестовал и буду протестовать против пришивания оскорбительного ярлыка «шовинист» человеку только за то, что он любит Россию. Ибо это естественное, природой дарованное чувство — любить родных, отца-матерь!

Но коль уж мы взялись развязать сложный национальный узел по-ленински, то с ленинской прямотой обязаны сказать, что, в силу сложившихся объективных обстоятельств, русский народ очутился в двусмысленном положении. К своему счастью, не испытавшие национального угнетения некоторые из его представителей не всегда сознают, как глубоко и больно ранит любое, даже с доброжелательным юмором сказанное что-то неосторожное по адресу народа, который был когда-либо притесняем.

От природы подельчивый, широкий душой, не пожалеющий последней сорочки для своего побратима любой нации, неисчерпаемо талантливый и милосердный, русский человек по праву снискал себе глубокое, восхищенное уважение всего мира. Но вот если я завожу речь, скажем, о плачевном состоянии украинского языка, некоторые русские, даже из кругов московской интеллигенции, вполне искренне, без какой-либо задней мысли недоумевают: да стоит ли, мол, так побиваться! Подумаешь, большая проблема — русский или украинский, — ведь мы же славяне, разберемся по-братски.

Этот непроизвольный, подсознательный, своеобразный «державизм» — тоже ведь не вина, а беда, издержки той же деформации ленинских принципов и нашего общего бескультурья в межнациональных отношениях.

Вот типичный пример. В опубликованном в прошлом году рассказе из наследия прекрасного русского писателя Владимира Тендрякова есть такая фраза: «Улыбающийся добродушно Хрущев — в легком пиджаке, в вышитой украинской рубашке, стянутой у шеи цветным шнурком, прозванной в обиходе «антисемиткой» (выделено мной.— Б. О.).

Сказано этакой добродушной скороговоркой, походя, с веселым подмигиванием. Ну, а если «не походя», а хотя бы на минутку приостановиться и подумать: кто же дал право писателю, да еще советскому, так брутально оскорбить национальное достоинство сразу двух народов? Причем одному из них приписать даже не просто, а уже «обиходный» антисемитизм? Народу, на земле которого еще со времен Киевской Руси живут и трудятся евреи, делящие с украинцами по-братски и радость, и горе? К слову, я впервые услышал подобную аттестацию украинской вышиванки.

Уверен, что Тендряков это сказал действительно походя, без какого-либо подвоха, но мне-то от этого не легче. Как не легче и русскому человеку, которого тот же русский писатель в том же рассказе двумя абзацами выше так же походя огрел: «Да, сам по себе Хрущев был безрасчетно, ужасно глуп, глуп с русским размахом» (выделено мной.— Б. О.).

В национальном вопросе нет мелочей. И любое, пусть даже вскользь брошенное, с легкой усмешечкой или без таковой, — «бандеровец», «власовец», «жид» или «чучмек» — ранит не только личность, а весь народ, который оная представляет. И, отстаивая родной язык, мы должны отстаивать его прежде всего как язык дружбы и взаимного уважения, а не как полублатное «арго».

Но разве не парадокс! Великий народ сам-то оказался наиболее ущемленным в национальном аспекте, не имеющим ни своей Компартии, ни Академии, а также некоторых других институций и образований, призванных решать специфические национальные проблемы, которых у русского по крайней мере не меньше, чем у любого братского народа, уже давно обретшего упомянутое выше. Более того, Россия, вынесшая вместе с Белоруссией и Украиной

основные тяготы Великой Отечественной, даже не представлена в ООН!

Словом, мы пока еще даже не на середине, а в начале длительного марафона в решении национальных проблем. А в марафоне, в отличие от спринта, надо научиться «терпеть» на дистанции. Терпеливо, совместно нарабатывать культуру межнациональных отношений, подавлять раздражение, пропагандировать образцы истинного интернационализма, проще говоря — идти к Ленину.

А учиться нам есть у кого. Первой академией дружбы была Киевская Русь — родовое гнездо трех братских народов. Отсеченные друг от друга монголо-татарами, да и другими завоевателями, мы ни на миг не забывали о своем общем первородстве. И Переяслав-Хмельницкий, где осуществилось Воссоединение — это ведь не случайный эпизод, а исторически обусловленное следствие извечного стремления друг к другу. И даже имперская политика царского двора, наигранная по модели «разделяй и властвуй», не смогла нас ожесточить друг против друга.

Уже первые годы перестройки, расшнуровавшей нас от официозной регламентации, снявшей надзор над патриотическими инициативами, родили качественно новые образцы национальных взаимоотношений.

Интересный русский писатель, уроженец России, Сергей Сокуров, живущий во Львове, не только досконально изучил украинский язык, но и создал Общество русскоязычных львовян по содействию развитии украинского языка.

Член президиума правления Украинского фонда культуры, митрополит Винницкий и Брацлавский Агафангел (в миру — Савин Алексей Михайлович), тоже коренной русский, сам по доброй воле овладел украинским языком и учит паству свою не терять национального достоинства, не чураться родных первоистоков. Стоит ли объяснять, как это важно в смысле интернационального воспитания.

Особенно перспективной мне видится деятельность Советского фонда культуры — и прежде всего по части выработки культуры национальных взаимоотношений. Так, при Украинском фонде уже созданы Общества культуры еврейского и тюркоязычных народов, при Львовском отделении Фонда — русского, польского, еврейского и армянского, на Донетчине — греческого, при Крымском — татарского.

Значительным событием стало учреждение республиканского Общества украинского языка имени Тараса Шевченко.

Это уже — воистину народные инициативы, идущие с низов. А как наши «верхи»?

ПРИ ВСЕХ ИЗДЕРЖКАХ надо отдать должное и ЦК Компартии Украины, и правительству республики, которые разработали целый комплекс мер по интернациональному и патриотическому воспитанию, по благоприятствованию украинскому языку во всех без исключения сферах материальной и духовной жизни общества. Это не те очередные «меры», о которых на другой день забывали. Они уже реализуются на практике. Жаль только, что об этом не всегда своевременно и убедительно информируется общественность. В связи с чем подчас на митингах выдвигаются требования, которые уже осуществляются.

Но нередко создается впечатление, что некоторые или не читают, или не хотят читать прессу. Между тем во всех газетах, в том числе в «Правде Украины» (5.01. 1989 г.), было опубликовано постановление «О ходе выполнения постановления ЦК Компартии Украины «О мерах по реализации в республике установок XXVII съезда партии, январского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС в области национальных отношений, усилению интернационального и патриотического воспитания населения». В нем черным по белому значится, что создаются условия для «активного функционирования украинского языка во всех сферах общественно-политической и культурной жизни. В Верховном Совете УССР разрабатываются законопроекты о правовых гарантиях и порядке применения украинского, русского, других языков, которыми пользуется население республики». Что только за последние два года открыто с украинским языком обучения и воспитания свыше 200 школ и 130 детских садов. Что расширяется дублирование фильмов на украинском языке. Что в школах и вузах открыто свыше 450 факультативов по изучению болгарского, венгерского, польского, новогреческого, крымско-татарского и гагаузского языков; изданы крымско-татарско-русский, болгарско-украинский и чешско-украинский словари; открыто радиовещание на болгарском в трех районах Одесщины, на новогреческом — в шести районах Донетчины. Что уже регулярно ведутся передачи на молдавском и венгерском языках на Буковине и в Закарпатье. Что начата подготовка к выпуску газетного издания на крымско-татарском языке.

Много это или мало? Конечно же, очень мало. Но это ведь признает и сам ЦК. В постановлении резко осуждается медлительность в расширении сети детских садов с украинским языком обучения и воспитания, в частности на Ворошиловградщине, где таковых всего 13 процентов, в в Крыму их и вовсе нет. Указывается, что в Ворошиловграде, Днепропетровске, Донецке, Запорожье, Николаеве, Сумах, Харькове так и не удосужились открыть ни единой новой украинской школы. Я бы сюда подверстал и Киев, ибо нынешнее количество школ на родном языке тут абсолютно не соответствует статусу города, являющегося столицей Украины.

ЦК Компартии республики признает, что неправомерно затягивается увеличение учебных курсов, читаемых на украинском языке в вузах, что «не налажена работа по подготовке учебников по специальным дисциплинам для техникумов и вузов на украинском языке... не созданы надлежащие условия для овладения украинским языком всеми гражданами, постоянно проживающими в республике». Наконец указано на важнейший просчет: в институтах Секции общественных наук АН УССР «еще не приобрело приоритетного значения целостное изучение украинской культуры..., культур других народов республики» (выделено мной. — Б. О.).

Вселяет уверенность в исправлении этих и других просчетов прежде всего то, что в постановлении конкретно определены конструктивные пути решения национальных проблем. В частности, настоятельно рекомендуется уже с нынешнего года вести занятия по украинскому языку в детских садах, а со следующего — уроки украинского с первых классов в русских школах. Особенно важна установка, требующая введения в профессионально-технических училищах и техникумах преподавания ряда предметов на украинском языке, а также возобновления изучения украинского языка и литературы на подготовительных отделениях вузов. А рекомендация начать изучение курсов истории и географии Украины как самостоятельных дисциплин, а перевод курса информатики на украинский и в этой связи разработка соответствующих учебников и программ для электронно-вычислительных машин? А осуществление мер по кадровому обеспечению преподавания украинского языка, а работа по упорядочению языкового статуса театров, расширению экранизации национальной классики, созданию и дублированию фильмов на украинском языке? Разве эти и другие конкретные целенаправленные инициативы, в которых учтено немало предложений и Союза писателей, и Украинского фонда культуры, и Общества украинского языка имени Тараса Шевченко и многих неформальных объединений, стоящих на конструктивных позициях, — разве это не свидетельствует о том, что, только работая на встречных курсах, мы достигнем желаемых результатов?

НЕ ВСЕ ИДЕТ на той скорости, которой хотелось бы, но и сознаю, что в деликатной сфере межнациональных отношений, дабы в очередной раз не наломать дров, как нигде, кстати золотое правило «поспешай медленно». Однако и медлить ведь нельзя, ибо любое приторможение используется лукавыми людьми для всевозможных спекуляций.

Вот, скажем, проблема с предоставлением украинскому языку статуса государственного. Сделано немало. Создана, как отмечалось выше, Рабочая группа. Уже разрабатывается план по сформулированию соответствующих конституционных уточнений и Закона о языке. Об этом информировалась общественность республики.

Но в последние месяцы создался своеобразный пробел в информации. Я понимаю: требуется определенное время, чтобы правозаконники изучили не только отечественные аналоги, но и практику зарубежных стран, дабы выработать самый оптимальный вариант Закона. Так почему же об этом не сообщить общественности хотя бы сухим, телеграфным стилем? Если, скажем, для меня и моих коллег по Постоянным комиссиям эта пауза понятна, то у непосвященных — а их, естественно, подавляющее большинство — подобный люфт-зазор вызывает естественную тревогу, рождает всяческие слухи, вплоть до того, что, мол, некие силы пытаются втихомолку похоронить саму проблему.

Это затишье, да и другие подобные приторможения тонко используют не только внешние, но и наши «родные недруги» для своих истерически-громогласных требований.

Образовался уму непостижимый альянс, соединивший и честных людей, выстрадавших перестройку, и подстроившихся к ним аутсайдеров общества, которые во все времена пытались, за неимением таланта, обратить на себя внимание хотя бы скандалом. Особенно же поражает то, что к ним присоединились и истовые брежневцы, которые вчера еще пели осанну «верному продолжателю», давили инакомыслящих, доносили на тех же «националистов», с коими они ныне... радеют за перестройку. И уж самое отвратительное, что среди них видишь немало бывших партийных работников (в том числе из аппарата ЦК), еще пару лет назад прорабатывавших нас за «узкий патриотизм», а теперь, поди ж ты, все тем же хорошо поставленным баском рекущих о «неньке», от которой, не будь перестройки, они оставили бы только название.

Шутки в сторону! Ибо крикуны и спекулянты, на первых порах присосавшись к настоящим борцам за перестройку, ныне отодвигают их — и небезуспешно — на околицу и, будем откровенны, даже перехватывают инициативу.

Странная получилась картина. Казалось бы, именно для тех, кто боролся, страдал и пострадал за обновление, — настал звездный час. Для таких, как Олесь Гончар, более двух десятилетий назад своим романом «Собор» тоже начавший перестройку и едва не угодивший за решетку. Для таких, как Лина Костенко, Иван Дзюба, Микола Винграновский, Иван Чендей, Дмитро Павлычко, Иван Драч, Роман Иванычук (этот ряд, к счастью, значительно длиннее). По законам социальной справедливости именно они, они и их сподвижники в первую очередь имеют моральное право на почет и уважение. Но не тут-то было! Упомянутые «подстройщики», расталкивая их, энергично выдвигают своих лидеров — из числа тех, кто еще вчера скороговоркой назывался в «утешительных» списках перед традиционным «и другие». Как раз эти — из «утешительных» и из «других» — ныне и пытаются править бал.

Конечно же, время отсеет зерна от плевел и отделит агнцев от козлищ. Но коль скоро мы будем полагаться только на время, можем дорого поплатиться.

Еще Достоевский предупреждал приверженцев абсолютного равенства о том, что они забывают о натуре человека. Ибо уже само понятие «индивидуум» как раз и обозначает индивидуальное, неповторимое. Не только приобретенное, но и заложенное самой природой. Ведь при равных обстоятельствах, в равной степени воздействующих на всех, у одного, скажем, идеальный слух, а другому медведь на ухо наступил. Словом, кроме сформированного обстоятельствами, есть и нечто данное изначально.

Конечно же, правила поведения, элементарная этика, правовые законы и законы предков, а также другие, по Тургеневу, «моральные якоря» удерживают нас на плаву жизни в вертикальном положении, не давая на первый же зов атавистических похотей стать на четвереньки. Но этот

наработанный тысячелетиями гумус цивилизованности слишком тонок. И если в спокойные времена эволюционного развития он более-менее уравнивает сограждан разного характера и унаследованных различий универсальным homo sapiens, то при первых же резких толчках в общественно-политической жизни упомянутая корка дает трещины, из которых вырываются гейзеры темных инстинктов, доселе подавляемые морально-этическими нормами. И первым дает о себе знать хватательный рефлекс, который в доисторические, еще не знавшие морали времена помог выжить человеку как биовиду. А уже за ним — и подсознательные позывы зависти, «воли к власти» и прочая.

Казалось бы, наша наука, хоть и весьма подуставшая под тяжестью всевозможных регламентаций, все-таки могла бы предположить, что такие революционные сдвиги, как перестройка, подвинут на поверхность не только здоровые, конструктивные силы, но и верткнх спекулянтов, и карьеристов, и просто неудачников, озлобленных на всех и вся. А поскольку эти категории никогда не страдали комплексом совестливости и моральности, то, естественно, на первых порах именно они могут перехватить инициативу, ибо честный человек просто теряется перед откровенной наглостью.

К сожалению, философы и психологи даже приблизительно не смоделировали обстановки, перед которой мы ныне растерянно очутились, когда на трибуны, поочередно сменяя друг друга, рванулись люди нечистые на руку. Рванулись в таком режиме и плотности, что здравомыслящему, ответственно-конструктивному человеку бывает просто физически невозможно протиснуться к кафедре гласности. А ведь ее-то, по благим намерениям перестройки, предполагалось предоставлять всем на равных условиях. Чистейшей воды идеализм, хоть и расфасованный в новейшую перестроечную тару!

Эти недочеты, умноженные на медлительность верхов, особенно в решении национальных вопросов, чреваты непредвиденными последствиями. Они открывают людям, у которых нет ничего за душой, кроме истерической фразы, неограниченное пространство для спекуляций. Прежде всего — под флагом атаки на старую бюрократию низвергать всех и вся, и в первую очередь людей стоящих, ибо они создают для горлохватов тот невыгодный фон, на котором особенно контрастно видна вся их несостоятельность.

Но это — куда ни шло. Люди, раньше или позже, в конце концов разберутся: кто есть кто. Главная же опасность, которую взращивает медлительность в развязывании национальных узлов, состоит вот в чем: людям, которым нечего терять (кроме цепей общественной морали, мешающих распоясаться вволю), ничего не стоит экстремистской фразой выманить честных, но наивных, прежде всего молодых людей, на очередную «сенатскую площадь». Выманить и при первой же опасности смыться, оставив спровоцированную массу лицом к лицу с Законом. А поскольку мы сначала разрешили демонстрации и митинги, а потом уже только начали наспех формулировать, причем не всегда удачно, регламенты, то уже имеем и трагические исходы.

Тяжелейший из них — грузинская трагедия. И первопричина ее кроется опять же в нашей вульгарно-социологической уравниловке, в нашем лысенковском «заматерелом материализме», не учитывающем ни исторического опыта, ни законов предков, ни национального характера — в данном случае грузинского народа.

Надо ли быть уж таким глубоким знатоком истории Сакартвело, чтобы не знать, в каких сражениях и с какими могущественными врагами этот малый количеством, но великий своим мужеством и благородством народ отстоял не только национальное достоинство, но и право на самое существование себя как народа?! Надо ли быть таким уж глубоким психологом и философом, чтобы определить и специфические черты характера этого доброго, щедрого и горячего народа?

Да не прозвучит это кощунством, но матерям, братьям и сестрам убиенных было бы легче перенести безысходное горе, если бы это горе не утяжелилось недоверием. Более глубокой раны народу, превыше всего ценящему верность побратимству, не раз доказавшему ее собственной кровью и на поле Бородинском, и на бранных полях Великой Отечественной, — более тяжкого оскорбления грузину, чем оскорбление недоверием, да еще в «образе» танков — вряд ли найти!

И если уж мы твердо решили развязывать все без исключения узлы в национальном вопросе, то первейшей предпосылкой успеха этой многотрудной работы может стать только полное доверие народа к народу, и в не меньшей степени — вера, по вертикали и горизонтали, в мудрость каждого народа.

О том же, что нашим народам можно и нужно доверять безраздельно, свидетельствуют не только будни и праздники, но и трагедии, в частности армянская и чернобыльская, когда не по команде, а по естественному движению сердца все народы нашей многонациональной страны бросились на помощь пострадавшим братьям. Я уже не говорю о грузинском народе, который нашел в себе мужество стоически перенести страшную беду, не унизившись до мести.

НАДО ВЕРИТЬ И ДОВЕРЯТЬ. Скажем, украинцы, как и белорусы, очутившись в особом положении по части родного языка, не единожды подвергали сомнению право выбора родителями языка обучения для своих детей. В идеале — это непреложное, международное право, одна из основополагающих составных свобод личности. Ну а если учесть тот факт, что во многих городах Украины и Белоруссии школы на родном языке почти или вовсе отсутствуют? Из чего же, простите, выбирать? Наверное, в подобных — особых! — случаях, наравне с правом личности, стоит не забывать и о праве нации на самозащиту.

В последнее время в республике появились слухи, что, мол, конвентируется предложение придать статус государственного двум языкам — украинскому и русскому. В известной мере эти слухи подогреваются и телепередачами о национальных взаимоотношениях (в частности о языке), где проскальзывают подобные намеки.

Я считаю, что прежде всего на Украине и в Белоруссии, в силу известных объективных причин, эта модель была бы отступлением от первоначального замысла и, опять же, оскорблением недоверием. Ведь придание статуса государственного языку коренной нации в условиях Украины и Белоруссии — это прежде всего государственная защита наших певучих мов, которые — будем откровенны! — очутились на грани низведения их к бытовому говорку в селе, на подмостках некоторых театров да еще отчасти в сфере творческих союзов. Неужели кто-то мог усомниться в искренности утверждения, что на таком же государственном уровне будет обеспечено свободное развитие языков всех народностей, проживающих на Украине, и, естественно, русского языка как испытанного инструмента межнациональных отношений? Зачем же оскорблять недоверием, скажем, украинцев и белоруссов, для которых русский язык стал вторым после родного? И, в конце концов, спрашивал ли кто-нибудь, а хотят ли русские, чтобы их прекрасный язык навязывался в качестве государственного в других республиках? Уверен, что истинный русский воспринял бы это тоже как оскорбление недоверием его могучего языка, который вот уже на протяжении многих десятилетий добровольно используется народами нашей страны как надежный мост межнационального единения.

...Что и говорить, сложные узлы завязала нам жизнь, да и мы сами себе. Но развязывать их надо немедля, причем «на миру», при полной гласности и информированности.

В этой связи я позволю себе заметить, что не всегда мы доподлинно знаем, как идет подготовка к будущему Пленуму ЦК КПСС. Уверен, что к такому важному, возможно, историческому событию партия готовится с надлежащей основательностью. Тогда почему же, хотя бы в стиле хроники, но постоянно не информировать общественность о происходящем? Ибо нечистые на руку опять же используют любую люфт-паузу для взвинчивания, прежде всего молодежи, подметными слушками о том, что-де вся эта «втайне» готовящаяся акция, по существу, ничего не изменит.

Причастные и к нелегкой многолетней работе по самой постановке языковой проблемы, и к уже деловой реализации ее, мы, конечно же, знаем, что позитивные, существенные, кардинальные изменения грядут. Но надо, чтобы об этой работе в полной мере знал каждый гражданин страны.

ТОЛЬКО ВСЕМ ОБЩЕСТВОМ, не суетясь, но и не медля, реально решая назревшие проблемы, мы «разденем догола» спекулянтов и выставим их в чем мать родила перед общественностью. Только реальные дела и истинный, а не искусственно созданный групповой «талант» отделит работных людей перестройки от прилепившихся к ним пустышек.

Не жонглерам фразы, а людям дела верит народ. А посему я безраздельно верю Олесю Гончару, ибо он отдал всю энергию своего мощного таланта во имя высокой цели — видеть Украину в полном расцвете, исполненной национального достоинства, воистину равной среди равных в нашем Союзе, уважаемой всем миром.

Я с глубоким уважением отношусь к Лине Костенко, Ивану Дзюбе, Миколе Винграновскому, которые в самые серые времена застоя, пренебрегая опасными рифами, подчас грозящими жизненными катастрофами, отстаивали и родную историю, и язык наш прекрасный. С таким же искренним почтением отношусь к многотрудной, подвижнической работе прекрасного поэта Дмитра Павлычко, который не только ратовал за создание Общества украинского языка имени Тараса Шевченко, но и проделал всю черновую работу по его организации и учреждению. Достойна всяческого уважения динамическая деятельность Ростислава Братуня, отстоявшего от различных «наклеек» благородные начинания неформальных молодежных объединений (в частности, благодаря им молодые львовяне, объединившиеся в «Общество Льва», стали активными сподвижниками Украинского фонда культуры). По праву высокий авторитет твердого борца против засилья атомщиков, за сохранение окружающей среды снискал себе серьезный ученый, известный писатель Юрий Щербак. И, конечно же, склоняюсь перед стойкостью талантливого романиста Юрия Мушкетика, который в силу своего, особенно по нынешним временам, неблагодарного положения «писательского начальника» принял на себя немалое количество ударов и не поколебался в становых принципах.

Эти и другие, пусть и не названные, но не менее сто́ящие люди определяют реальное к а ч е с т в о перестройки. Именно они начали ее еще задолго до апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС, возвестившего об обновлении общества, поистине выстрадали гласность и демократизацию. Именно их и равным им, невзирая на иногда чрезмерную эмоциональность и отдельные тактические «огрехи», призвана поддержать Партия и все имеющиеся средства информации. Поддержать в противовес тем, кто вынырнул откуда-то из середине дистанции и, не имея на то оснований, пытается пожать не сеянное ими. Да, такие были, есть и пребудут во все времена. И тут ничего исключительного, кроме одного: посредственность ныне упорно лезет вверх и, как это ни удивительно, порою берет этот верх, «вымывая» людей стоящих.

Слишком многотрудно, с невосполнимыми потерями в своих рядах пробивалась партия к идее обновления, чтобы, выстрадав перестройку, отдать инициативу тем, кому ничего не стоит ради удовлетворения личных и корпоративных амбиций подрезать ее на корню. А поэтому самым неотразимым ударом по спекулянтам будут ее опережающие инициативы во всех жизненно важных сферах.

Уверен, что единодушную поддержку общественности встретили бы, скажем, предложения от ЦК Компартии Украины и

правительства республнки открыть постоинные представительства или консульства УССР в тех зарубежных странах, где компактно живут украинцы. Этот вопрос уже давно назрел, и позитивное решение его еще выше подняло бы не только авторитет республики, но и всего Советского Союза.

Не менее важным фактором для консолидации общественности в борьбе за перестройку стало бы возведение Канева в город прямого республиканского подчинения, с выделением целевых средств для развития всей его инфраструктуры, объявление и самого города, и окраин его Национальным парком, куда бы не ступала нога ни единого промузла. Наконец требуется восстановление Постоянного Шевченковского комитета, который бы ежедневно занимался и наследием Поэта, и следил бы за надлежащей сохранностью всего, к чему прикасался его гений.

ИНТЕРЕСНЫЕ, динамичные и, как никогда, сложные процессы происходят в нашем обществе. Уже наяву те обретения, которые однозначно свидетельствуют о необратимости перестройки. Это радует и вселяет самые оптимистические надежды.

Но в этой радости непозволительно забывать, что во все времена у нового, сильного и перспективного всегда были не менее сильные противники. Не забывать, что демократия должна уметь защищаться. Тем более что в последнее время после иных «размышлений», тиражируемых различными каналами информации (и не только чужими), создается впечатление, что отдельные «мыслители» недалеки от того, дабы организовать второе — уже идеологическое — покушение на Ленина. А следовательно, — и на ленинскую национальную политику.

Конечно, можно бы, продлив метафору, как в прежние времена утешиться: мол, покушаются только на живых, следовательно, Ленин «и теперь живее всех живых», в дело его бессмертно.

Заманчиво, но опасно. За бессмертие Ленина надо сражаться. Сражаться ежечасно. Сражаться всем вместе, привлекая в свои ряды и все те неформальные движения, которые искренне жаждут участвовать в обновлении. Привлекать и координировать их действия с тем, чтобы эти ручейки инициатив слились в единую реку всенародного движения за Перестройку.

Более чем уверен: каждый честный украинец, отстаивая свое национальное достоинство, с такой же последовательностью и решительностью как зеницу ока будет беречь и приумножать наше общее советское достояние — ленинское чувство семьи единой. Ибо сама история всем своим непререкаемым авторитетом свидетельствует, что самым надежным гарантом истинно свободного развития каждой нации есть Братство народов.



Юрий МУШКЕТИК

КОЛОСКИ

РАССКАЗ

ВСЮ ВЕСНУ и начало лета сорок седьмого шли дожди. Весной — сплошь, а в июне—июле (как будто кто-то распланировал это на небе) по утрам стояла ясная погода, а к полудню с запада снова наползали тяжелые, лохматые, похожие на вывернутые кожухи тучки, которые бурно сбрасывали свой водяной груз и величаво плыли дальше. Иногда дожди шли с грозами, земля опилась водой и была как губка.

Люди в Яремовке и всюду по селам ходили понурые, подавленные — голодно уже сейчас, а что же будет дальше?

Правда, дожди, которые вбивали в землю овощи и не давали зажелтеть житу, в то же время и спасали яремовчан: село с двух сторон окружено сосновыми борами, переходящими в смешанный лес, и там пошли грибы. Белые, красноголовики, а маслят, свинушек — коси косой.

Куликам белых и боровиков не доставалось: разве доплетешься с такой мелюзгой — одиннадцать годочков, девять и семь — на дальние Мажуги или Круково? Довольствовались маслятами, свинушками, а то и сыроежками. Ходили по грибы дважды на день — утром и в обед, и дважды варили их в большом медном казане. Были у них в лесу свои «урожайные» места, особенно полюбилось им одно — посреди высоких сосен в низинке за канавой, маслят там так и гнало из-под земли, — вчера собрали, а сегодня опять полно их, были они мелкие (зато нечервивые) и липкие, руки от них становились черными, точно кора на вишневом дереве. На взгорке росли свинушки, грибы хитрые, прятались под землей, только по кротовинам и можно их увидеть, большие и мясистые.

От грибов без хлеба без картошки, а то и без соли, люди болели животом, особенно дети. Часто жаловалась на животик и маленькая Надийка. Бабуся Федорка прикладывала ей к животику шершавую ладонь, легонько поглаживала и тихо приговаривала:

— Держись, моя ласточка. Крепись, мой цветик, вот пойдут колоски, тогда заживем.

Колосков ждали как манны небесной.

Бабуся Федорка сердобольная и добрая, но и строгая: не давала спуску ни себе, ни детям, будила их каждый день до восхода солнца и вела в лес.

— Ну-ка, мои маленькие, ну-ка, мои голубчики. Надо идти.

А порой и так:

— Довольно вылеживаться. Одевайтесь. А то вот возьму веник! — и отворачивала к божнице осунувшееся, измученное лицо.

Бабусю слушались. Она — их советчица, и защитница, и наивысший праведный суд. Батька у них нет. Михайло Кулик как ушел на третий день войны, так и не вернулся — пропал без вести, мать — Зинька, с пригасшими, какими-то треугольными, загнанными вглубь глазами, худая и почерневшая, — с рассвета на своем огороде, нарезанном ей аж за пятой бригадой (огорода возле хаты — только латочка), а потом це-

лехонький день на колхозном поле. Зарабатывает, как говорит бабуся Федорка, палочки. В прошлом году эти палочки не дали ничего. По весне, когда Зинька вытряхнула из мешка последнюю пригоршню муки, соседи стали советовать, чтобы сдала детей в интернат, ну, хотя бы двоих или одного, она отвечала: «Если умрем, то все вместе».

Так что о колосках мечтали все дети, а больше всех Надийка. Представлялись они ей почти золотыми, а еще и такими, как огонь. (Помнила молодую Галю Красицкую, соседку — в ее свадебный венок в самом деле были вплетены и колоски.) А еще представляла себе, как напекут они лепешек, как выйдет она на улицу, сядет на колоду с лепешкой в руках, и будет ей... и будет ей как на небе. («Как на небе», — то бабусина присказка.) И все увидят, что она ест лепешку, а особенно Квашина Санька, которая и теперь иной раз выбегает на улицу то с пирогом, то с пышкой, а то просто с ломтем хлеба. Ее, конечно, возвращает во двор мать. Надийку бабуся не станет звать. Будет Надийка кусать лепешку по крошечке, чтобы надолго хватило, вот так будет сидеть и откусывать понемножку, и все. Надийка — девочка словно тихое лето. Сидит себе где-нибудь в уголке и молчит. Она редко плачет, а если и заплачет, то тихонько, без голоса. И все рисует что-то палочкой на земле или составляет из травы и цветов затейливые букетики. «И в кого она удалась?» — удивляется Федорка и смотрит на хлопцев. Те — как огонь. Оба белоголовые, чубы повыгорали на солнце до соломенного блеска, быстроногие, задиристые. Особенно младший, Андрейка, тот и хлопцам постарше сдачи даст. На верхушках высоких Бараницких сосен мостят гнездо кобчики, Андрейка взбирается на самые высокие сосны, они гнутся у вершины в крутые дуги, опасно потрескивают, а он еще и чудит там, но слезает на землю, не разбив в пазухе ни единого яйца. Из тех яиц, небольших, величиною с сорочьи, в густых крапинках, они делают дома яичницу.

Надийка мечтала о хлебе, говорила о нем и бабуся Федорка, а жита стояли ярко-зеленые, и ветер гнал по ним тяжелые крутые волны. Жита начинались сразу за пожаркой и простирались до бора, среди них пролегала дорога, поросшая муравой, в которой чернели две колеи и желтела посредине выбитая конскими копытами тропочка. Жито было еще зеленое, но со всех четырех концов нивы и в двух местах посередине, возле дороги, стояли вышки из свежеоструганных досок, а на них торчали сторожа с дробовиками. Это впервые на полях «Ленинского шляха» поставили такие вышки, наказ был строгий: сберечь хлеб до последнего зернышка.

Лепешки и ломти хлеба, посыпанные солью, существовали только в Надийкиных мечтах, а реальная затируха из житней муки внезапно появилась в их хате. Однажды, когда бабуся Федорка чинила у окна Захаркины штаны, а сам Захарко спрятался на печи и застенчиво выглядывал из-за дымохода, а Надийка, примостившись возле бабуси, раскладывала в подоле разноцветные перышки — дары Андрейки, он сам вошел в хату какой-то непохожий на себя, важный, и деланно-скромный, и победоносно-дерзкий; подошел к широкой, вытертой до блеска несколькими поколениями Куликов лавке, выдернул из штанов сорочку и высыпал на лавку несколько пучков мятых, зеленовато-желтых колосков. У бабуси Федорки выпало из рук шитье, она несколько раз хватила воздух ртом, побледнела и спросила:

— Где это ты?..

— На Песках. Там жито уже порыжело, — ответил небрежно.

— Горюшко... — вскрикнула бабуся. — А если бы поймали?.. Да за такое... за такое...

— Поймают! — хмыкнул Андрейка. — На дурака напали! Я иду вот так: дерг-дерг по одному. И за пазуху. А сорочка только краешком в штаны заправлена. Потяни — и все будет на земле.

— Найдут на дороге, погонятся. Вон в Тиховце погонщика волов судили за ячмень. Ночью пас волов и надергал. Шесть килограммов колосков — шесть лет. Горюшко ты мое... Чтобы больше туда — ни ногой... — А сама быстренько свернула колоски на сито и засунула в печь, за заслонку. Печь еще не остыла. Потом потолкла в ручной ступке. Вышло две пригоршни черной, сухой, как дерть, муки. Из нее она и сварила затируху. Вкусную-превкусную, с перчиком.

С того дня затирухой запахло в хате еще несколько раз. Колоски приносили Андрейка и Захарко, бабуся Федорка наказывала не ходить больше в поле, но наказывала как-то так, что они ее не слушались, улавливали по ее голосу: полного запрета нет. Кто знает, что думала она, наверное, не могла примириться в мыслях ни с голодной смертью, ни с тюрьмой, не могла сделать выбора. Тайком плакала над чугунком — затируху можно было не солить.

Но вот началась жатва. Застрекотали в поле косилки, замахали крыльями лобогрейки, затрещали по сухому стеблю косы (комбайн везли волами из МТС, но не довезли, что-то в нем поломалось по дороге, и он так и остался стоять под вербами на старом Чемерском шляху), и выросли полукопны, а потом и стога, возле них загрохотала молотилка. Пылища стояла над ней, и мелькали на стогах белые платки женщин. К молотилке подъезжали две колхозные машины и воловьи конные возы, на них клали насыпанные под завязку мешки с зерном, и волокли те машины и возы к шляху пыльные рыже-черные хвосты. Хлеб возили на полустанок, на пункт заготзерна. По стерням прошли конные грабарки, и стерни стояли разодранные, расчесанные, ощетинившиеся, как ежи, золотисто-белые, еще не потемневшие от дождей. Грабарки прошли только по ровному, да и то не везде. И попадались на полях места заболоченные, вымокшие весной низинки, на которых рос густой пырей, а между ним кое-где торчали жалкие колосочки. И лежали, хоть и редко, в стернях тяжелые, полнозернистые колоски.

Солнце еще только барахтается в ивняке возле речки Худулиевки, еще липкий замутненный туман катится волнами над грядками картофеля, и через низенький плетень переплескивается во двор, где на траве запеклась холодная, словно на железе, крупная роса, а бабуся Федорка уже тормошит детей, сладко спящих на полатях:

— На колоски, мои дорогие. На колоски, голубчики мои.

Особенно трудно разбудить Андрейку, бабуся поднимает его за плечи, он хлопает ресницами и снова падает на сложенную в головах фуфайку, бабуся не отступает, щекочет его за ухом, кропит водой из обливной мисочки, и Андрейка наконец сползает на пол. Надийка уже стоит у порога, сорочечка на ней подвязана пестрой, из бабусиного пояса, тесемкой, полотняная торбочка повешена через плечо. У бабуси тоже полотняная торбочка, у мальчиков сумки зеленые, от противогазов. Вот так, гуськом, и тянутся они к полю, а там разворачиваются в цепочку. Мальчики — с одной стороны, бабуся Федорка — с другой, Надийка — посередине. Наконец и она почувствовала себя не лишним ртом, а с братьями наравне. Грибов собирала мало — по большей части топталась возле бабуси, боясь заблудиться в лесу, и страшно, до затаенных слез, завидовала братьям, когда те приносили колоски. Завидовала и гордилась братиками, знала, что сама никогда бы не отважилась на такое, и чувствовала свою мизерность, никчемность, малость.

Теперь же она порхала, как воробышек, прыг — и колосочек, прыг — еще один, шасть туда, шасть сюда — и уже шелестит в торбочке. Собирала она больше мальчиков, вот только бабусю Федорку догнать не могла. Как будто и совсем потихоньку плетется старушка, а торбочка ее пузатеет на глазах.

Из торбочек колоски ссыпали в крапивный мешок, который прятали где-нибудь под кустиком заячьего холодка, в ямке. Отдыхали чаще всего в заросшей бурьяном низинке. Хотя в их селе за колоски еще

никого не судили, собирать их запрещалось. Объездчики на конях прогоняли людей с поля, отбирали торбы, высыпали и затаптывали в землю колоски. Правда, делали они это неохотно, чаще притворялись, что не замечают детвору и стариков на стернях (взрослых, кто должен был ходить в звено, случалось, забирали и в сельсовет), так что приляг в низинке или в ямке, объездчику и достаточно, он и уедет, — так поступали все объездчики, кроме одного — Царика. Тот не миловал ни малого, ни старого. Бабку Свистольницу так отделал кнутом, что дочь и зять едва отпарили ее подорожником. Царик — человек звероватый, нелюдимый, еще и какой-то словно тронутый, жену (детей у них нет) бьет тирански, собаки и скотина шарахаются от него. Однажды рубанул соседского пса на перелазе, и осталось лежать две половинки с обеих сторон плетня.

Хлопцам на колосках скучно. Стерня и стерня, срубленные косой репейники, комья земли, плоскуша и повилика, которая стелется по земле... И солнце печет немилосердно, и кузнечики выпрыгивают из-под ног. В лесу же гнездо какое найдешь, и просто взберешься на высокое дерево, а закричишь коршуном — все птицы враз снимутся с мест и улетят в чащи, затихнут. Тут и птиц нету, разве что жаворонок в разомлевшем небе так высоко, что его и не видно, да еще перепела по травяным низинкам, там их пропасть, поразбегались со скошенных полей, сытые, откормленные (вот бы на жаркое!), подпускают близко, а потом пурх — словно дразнят тебя.

В конце второй недели на несколько дней выпала им перемена: молотилка, которая все это время молотила за Дудченковым хуторищем, переехала дальше в поле. На то место, где она работала, бросились все те, кто собирал колоски, и другие люди из села, просеивали полову, переворачивали вымолотки, гребли, скребли землю, в которой, вдавленное колесами молотилки, тракторов, возов, поблескивало зерно.

На полову, на вымолотку Кулики опоздали, зато землю хлопчики гребли — только пыль столбом. Набивали они ею мешки и, пригнувшись, трусцой несли в хату. А там уже бабуся Федорка разбивала эти комья земли, в деревянном корыте промывала водой, перетирала еще и еще раз и снова смывала — так раз пять, а то и десять, пока на дне корыта не оставалось несколько пригоршней зерна. Она его — на сито и в печь. Из того зерна испекла первый хлеб и первые лепешки. И был этот хлеб как пасхальный кулич. Правда, хрустел на зубах песок, но на него не обращали внимания. И уже поднялся чеснок; горбушки, густо натертые чесноком с солью, пахли поразительно и были невероятно вкусными.

Но вскоре всю землю из-под молотилки перегребли, и пришлось снова цеплять на шеи торбы.

Так продолжалось еще с неделю. А потом... Потом стряслось то, что навеки закрыло небо Надийке, а с нею и бабусе Федорке, и затянуло его сизым дымом для Андрейки и Захарка.

Колосковали они за Колодезем над овражком, в котором рос кустарник, и на самом дне, где весной плещется ручеек, было несколько верб. Солнце уже клонилось к Смолянскому лесу, бабуся позвала детей домой. Мальчики сразу шмыгнули в овражек под вербы, весна была дождливой, там осталась большая лужа-колдобина, так что можно было поплескаться в ней, за ними потянулась и Федорка, и Надийка присела в ямке и работала ручонками, как белка лапками. Золотистая косичка с синей ленточкой — из того же бабусиного пояса — летала за ее плечиками, курносенькое, чуть тронутое веснушками на носике и вокруг него личико в мелких росинках пота. Пришла к ней большая удача, большой успех — нашла в бурьяне потерянный сноп и вышелушивала колоски. Быстрее было бы их оборвать, но торбочка уже полна.

Она схватила последнюю горсточку, как вдруг перед нею что-то затопало, зазвенело, рыкнуло громовым голосом, и ее маленькое, худенькое тельце опоясала жгучая боль. Она подняла кверху глаза и увидела нечто страшное, несусветное, раскоряченное, что вот-вот должно было раздавить, растоптать ее, вбить в землю навечно. Увидела ощеренную морду, растопыренные копыта, какую-то змею в воздухе.

Кто знает, поняла ли она, что это такое, узнала ли Царика, который поднял над нею на дыбы коня и хлестнул ее длинным кнутом, может, в самом деле приняла своего обидчика за сказочное чудовище, но только как-то странно свернулась и упала на землю. С уст ее не сорвалось ни крика, ни стона, они сомкнулись в черную мучительную ранку навечно.

Ее отлили водой, над нею голосила бабуся Федорка; потом опять же водой отливала испуг бабка Онисья. Зинька возила ее к докторам — не помогло. Так и не слетело больше ни единого слова с Надийкиных уст. Осталась она немой и, как говорили в селе, помраченной. Все сидит на завалинке, водит руками, ни на кого не смотрит — боится людского взгляда — и время от времени ежится, точно от холода. Может, она этими руками что-то отводит от себя, а может, все еще собирает колоски, которые не дособирала в тот недобрый сорок седьмой.

С украинского.
Авторизованный перевод
Изиды НОВОСЕЛЬЦЕВОЙ.



Микола ОЛЕЙНИК

ПОЗДНЕЕ ЦВЕТЕНИЕ

РАССКАЗ

Осень выдалась на диво сухая, теплая, с обилием паутинок бабьего лета, густо опутавших старый терновник вдоль улицы и сверкавших крохотными бусинками росы по утрам, когда опадал туман.

В такие дни, вернувшись с работы, Настя часто оставляла двери открытыми. За день в хате скапливался удушливый запах, видно, от печи, посуды да и бадьи, в которой прежде носили воду, а нынче использовали под помои. Пока хлопотала по хозяйству, жилье высвежалось, все запахи выветривались и спать становилось легче. С некоторых пор сон Насти стал некрепким — часто просыпалась от боли в груди, — и районная врачиха посоветовала спать при открытом окне: так, мол, больше свежего воздуха. Окна в хате, как и сама хата, были старые, Настя и не помнит, когда и по какому случаю в последний раз их открывали, да и вообще моды такой на селе не было, поэтому решила оставлять открытой дверь. Уж и привыкла: бывает, всю ночь двери чуть не настежь, и впрямь словно бы получше ей, не так ноет сердце и не кружится голова. Соседи поначалу отгова-

ривали, одна ведь, всякое может случиться, а потом и они привыкли, перестали обращать внимание, разве что подшучивали чисто по-женски: гляди, мол, Настя, ворвется какой-нибудь бродяга, будет тебе морока. Настя, когда в настроении, и сама пошучивала, а иной раз только роняла сухо: «Хуже, чем есть, не будет», и на том разговор обрывала.

День клонился к вечеру — успела и поужинать, и постирать, когда на крыльце кто-то тяжело затопал и на пороге появилась высокая, словно бы надломленная в плечах фигура. Настя знала, кто может завернуть к ней в такую пору, поэтому особенного беспокойства не выказала, лишь поспешно убрала с лавки тряпье и сняла темный, для домашней работы, халат, делавший ее похожей то ли на мастера, то ли на кладовщика — во всяком случае не подходивший к этим обстоятельствам.

— Можно?

— Да уж входи. На пороге стоя, только и спрашивать позволения. Откуда так поздно?

— А прямо к тебе. Зашел лишь перекусить, телушку напоил да и...

— Хозяин! — лукаво взглянула на него Настя. — Телушку напоил. А сам будто и в рот не брал.

Гость все еще топтался у порога, не отваживаясь ступить дальше, виновато поглядывал на хозяйку.

— Гляди у меня!

— Да я только самую малость. Для храбрости.

— Господи, какой пугливый!

— А ты не смейся. — Гость все же отважился, шагнул к лавке, положил картуз, сразу расплывшийся сырым блином. — Это я со всеми смельчак, запанибрата, а с тобой не могу. Не получается.

— С чего бы это?

— Кто его знает. Словно бы и свои, а увижу тебя, и что-то во мне меняется, не таким, как всегда, становлюсь.

— Боишься, стесняешься? — подошла, обдала его запахом простого мыла.— Или, может, виноват в чем?

— Нет, не виноват я перед тобой, Настя, — сказал он горячо. — И не боюсь, и не стыжусь. Люблю, наверное, очень.

— И-и-и... — отшатнувшись, поправила скатерку.

— Я же не говорю, что боюсь. Просто что-то во мне переиначивается. Хочу сказать одно, а говорю другое. Хочу сделать так, а выходит иначе. Самому бывает странно. Не парубок ведь.

— Тоже мне жених! — укорила Настя.— Молчал бы уже.

— Да я к слову, Настя. А жених — каков уж есть, весь на виду, ничего не утаил.

— Ну ладно, ладно, — повернулась к шкафчику с посудой Настя. — Ты хоть повечерял?

— Эх! — махнул рукой. — Вечерял — не вечерял, какая разница?

— Ну да! Выпить выпил, а закусить?..

— Сколько там той выпивки. Не сказал бы — и не догадалась. А выпить пришлось, потому что причина...

— Еще такого не было, чтобы для выпивки не нашлось причины.

— Да ты послушай. Прихожу домой, а у ворот, на бревне, сидит Устим Балелей. Тот, что в кузнице работал, пока на пенсию не отправили. Сидит, значит, цигаркой попыхивает. Добрый вечер — добрый вечер. Каким, спрашиваю, ветром занесло? Живет он, ты же знаешь, не близко, на Добкивщине. А, говорит, вспомнилось, как мы с батьком твоим покойным из германского плена возвращались... Потешный старик! Усадил меня и давай рассказывать. Слушаю да помалкиваю, поскорее бы — к тебе ведь надумал, а он свое. Вижу, конца-краю разговорам не будет, пришлось поставить, угостить. Ну и сам, ясное дело, за компанию. Вот и все, как на духу.

— Ну конечно же, — вздохнула Настя, — у мужиков всегда найдется оправдание. Хотелось тебе так поступить, чего уж тут каяться... Я тебе вот что скажу, Федор. Как там дальше пойдет наша жизнь, я не знаю, дай бог, чтобы в мире да согласии, а верить тебе верю. Верю, что дурного, злого не учинишь; человек ты бывалый, знаешь что к чему, так что воля твоя. Говорила тебе и говорю. И хочу, чтобы ты не пренебрег моим доверием, ценил его, потому что годы наши уже такие, что грех на осмеяние людям выставляться.

Растроганный этими словами, Федор хотел было обнять Настю за плечи, но она ловко увернулась, сказав, что это ни к чему, баловство и только, и он снова остался в нерешительности посреди хаты. Ему вдруг стало жаль и Настю, и покойных родителей, которые отошли, так и не дождавшись внуков. Глаза у Федора защипало, к горлу подступил комок, и не в силах был Федор с ним совладать, проглотить или выдохнуть. Лишь зажмурился, шершавыми, заскорузлыми кулаками потер горячие веки.

— Спасибо, Настя, вовек не забуду. Верь мне, как и я тебе. А за чарку прости! Не мог иначе, мало их, все меньше на свете остается тех, кто знал наших родителей. Поговоришь с таким, и будто с родным батьком встретился. Будто он сам со мной поговорил. Поверишь, Настя, так иногда хочется вернуться в ту пору, когда рядом родители, а ты малый, неразумный, все тебе просто и все тебе можно. Так хочется!.. Чем дальше, тем больше...

— Что сказать, — отозвалась Настя. — Так уж оно на этом свете устроено. Пока малые — глупые, ветер в голове, а как подрастешь — жить бы да жить, а уже и некогда. Ни здоровья уже, ни того интереса.

— Нет, ты только подумай, — все еще одолевая ком в горле, продолжал Федор, — дитя не помнило своих родителей? Родилось, выросло, а их словно и не было. Справедливо это, а?..

— Кто ж говорит. Время такое выпало.

— Время? Ну, пускай тридцать третий — время. А твои... так же попали под время?

— И мои. А что же? Вспомни, как после войны было.

Помолчали. Федор сидел насупленный, погруженный в свои мысли, а Настя сновала по хате — то одно, то другое, наконец подошла к кровати, деревянной, старомодной, с высокими спинками, взбила подушки, осевшие за день.

— Который уже час? — взглянула на будильничек, стоявший на этажерке среди фотографий.— Ого! Поздновато. Иди, Федор, завтра рано вставать. И тебе, и мне.

Федор как бы очнулся, поднял голову, посмотрел на женщину умоляюще.

— А может, того, Настя?.. Может, останусь, переночую? Люди ж свои, всё знают.

— И свои, и знают, а только надо все по совести.

— Так ведь уже... — сорвался Федор.

— Уже, однако и не уже.

— Вот такая ты всегда.

— Такая, Федя, такая, и не могу быть иной. Знаешь ведь, так и не кори.

— Как будто что-то случилось бы, если б переночевал.

— Может, и случилось бы, — подошла, взлохматила редкие, слежавшиеся под картузом волосы.— Не сердись. Лучше подумай, с кем бы тебе тополь вон спилить.

— А зачем? — взглянул непонимающе.

— Дров сколько будет! Все равно усыхает. Да и оставлять кому-то не хочется.

— А покупатели не против, чтобы спилить?

— Им что за дело? Они люди городские, им только бы попросторнее. Да и стар уже он, тополь, только и всего что торчком торчит да воронье на нем гнездится.

— Бензопилу придется искать, — размышлял Федор, — вручную его не свалищь. Толстенный... А я бы не стал морочиться, пусть дерево стоит. Дров у меня достаточно. Лес под боком, лесник свой. Пусть бы стояло.

— Нет, Федор. Его давно надо спилить, он только сад затеняет. Да прежде аисты не давали — поселились на нем однажды летом, и все, потому и не спилили. А нынче аисты не прилетели. Им здесь нет уже поживы, болота осушены, гнездо, вишь, ветры разметали — так что ему торчать? Каждый раз, куда бы ни ехала, куда бы ни шла, глазами буду его провожать. Нет, все-таки спилим.

— Так-то оно так, — согласился Федор. — Всего и забот-то...

Сидел он, и не хотелось ему отсюда уходить, отсюда, где она, давнишняя боль его и радость, где уют и женский во всем порядок: идти к своему одиночеству, безрадостности и безутешности. Но в самом деле — было поздно, все село уселось у телевизоров, улеглось, нигде ни гугу. Даже собачня притихла. Лишь далеко на шляху, прорезая светом фар тьму, мчатся машины, но гул их сюда почти не долетает.

— Так что? — глядя себе под ноги, переспрашивает Федор.

Настя молча качает головой: пора, мол, тебе, Федор. Федор понимает и без слов, тяжело поднимается, опираясь рукою о стол. Тихая беседа, присутствие женщины, поздний час разморили его, обессилили, вот так упал бы на пол и проспал до самого утра.

Но он этого не сделает, это было бы неразумно, ему только бы поскорее, поскорее добраться домой. Вот если бы попался какой-нибудь транспорт! Стой! А не попросить ли у Насти велосипед? Она ведь редко им пользуется, за ними, женщинами, приезжает машина, отвозит на работу и привозит, а ему сейчас в самый раз проехаться на двух колесах, разве нет?..

— Куда тебе на велосипеде? Пешком вернее. Огородами иди — ближе.

Надела на него картуз, проводила до ворот.

— Доброй ночи!

— Счастливого пути! Да гляди там.

И стояла, пока сгорбленная фигура не растаяла в темноте, неслышными стали шаги в мягкой, совсем еще зеленой осенней траве.

Вот так! Душа болит, до рассвета не уснет теперь Настя от дум о Федоре и о себе, а выпроводила. Может, и не надо было, пусть бы уж переночевал, хаты бы не убыло и на сердце спокойнее. Но нет, раз так велит душа, то так и должно быть. По правде так по правде, не перед кем-то, а перед собственной совестью. Чтобы чистой была, незапятнанной.

Но и ночь же, господи! Что того неба, что тех звезд! Словно зерна рассыпаны. Покрупнее и помельче. И мерцают, мерцают. Холодно им там, что ли? Или ветер их раскачивает?

Прикрыла калитку, обошла подворье и остановилась на крыльце. Сон отлетел — разогнал его Федор, теперь уж не скоро вернется.

Откуда-то налетел ветер, качнул полусухую верхушку тополя, зашевелилось напуганное воронье да сразу же и притихло, угомонилось. Настя поежилась, затянула на груди платок, который набросила, выходя, зевнула зябко и понесла в хату свою тревогу.

В детстве они оба пасли скот. Поначалу, как заведено, гусей и свиней, а когда подросли, она — коров, он — лошадей. И никогда не встречались, не были знакомы. Потому что Настуня жила в одном конце села, у леса, а Федько, которого еще при живых, но уже смертельно больных родителях взяли дальние родственники, — в другом, противоположном, который крайними своими хатами выходил прямо в поле, в широкие разливы пшеницы и ржи. Все лето, до жатвы, пока не появлялась стерня, пасли скот в роще — по оврагам, овражкам и другим неугодьям, где ни сеять, ни косить. Разделяла их небольшая извилистая речушка, которая протекала почти по центру села, образуя довольно большой пруд с широким плесом посередине и густыми высокими камышами вдоль берегов, а потом, круто свернув, отрезала одну часть села, неведомо кем и по какой причине названного непонятным словом Убек.

Был чудесный летний день, кажется, воскресенье, когда солнце, буйство зелени, птички, радужное настроение, и сердце так и рвется из груди, дух захватывает, и тебе выпал свободный от всего часок. Никуда тебя не позовут, ничего не заставят делать, ни о чем не напомнят, — сам себе хозяин, царь и бог в этом зеленом царстве, которое вокруг, внизу и вверху и, кажется, в тебе самом. Хочешь — гуляй, беги куда вздумается, хочешь — сиди, читай, вышивай, плети венки из золотистых одуванчиков, — ими усеяны улицы, межи, дворы и сады... Редко такое выпадает, но ведь есть же на свете счастье, так почему бы не явиться ему в облике такого вот дня?..

Настуня с соседскими девочками — им так надоело все в лесу да в лесу — махнули на луг, за цветами, а заодно мир повидать, потому что детвора, как ни пронырлива, на другой конец села попадает порой лишь в юности — так далеко разбросаны те околицы.

Вот так, вдоль речушки, от цветка к цветку, от куста к кусту, где и щебетало, и куковало, и выщелкивало, и дудело, добралась беззаботно-шаловливая стайка до Убека и удивилась: как же тут хорошо! Долина, в долине пруд с ряской у берегов и снежно-белыми лилиями на чистой воде, гуси облачками на мураве, утки, где-то в камышах выпь кричит от одиночества... А дальше, дальше — лещина по подгорьям, сизые волны колосьев — плещутся, льются в долину, а над ними, надо всем этим — голубой купол неба в легких, едва приметных перышках облаков. Кажется, подуй на них — и полетят, полетят неведомо куда.

— Ой, девчаточки, как же тут хорошо! А мы и не знали.

Очарованные, дивились тихой, невиданной доныне красоте, сами — ее частица, начало или, может, венец...

— А давайте...

Однако даже взбудораженное их воображение не могло подсказать, что именно следует учинить здесь такое, чтобы мир этот всколыхнулся, заиграл еще роскошнее, ярче. Запеть? Мало. Станцевать? Тоже мало. Закричать во весь голос, кто громче, — и этого недостаточно.

— Давайте искупаемся!

— А если хлопцы увидят?

На селе тогда еще не знали купальников, да и другие вещи женского туалета туда только пробивались. Нагота прикрывалась совестью, застенчивостью, пониманием «можно» и «нельзя» или же в крайнем случае — вечерними сумерками. Матери наши, наши невесты купались в те времена только вечером.

Но в этот день так щедро светило солнце, а девчушкам так хотелось искупаться, что никакая сила не могла их удержать.

И вот они на берегу, на чистом плесе. С одной стороны ракитник, с другой — берег подступает к ним лепехой, рогозом, камышами, в которые, видно, и нога человеческая не ступала, потому что грязь там непролазная. И хорошо подружкам, несказанно хорошо! Девчоночьи тела их, с едва проступающими признаками взрослости, блаженствовали в теплой воде, пахнущей водяной мятой, бодягой, еще чем-то душистым, головки их в венках из одуванчиков так и вспыхивают на солнце, глаза их, личики их сияют весельем, задором:

— Ух!

Так и поднимает их — вот-вот вспорхнут над прудом и ангелочками растают в голубой высоте.

— Хватит, девчата!

— Еще немножко, еще!

— Хватит. А то еще верба из одного места вырастет...

Но что бы это, скажите, за девичье купание было без мальчишечьих проказ! Быть такого не может... Вот и тут. Только купальщицы на берег, к одежде, как за кустами — шурх-шурх — крик, визг, будто ордынцы хватают и тащат пленниц, чтобы пополнить ими чьи-то гаремы. Но вскоре в девичьем стане наступает тишина, беспорядочный визг затихает, слышны лишь угрожающие возгласы:

— А ну, отдай!

— Положи, говорю!..

Речь идет об одежде — ее предусмотрительно захватили хлопцы...

— Отдай, не то как!..

Их разделяют густые кусты, высокая трава, в которую поприседали девчушки.

— Иди бери. Вот твое платье.

— Положи, не то маме расскажу...

Тогда такая угроза еще могла подействовать — угроза рассказать все родителям. За этим могли последовать и розги, и ремень, и подзатыльник, и тумак, и простехонькое держание за ухо во время нотаций, держание, после чего ухо вспухало и долго еще казалось прилепленным к голове красным вареником.

— Не положу!

— Отдашь!

— Не отдам!

И вдруг... Пожалуй, на это способны только наши украинские девчата, им ведь веками приходилось спасаться от набегов татар и монголов и иных поработителей, которые угоняли в рабство степных и полесских наших красавиц. Вдруг кусты всколыхнулись, ветви затрещали, и обиженные девчонки — кто прикрываясь ладошкой, кто просто так — ринулись вперед, каждая на своего обидчика. От неожиданности не все мальчишки успели выбраться из кустов, и вот уже кого-то колотят, хлещут жгучей болотной крапивой, тянут за вихры, чтобы впредь неповадно было, чтобы и другим заказал.

Вот тогда-то, в то воскресенье, в детской той кутерьме, не придав тому значения, встретились глазами Федько и Настя. Может, то было лишь мгновение, мгновение, когда — по поверьям — и рождается то, чем потом мучится человек всю жизнь; может, длилось то созерцание несколько дольше — пока шли те переговоры, но в реальности его нет никакого сомнения. Иначе почему Федько, встретив девочку уже в другое воскресенье, на ярмарке, подошел и ни с того ни с сего брякнул:

— А я тебя знаю.

Настуня широко открытыми глазами посмотрела на незнакомца:

— Откуда ты?

— С хутора. А ты царапучая.

Настуня покраснела, как пион. Это же он в и д е л ее! Недобрый огонек заиграл в ее глазах.

— А чтоб не лез! — отрезала и заторопилась.

А он стоял и глядел, как исчезала она в ярмарочной толпе; он хотел сказать, что не виноват, что это старшие подговорили и что напрасно она его поцарапала, потому что он ничьих платьев не брал, даже не подумал брать, а она ушла, не выслушав его объяснений. Но теперь Федько лучше рассмотрел ее, и что-то засветилось в его юной душе, как это бывает в степи в темную ночь, когда где-то далеко-далеко заблестит огонек. Теперь он знает, где ее искать, как идти на тот огонек, и никогда-никогда больше не сделает ничего глупого, мальчишеского.

...Дальше было как в сказке. Они росли-подрастали, ходили в шко-

лу, стежки их все чаще пересекались. То Федькý непременно надо было на Настину улицу, то у Насти вдруг возникало дело на хуторе, и маялась девочка, и так и сяк намекала, пока мама, будто бы в сердцах, не скажет:

— Да иди уж, иди.

Настуня вспыхивала, какое-то время вертелась возле хаты, делая вид, что совсем ей и не хочется идти на хутор, может она без него обойтись, а потом ноги сами несли ее межами, межами к Убеку или другому загодя условленному месту.

— Хорошая пара растет, — говорили люди.

В селе не то что в городе, здесь всё на виду, все обо всех всё знают, хорошее похвалят, дурное осудят, радости порадуются, горе разделят.

— Эге ж, — говаривали люди, — как голубки, что он, что она.

— Слышишь, Настуня, что о нас люди говорят? — лунными ночами, привлекая к себе девушку, шептал он ей на ухо.

— Не ходи, так и не станут говорить, — лукавила она.

— А если люблю?

— Тогда не удивляйся.

— Я не удивляюсь, только... откуда они все знают?

— Сорока на хвосте носит, — смеялась. — Странный ты, Федя. Люди всё видят.

— И это... как мы тут стоим?

— И это. Они же сами были молоды, Федя.

— Да, конечно...

И вдруг, среди лета, среди грез, среди той любви, как гром среди ясного неба — в о й н а.

— Что же теперь, Федя?

— Жди, — ответил Федор. Да и что еще мог он сказать? — Жди, Настуня.

Они расстались на майдане, там, где с давних времен цвели ярмарки да, странствуя из одного конца села на другой, останавливались, гудели свадьбы, там, где они впервые встретились. Прощались при всех, на виду у родителей и соседей, не стыдясь больше чувств своих и объятий.

— Не плачь, Настуня.

Она крепилась, улыбалась даже, ведь вокруг люди, но в глазах дрожали росинки слез, и Настуня стояла недоросшей еще Ярославной, провожавшей ладу своего на великую битву.

Затих вдалеке гул машин, увозивших новобранцев, слезы высушил ветер, и осталась Настуня со своей тоской. А война с каждым днем приближалась, вот и до села докатилась. Взяли юную Ярославну, с ее грезами, с ее любовью еще не расцветшей, пленницей повезли в край чужеземный, далекий...

— А что, Федор, если бы жизнь твоя иначе сложилась? Наверно, и не вспомнил бы обо мне?..

— Что ты, Настя, бог с тобой! Сама судьба тому свидетель, и как с фронта вернулся, и после. Да что ж было делать, когда от тебя ни весточки. А дома не усидишь, послевоенное бесхлебье. Думал — поеду ненадолго, подработаю немного... Да не так оно получилось, как думалось...

— Не судьба, Федор. И в войну уцелели — людей вон сколько погибло — и после, а если уж не везет, если судьба наша такая несчастливая, так что ты ей...

— Может, и так, — согласился Федор и добавил: — Отдохни чуток. Садись вот здесь. Намахалась щеткой. Говорил же: позови когонибудь, попроси помочь...

— Кого нынче попросишь? Если бы это новая хата была, то сошлись бы на толоку.

— Поживем, может, и на новую стянемся.

— Да разве я что? Хата еще хорошая. Вот побелю, освежу, будет как куколка.

Настя слезла с табурета, положила щетку, вытерла фартуком руки.

— Может, пополдничаешь? До вечера еще далеко.

— Потерплю. Свари картошки в мундирах, а я буду мимо лавки ехать, заскочу селедки возьму. Соленого что-то захотелось.

— Сварю, сварю. — Настя присела, оглядывая хату. — Где же нам расставить все? Шкафы, кровати, столы?.. Не поместятся же.

— Что возьмем, а что, может, и оставим, — рассудил Федор. — Людям же надо на чем-то есть-пить, — он имел в виду покупателей.— Конечно, все не поместится. Что получше — перевезем, а остальное не будем. Люди поблагодарят. Зачем же им покупать, тратиться?

— Если захотят. Может, не понравится.

— Дареному коню в зубы не смотрят.

— Значит, так, — рассуждала Настя. — Вот здесь поставим одну кровать, а тут — другую. Хочу, чтобы две. Сейчас всюду так, по две. Как в городе. Стол — поближе к стене. Шкаф этот, пожалуй, отвези, Федор, туда, мой возьмем, он поновее.

— А телевизор куда?

— В красный угол, может? — И возразила сама себе: — Нет, не годится. Хоть и без икон, а все же святое место. Разве что тут, — кивнула на простенок между окнами. — Тут будет лучше всего. А над ним, Федор, фотографии. Твои и мои. В рамке, под стеклом. Рамка, правда, старенькая, шашель немного подпортил...

— А я ее выскоблю, лаком покрою, — поспешил заверить Федор.— Или новую купим. Вот поедем в город и купим.

— Нет, пусть эта. Память про батька. Он сам ее смастерил. А рушник еще, старинный. На старое теперь самая мода. Иконы скупают, монисты, посуду всякую. Видно, надоедает все новое да новое. Вспомнить нечего. Мама покойная, бывало, повыкладывает на стол рушники, запаски, пояса разные да и начнет: это приданое, это на свадьбу подаренное, это от бабушки еще память... А мы разинем рты — интересно!

— Когда-то, бывало, и на новоселье старинное дарили, — добавил Федор. — Сундук или еще что.

— Было такое, — вздохнула Настя.

На улице прогрохотала подвода, остановилась у двора. Федор глянул в забрызганное побелкой окно:

— Вот и Павло. — И взялся за картуз.

— Пусть войдет.

— Зачем зря время терять. Быстрее вернемся.

— Как знаешь. — Проводила его на крыльцо. — Да глядите там, не задерживайтесь. Ох, чуть не забыла: будешь в лавке, прихвати мыла, постирать надо.

Подождала, пока подвода скрылась за поворотом. Но и потом не спешила в хату, захотелось постоять, оглядеться. Прямо перед ней, почти опавший — лишь кое-где осталась редкая позолота листвы — стоял колхозный сад. Его посадили после войны, уже на Настиной памяти, через несколько лет после того, как вернулась из плена; теперь сад разросся, каждое лето дает столько яблок и груш, что, бывает, не знают, куда их девать: город всё не принимает, сами же перерабатывать на зиму не приспособились. За садом лежат поля — зеленые под всходами, и черные под паром. Сбоку от села, на самой околице, темные кроны деревьев, между ними, на взгорке, виднеется голубоватая крыша церквушки. Там погост, царство вечного покоя. Там батько и мама и их родители, Настины дедушка и бабушка.

Настя любила бывать на кладбище, там всегда так чисто, как-то даже празднично, потому и глядела сейчас на него с интересом, стараясь определить отсюда — где именно родные могилки.

...На другом конце села между тем готовились в дорогу. Лошади были справные, не измученные — все в колхозе нынче делалось тракторами, — и Федор со своим другом Павлом нагрузили воз до самого верха. Шкаф, стулья, давнишняя, наверно, еще Настиными родителями сработанная лавка, ухваты, ведра, бадья — все уместилось, осталось лишь увязать, стянуть веревкой, чтобы не разъехалось. Дорога хоть и хорошая, но все равно растрясет, морочься потом. Конечно, можно было попросить машину, но все они сейчас на свекле, вот и решили подводой. Да и то немаловажно: машина туда-сюда — и все, словно и не было никакого переезда. А Федору хотелось, чтобы все видели, все знали, что отныне они с Настей в паре, муж и жена, как положено по закону.

Наконец они с Павлом укрепили вещи. Федор еще раз обошел подворье, не забыл ли чего, запер наружную дверь и положил ключ, по сельскому обычаю, под порогом, — там найдут его новые хозяева.

— Как будто все.

— Дрова оставляешь? — спросил Павло, кивая на кучу нарубленных поленьев.

— Нет, как-нибудь еще заскочу. И тополь этот Настя велит спилить.

— Тополь-то зачем, пусть себе стоит.

— Напоминать будет многое...

— Мороки с ним будет! Не знаю, как и осилишь.

— Осилим. Попрошу хлопцев из лесничества, у них бензопила.

— Ну, если так... — Павло еще раз бросил взгляд на тополь. — Ох! Погляди-ка, ведь оно цветет, дерево. Видишь? Вон ветка, с южной стороны. Которая пониже.

Федор пригляделся: и в самом деле, свежая листва, кисти — как весной, вот-вот пух выпустят.

— К чему бы это? — рассуждал Павел.

— Не к добру будто — позднее цветение.

— Примета!

— Все на свете одним духом живет. Что люди, что деревья... — Федор глянул на солнце — садилось уже на колхозные фермы, на хаты, по-осеннему тускло взблескивало в окнах. — Поехали...

— Полагалось бы и того... — замялся ездовой, — дело, можно сказать, сделано.

— Дома, дома. Настя там заждалась.

— Ну, коли так... — нехотя согласился Павло и примолк.

Места на подводе не было — нагрузили с горой, — поэтому шли пешком. Дорога привычная, коням известная, пусти — сами пойдут, Федор и Павло брели в стороне, переговаривались. Навстречу, загруженные свеклой, мчались тягачи, тащившие за собой мотающиеся из стороны в сторону прицепы, нетерпеливо сигналя, обгоняли и летели дальше легковушки.

— Спешат. Все куда-то спешат, — философствовал Павло. — Не знаешь, Федор, куда они так торопятся?

— Техника. Машина должна гнать, она не может, как мы.

— Не может. Расплодилось их, скоро не пройдешь, не проедешь.

— Говорят, и воздух отравляют, однако делают их и делают.

Подвода тяжело взобралась на гору.

— Ну, я пошел, — бросил Павло, направляясь к лошадям. — Придержу с горы.

Он взял вожжи, натянул, заламывая коням шеи, и те замедлили шаг.

Федор остался сзади. Дорога утомила его — все-таки весь день на ногах, да еще натаскались с этим добром... Но теперь уже, кажется, все, размышлял он, конец мытарствам. Съедутся под одну крышу да и заживут вместе. Значит, все же правда: когда человек к чему-то стремится, то непременно добьется своего. Хотя запоздалое, позднее их с Настей цветение, но все же цветение. Гляди, и плоды будут.

Под гору, навстречу, натужно ревя, тяжело двигался голубой самосвал. Кузов с верхом завален свеклой, прицеп тоже. Машина и подвода поравнялись. На Федора пахнуло едким дымом, он отвернулся, мыслями снова прикипел к своему, домашнему. Даже не обратил внимания на надрывный сигнал встречной машины, глянул только тогда, когда оттуда замахали, закричали. Но было поздно: громоздкий прицеп, оторвавшись, сбил его с ног. Федор еще успел услышать треск, лязг ведер, паденье чего-то мелкого — понял: свекла. Краем сознания силился за что-то зацепиться, но все вдруг изменило ему, ввергло в пропасть, где ни входа, ни выхода, только шорох и лязг, треск. И далекий Настин голос. Далекий-далекий...

С украинского.
Авторизованный перевод
Изиды НОВОСЕЛЬЦЕВОЙ.

Авторы и переводчик передают гонорары в фонд сооружения памятника Т. Г. Шевченко в Ленинграде, счет № 702, открытый Ленинградским отделением Советского фонда культуры в городской конторе Госбанка.

Виталий КОВАЛЬ

СТАЛИНСКИЙ ПРИГОВОР МИКОЛЕ ХВЫЛЁВОМУ

МИКОЛА Хвылёвой...

Если и называли это имя публично, то с резкими эпитетами и проклятиями, а добрым словом вспоминали, приглушая голос, оглядываясь. Лучше было и вовсе не вспоминать. Вон один, шепотком повторили, читал Хвылёвого, Винниченко, Грушевского, так и до сих пор неизвестно, куда запропал. Дочитался...

— Хвылёвой, дети, был злейшим врагом Советской власти, — еще в начальных классах учила нас шепелявая учительница. — Вождь украинского народа Лазарь Моисеевич Каганович развенчал его, выполняя мудрые указания великого Сталина...

Портреты Кагановича и Берия висели в классе, следя за каждым нашим движением, за каждой нашей мыслью (у нас не было учебников, нам не на чем было писать — а портреты вождей были).

В студенческой аудитории нам открыто говорили о тяжелом наследии культа личности, называли имена необоснованно репрессированных деятелей украинской культуры и справедливо реабилитированных. Открывались перед нами удивительные миры Григория Косынки, Евгения Плужника, Валерьяна Полищука, Миколы Зерова, Михаила Драй-Хмары, Гео Шкурупия, Зинаиды Тулуб, и всякий раз мы недоумевали: как могла жить наша родная литература без этих личностей?

Почтенный, седоголовый профессор, заложив руки за спину, ходил вокруг кафедры и читал нам историю литературы, как говорится, «из первых уст»: многих писателей в те давние годы он знал лично (всеведущие городские эрудиты на «перекурах» с умным видом утверждали, что в молодости этот профессор служил помощником у самого Лазаря Моисеевича). И вновь всплывало имя «оголтелого националиста Хвылёвого» и его страшный лозунг «С Москвой — врозь». Из-за профессорского плеча нам мудро улыбался Леонид Ильич... Вожди сменяли один другого, а Микола Хвылёвой оставался врагом — ярым, коварным...

Микола Хвылёвой...

Мы все виноваты перед ним. И те, кто жил в одно время с ним, и те, кто был после него...

Его убивали при жизни. Убивали методично, страшно, хладнокровно. Убивали на фронтах гражданской, а когда она кончилась — на «фронтах» мирных. Он сам — добровольно — ушел из жизни.

Тогда его стали у б и в а т ь после физической смерти. Еще методичнее, еще страшнее, еще злокозненнее. Убивали более пятидесяти лет. Глухо раздавались удары: «националист», «враг», «фашист»...

Мы все перед ним виноваты... Я так же далеко от Хвылёвого, как феллах от аллаха, но что-то шевелится в душе, жжет и щемит...

— Ты будешь давать Хвылёвого?..

Если бы зимой ударил гром среди ясного неба, ему я удивился бы меньше, чем этому вопросу моего товарища.

— Как? Куда? — не понимая, смотрел я на него, забыв, что в это самое время составлял какой-то каталог украинской литературной продукции и что именно о нем и шла речь. — Зачем?

Как раз тогда снова стали заполнять «белые пятна» в литературе, возвращать забытые имена, реабилитировать необоснованно репрессированных. Но при чем тут Хвылёвой?

Да и мой собеседник, сколько я его знаю, всегда боролся с украинскими буржуазными националистами, лекции читал, монографии издавал, охотился за этими «истами», как за ведьмами...

И вдруг промелькнули перед глазами и шепелявая учительница из давнего далёка, и седоголовый профессор, и фундаментальные учебники и монографии, по которым когда-то сдавал экзамены...

Пришлось торопливо заполнять «белые пятна» в самом себе. Метался по библиотекам, архивам, искал хоть что-нибудь о Хвылёвом. Но не тут-то было: произведения самого писателя — на крепком замке в спецхранах, а из наличествовавших комментариев — прежних времен и новейших — вырисовывался образ самого заклятого, самого лютого из врагов... Должно быть, лютого настолько, что его имя даже не нашло себе места ни в одной энциклопедии. Только в новом, втором издании Украинской Советской Энциклопедии в одной из вспомогательных статей мне все-таки встретилось несколько строк:

Фактическое руководство в ВАПЛИТЕ, которая с первых дней своего существова-

ния заняла бурж.-националистические позиции, осуществлял М. Хвылёвой. Взгляды «ваплитян» в основном сводились к противопоставлению рус. и укр. культур, к ориентации на психологичную Европу», и проповеди формализма и «активного романтизма». Хвылёвой и его приспешники выступали против политики Коммунистической партии, пытаясь оторвать Советскую Украину от Сов. России» (Т. 2, с. 121).

Вот и вся наука. И шепелявая учительница, и седоголовый профессор, и портреты вождей над ними, и мой элегантно-щеголеватый собеседник, который тоже пописывал статьи для новой энциклопедии...

При следующей встрече на его неотвязное: «Ну, даешь?» — уверенно ответил: «Не даю. Тебе доступны все материалы, ты и напишешь...» А вскорости я услышал, что этот мой товарищ в своих лекциях уже и меня причислял к врагам Хвылёвого, к врагам перестройки, мешающим заполнять «белые пятна»...

Вот тогда я и решил до конца развенчать врага, того врага, которому хотелось оторвать меня от русского брата, который поливал грязью великих народных писателей Украины — Шевченко и Франко.

Ринулся в крупнейшие киевские библиотеки: «Дайте мне что-нибудь о Миколе Хвылёвом. Дайте мне «Синие этюды» и «Вальдшнепы».

В библиотеках из произведений писателя не было ни одного. И в генеральных каталогах ничего не значилось. Девушки-библиографы, заметив мое отчаяние, предложили несколько старых замусоленных томов и брошюр, и я принялся конспектировать намного старательнее, чем в студенческие годы.

«В литературе действовало националистическое отребье, объединявшееся в такие литературные организации, как «Ваплите»; возглавлялась предателем украинского народа Миколой Хвылёвым... Попытки махрового националиста Миколы Хвылёвого оторвать украинскую культуру, литературу от русской, его призыв «С Москвой — врозь», теория «борьбы двух культур» — украинской и русской, ориентация на «Европу» — на буржуазный Запад. Такие произведения, как «Работные силы» участника «СВУ» Ивченко или же «Вальдшнепы» самого Хвылёвого, откровенно пропагандировали фашизм» (Х и н к у л о в Л. Словарь украинской литературы. Киев, изд-во АН УССР, 1948, с. XV).

«Самую упорную борьбу против новой социалистической культуры украинского народа вела буржуазно-националистическая группа Хвылёвого, развившая в литературе контрреволюционные идеи национал-уклонистов (Шумский, Скрыпник). Из всех врагов украинской советской литературы эти были самыми ярыми и но-верными. Оголтелый национализм Хвылёвого и его приспешников смыкался с неприкрытым космополитизмом. Хвылёвой, например, обливал грязью имена великих народных писателей Украины Т. Шевченко и И. Франко» (Очерк истории украинской советской литературы. Изд-во АН УССР, 1954)*.

«Дух выдвинутой Хвылёвым националистической «теории» о борьбе двух культур — украинской и русской — все время витал над «Ваплите»... Прямым пагубным влиянием антинародных концепций Хвылёвого объясняется тот факт, что немало писателей как раз во время их пребывания в «Ваплите» в своем творчестве и публицистических выступлениях допускало грубые ошибки буржуазно-националистического характера (М. Кулиш, И. Сенченко и др.). «Ваплитянство» идейно разлагало писателей, вело их кружным путем национализма и упадничества» (История украинской литературы. В 2-х т. Т. 2. Изд-во АН УССР, 1959)*.

«Во многих своих последующих произведениях Хвылёвой ведет неврастенический и раздраженный спор с революцией: декларативно присягая на верность, он в то же время подвергает сомнению ее гуманность и народность. Со временем Хвылёвой все более непреклонно «развенчивает» образ коммуниста, недавнего бойца революции... Вместо прославления революционного самопожертвования автор скатился к обыкновенной буржуазной клевете на пролетарскую революцию, назвав ее делом принципиально «антигуманным», ради которого, по его словам, человеку необходимо обязательно перешагнуть через труп всякой человечности и справедливости» (История украинской литературы. В 8-ми т. Т. 6. Киев, Наукова думка, 1970)*.

Чем больше заполнялся мой конспект, тем страшнее становилось. Ни одна литература, из известных мне, не имела такого врага. 1948-й, 1954-й, 1959-й, 1970-й... Уже несколько раз портреты вождей поменялись, а враг украинской литературы и всего украинского народа оставался тем же — Микола Хвылёвой...

Что мы знали о нем?.. Когда он родился и умер? Кто он был и откуда взялся на нашей земле?

В жизни мы никогда не видели ни произведений Миколы Хвылёвого, ни его фотопортретов, ни его жизнеописания, ни лозунгов, провозглашавшихся им. Только читали учебники, монографии, истории, диссертации — и были вынуждены принимать все на веру. Враг есть враг. Да еще если он националист, уклонист, фашист — тем паче нечего и говорить.

И упорно скрывалось, что Микола Хвылёвой был активным участником Октябрьской революции и гражданской войны, был революционером и коммунистом, что с юных лет он преследовался царской охранкой, что был приговорен к расстрелу и стоял перед ружейными дулами, был членом ревкома и в Политуправлении Южного фронта, Политотделе Второй Конной армии... Что в первые годы после революции был одним из популярнейших украинских писателей, что его стихи и новеллы помещались в школьных учебниках в хрестоматиях, что песни его пел

* Автор раздела Л. Новиченко (примеч. автора).

народ, что его произведения переводились за рубежом...

Все это, как и его произведения, было за семью замками. Широкая читательская масса не должна была знать этого. Имя его вычеркивали из национальных энциклопедий. Оценка его была одиозначной, хорошо сформулированной и отредактированной: ее дал С т а л и н...

В 1925 году Сталин посылает на Украину своего «ближайшего соратника» Кагановича (так он был назван в «Кратком курсе истории ВКП(б)», а в республиканских газетах он именовался «вождем украинского народа»). Посылает его на пост Генерального секретаря ЦК КП(б)У. Тогда на Украине еще действовали ленинские установки по национальному вопросу, впервые после печально известных Валуевского циркуляра и Эмского царского указа к народу возвращалась родная речь, открывались украинские школы и вузы, издавались украинские книги и журналы. Каганович, для виду поддерживая «украинизацию», настолько начал «закручивать гайки», что не выдержал тогдашний нарком просвещения Шумский: каким-то образом пробился к Сталину с жалобой на... Лазаря Моисеевича.

Сталин выслушал Шумского и, казалось, даже «поддержал» его, но тут же — 26 апреля 1926 года — направил своему «ближайшему соратнику» зловеще-знаменитое письмо: «Тов. Кагановичу и другим членам ПБ ЦК КП(б)У, в котором обстоятельно воспроизвел содержание разговора.

«Имел беседу с Шумским. Беседа была длительная, продолжалась часа два с лишним, — писал он Кагановичу. — Вы знаете, что он не доволен положением на Украине. (...) Он особенно не доволен работой Кагановича. (...) Он (Шумский. — Примеч. перев.) смешивает украинизацию наших партийного и иных аппаратов с украинизацией пролетариата. (...) Мне кажется, что Шумский неправильно понимает украинизацию и не считается с этой последней опасностью» (С т а л и н И. В. Соч. Т. 8, с. 149—152).

До «гениальных» работ по языкознанию было еще далеко, но уже тогда «отец народов» обнаружил недюжинные познания в украинской литературе и, в частности, в творчестве Миколы Хвылёвого.

«Совершенно правильно подчеркивая положительный характер нового движения на Украине за украинскую культуру и общественность, — писал Сталин, — Шумский не видит (...), что при слабости коренных коммунистических кадров на Украине это движение, возглавляемое сплошь и рядом некоммунистической интеллигенцией, может принять местами характер борьбы за отчужденность украинской культуры и украинской общественности от культуры и общественности общесоюзной, характер борьбы против «Москвы» вообще, против русских вообще, против русской культуры и ее высшего достижения — ленинизма. Я не буду доказывать, что такая опасность становится все более и более реальной на Украине. Я хотел бы только сказать, что от таких дефектов не свободны даже некоторые украинские коммунисты. Я имею в виду такой всем известный факт, как статью известного коммуниста Хвилевого * в украинской печати. Требования Хвилевого о «н е м е д л е н н о й дерусcификации» пролетариата» на Украине, его мнение о том, что «от русской литературы, от ее стиля украинская поэзия должна убегать как можно быстрее», его заявление о том, что «идеи пролетариата нам известны и без московского искусства», его увлечение какой-то мессианской ролью украинской «молодой» интеллигенции, его смешная и немарксистская попытка оторвать культуру от политики, — все это и многое подобное в устах украинского коммуниста звучит теперь (не может не звучать!) более чем странно. В то время как западноевропейские пролетарии и их коммунистические партии полны симпатий к «Москве», к этой цитадели международного революционного движения и ленинизма, в то время как западноевропейские пролетарии с восхищением смотрят на знамя, развевающееся в Москве, украинский коммунист Хвилевой не имеет сказать в пользу «Москвы» ничего другого, кроме как призвать украинских деятелей бежать от «Москвы» «как можно быстрее». И это называется интернационализмом! Что сказать о других украинских интеллигентах некоммунистического лагеря, если коммунисты начинают говорить, и не только говорить, но и писать в нашей советской печати языком Хвилевого? Шумский не понимает, что овладеть новым движением на Украине за украинскую культуру возможно, лишь борясь с крайностями Хвилевого в рядах коммунистов. Шумский не понимает, что только в борьбе с такими крайностями можно превратить подымающуюся украинскую культуру и украинскую общественность в культуру и общественность с о в е т с к у ю» (там же, с. 152—153).



Микола Хвылёвой. Снимок сделан в 1933 году в последний месяц жизни.

Пусть простит читатель за эту пространную цитату из письма «отца». «Сыновьи» стократно эксплуатировали ее во всех исследованиях по украинской литературе, то выдавая ее за «отцовскую заботу», то придавая ей «принципиальное значение», то отмечая ее «сугубо выдающуюся роль», эксплуатировали до самой смерти «отца». Да и после его смерти в 1953 году, и после XX и XXII съездов партии цитата «верно» служила ретивым разоблачителям «национализма Хвылёвого».

* По тогдашней орфографии (примеч. перев.).

«...В духе концепций «национал-коммунизма», которые развивали национал-уклонисты в КП(б)У типа Шумского и Волобуева, Хвылёвой требовал «немедленной дерусификации пролетариата», то есть насильственной украинизации людей русской национальности, проживающих на Украине. Ревизуя марксизм, он оторвал культуру от политики, неустанно говорил о «бесклассовом характере пролетарского искусства», о какой-то «мессианской» роли... Шовинизм Хвылёвого смыкался с откровенным космополитизмом и пренебрежением лучшими национальными традициями» (1959).

«Все это завершилось — в пору, когда Хвылёвой окончательно обозначился как национал-уклонист, один из идеологов воинствующего буржуазного национализма, — романом «Вальдшнепы», в котором автор дошел до прямого восхваления «антисоветских сил» (1970).

«Хвылёвой не перестал говорить о «неполезности» единения с русской литературой и о необходимости ориентации на «психологичную Европу» (1988).

Слова Сталина поистине стали путеводной звездой для «сыновей»-литературоведов, для одурманивания голов доверчивого читателя.

Это был приговор украинскому коммунисту Миколе Хвылёвому, подписанный Сталиным еще 26 апреля 1926 года, приговор, в отличие от тех, что впоследствии подписывались списками, замедленного (и тем самым более жестокого) действия. «Обвиняемый» так и не услышал его (полностью он был опубликован лишь в 1948 году), однако его черная тень висела над писателем до самой смерти и после нее. Вслух его не раз повторял в 1926—1928 годах, а затем и в 1947-м «ближайший соратник» Каганович:

«Подголоском слоев, возлагающих свои надежды на реставрацию буржуазной власти на Украине силами вооруженного иностранного империализма, невольно раскрыл себя писатель и критик — член партии М. Хвылёвой с его проповедью ориентации на Запад украинской культуры, на «психологичную Европу», все равно — буржуазную или пролетарскую, и под лозунгом «С Москвой — врозь» (Из доклада на X съезде КП(б)У. — Газ. «Комуніст» от 27.11.1927).

А за Кагановичем эти слова повторял, как в античной трагедии, целый хор его «прислужников», последователей да участников литературной дискуссии, в самый эпицентр которой по-провокаторски был затянут и Микола Григорьевич Хвылёвой...

«Истинно Хвылёвой (от укр. «хвиля» — «волна». — Примеч. перев.), — как писал в то время один из его оппонентов. — Сам волнуется и нас волнует, — пьянит и тревожит, выводит из себя, лишает сил и берет в полон. Аскет и фанатик, беспощадный и себе и к другим, болезненно впечатлительный и гордый, чрезмерно обидчивый и строгий, а порой — нежный и застенчивый, причудливый чародей, влюбленный в слово, в форму мечтатель. Бичует все гнилое в революции, выискивает его повсюду во имя коммунизма — дорогой его сердцу идеи, которую он принял как аскет и романтик... А душа пролетарская, а творческая сила — великая» (В. Коряк).

Но приговор Хвылёвому, вынесенный Сталиным и Кагановичем, обжалованию не подлежал. Нелепость обвинений была очевидной, но кто в те годы осмелился бы опровергнуть их?.. Произвольно надерганные и соответствующим образом препарированные цитаты из горячих, острых, эмоционально возбуждающих памфлетов: «Про «сатану в бочке», или Про графоманов, спекулянтов и других «просветителей», «Про Коперника из Фрауенбурга, или Азбука азиатского Ренессанса в искусстве», «Про демагогическую водичку, или Настоящий адрес украинской вороньщины, свободная конкуренция, ВУАН и т. д.», «Две силы», «Психологичная Европа», «Культурный эпигонизм», «Формализм?», «Новый организационный путь», «Ахтанабиль» современности, или Валерьян Полищук в роли лектора коммунистического университета», «Апологеты писаризма», а впоследствии и цитаты из первой части романа «Вальдшнепы» и из более ранних новелл, ставших к тому времени уже хрестоматийными, создавали образ врага, националиста, уклониста...

Этот образ и до сего времени столь основательно «аргументируется» исторической и литературоведческой наукой (при почти полном отсутствии для рядового читателя первоисточников), что разрушить его, отойти от выработанного за десятилетия стереотипа неимоверно трудно. И поэтому как поразительные первооткрытия воспринимаются опубликованные недавно воспоминания Ю. Смолича «Ваплите» и я» («Літературна Україна». 24.09 и 1.10.87), Антонины Кулиш «Соната без патетики» («Україна», 1988, №№ 41—43), исследование С. Гречанюка «День возвращения Миколы Хвылёвого» («Українська мова і література в школі», 1987, № 12), Натальи Кузякиной «Микола Кулиш в «Гарте», Урбино и Ваплите» («Літературна Україна», 4, 11, 25.04.88), эссе О. Ющенко «Из вечного путешествия» («Радянська освіта», 15.11.88) и некоторые предисловия Н. Жулинского к отдельным публикациям произведений писателя.

А тогда приговор, вынесенный тайно украинскому писателю-коммунисту, действовал, коварно подталкивая его к бездне...

Несколько раз Микола Хвылёвой пытался снять с себя жестокие обвинения, не раз выступал с покаянными заявлениями, писал о верности политике партии, неоднократно заверял в своей любви к великой русской литературе и к новой украинской поэзии.

Но его не слышали — не хотели услышать! Снова и снова с трибун, со страниц различных периодических изданий раздавалось страшное: «Хвылёвой расставил своих героев на определенные трибуны и заставил их в художественной форме заговорить об упадке революции, апологетами украинского национализма»; «Хвылёвой своим произведением «Вальдшнепы» окончательно показал, что он идет уже — если еще не пришел — к лагерю украинского воинствующего фашизма». Он уже «окончательно показал», хотя роман еще только начинали печатать и оборвали где-то посередине. Столь же ожесточенно критиковалась статья «Украина или Малороссия», которая... не была опубликована...

В его произведениях выискивали все новые и новые «измы», а он взывал к своим молодым травителям «быть этнически чистоплотными», поверял свои мечты написать новые новеллы об империалистической и гражданской войне, «участником которой был», ездил по селам голодной Украины 33-го и вспоминал свои недавние слова: «Никогда еще не было столько возможностей для развития украинской пролетарской литературы и вообще литературы, как теперь у нас, в республике Коммун...»

За несколько месяцев до трагического конца он еще раз обращается к своим читателям и критикам:

«На протяжении нескольких последних лет КОЕ-КТО ИЗ НАШИХ НЕ В МЕРУ СТАРАТЕЛЬНЫХ КРИТИКОВ (здесь и далее выделено мной. — В. К.) решительно и безапелляционно ЗАЧЕРКИВАЕТ ВЕСЬ МОЙ прежний, чуть ли не четырнадцатилетний творческий путь пролетарского писателя. Делается это очень просто. Знаете, кто такой Хвылёвой? Да это тот, что из «Ваплите», основоположник хвылёвизма и автор «Вальдшнепов». О других моих произведениях ни слова! Не существует и моих нескольких томов... Никак не могу не требовать ОТ НАШИХ НЕ В МЕРУ СТАРАТЕЛЬНЫХ КРИТИКОВ, чтобы они, САДЯСЬ ПИСАТЬ СТАТЬИ О МОЕМ ПЕРЕРОЖДЕНИИ, сперва брали на себя труд хоть как-нибудь заглянуть в мои книжки. Нельзя же, уважаемые товарищи, делать из человека, что на протяжении многих лет в силу своего разумения и способностей боролся за пролетарское искусство, — нельзя делать из этого человека пролетарского «начинающего», который только что вернулся из ваплитянской эмиграции и который, кроме «Вальдшнепов» и хвылёвизма, ничего не имеет за душой...»

Это был крик, последний крик украинского писателя-коммуниста. Его не услышали. Палачи были уже близко... Арестовали Михаила Ялового...

...Последний солнечный день Миколы Хвылёвого. В окружении друзей, любивших его. Как рассказывают, он напевал русскую пушкинскую песню:

Хоть убей, следа не видно;
Сбились мы, что делать нам!..

А может, из далекого детства в то мгновение вспомнился ему старый ветхозаветный псалом:

Я изнемог и сокрушен весьма,
вопию от стеснения сердца моего...
Други мои, сотоварищи мои
отступили от беды моей
и ближние мои встали поодаль.
Но ищущие души моей ставят сети,
желающие мне зла глаголют словеса
убийства,
готовят ковы целодневно...

Как знать... Роковой выстрел раздался 13 мая 1933 года. Он успел, он не отдал себя «глаголяшим словеса убийства»...

Кто-то из друзей, бросившихся тогда на выстрел, увидел на письменном столе, залитом кровью, прощальную записку — потом она бесследно исчезла; кто-то бессмысленным взглядом остановился на стихотворных строчках (Гр. Вакар) о Маяковском из свежего газетного номера от 11 мая («Літературна газета» — прежнее название газеты «Літературна Україна». — Примеч. перев.):

Стрілятись вам
було занадто рано.
Вам би громити ще,
трощити,
руйнувати,
Щоб наших буднів
вигоїти
рани,
Щоб пискнути не смів
сучасний обиватель...

Миколы Хвылёвого уже не было.

Над свежей могилой плакали мать, жена, дочь, сестры. Над свежей могилой скорбели друзья, произносились речи...

«...Ему всегда помогали выпутаться из тенет старых ошибок и старого окружения... Указания Лазаря Моисеевича Кагановича о заботливом отношении к товарищу Хвылёвому, талант которого товарищ Каганович всегда ценил... Все это факты, красноречиво свидетельствующие о создании всех условий для продуктивной творческой работы... не только Хвылёвому, но всем нашим литературным кадрам...» («Літературна газета», 27.05.33).

Миколы Хвылёвого уже не было.

Он не успел на себе ощутить, как и страдавшие с ним вместе друзья, «заботливого отношения» Сталина и Кагановича. Ему уже не было суждено прочитать в «Литературке» две статьи «Добить контрреволюционный национализм в литературе» некоего Г. Проня, в которых эта «забота» обнаружилась в полной мере:

«Задача марксистской литературной критики — показать всем трудящимся контрреволюционную сущность и бездарность писаний фашистов — Яловых, Досвитных, Вишень, Гжицких, Пилипенков, Ирчанов, Загулов, Козорисов, Бобинских, Ткачуков, Речицких, Реп, Заклинских и др. Необходимо также обратить серьезное внимание на вопросы с классиками. Ведь Грицай, Березинский и Озерский, которые осуществляли руководство издательским производством, предисловия к произведениям классиков поручали писать Пилипенкам, Речицким, Юринцам, Демчукам и пр. Нашим издательствам для работы с классиками надо привлекать молодые, растущие, прежде всего партийные кадры, чтобы очистить этот фронт от всего того националистического хлама, какой оставили нам контрреволюционеры» («Літературна газета», 10.03.34).

Миколы Хвылёвого не было, а сталинский приговор действовал и посмертно. На бюро Дзержинского райкома г. Харькова были вызваны писатели Кулиш, Досвитный, Касьяненко и Сосюра. Цель — узнать об их отношении к самоубийству Хвылёвого и Скрыпника. Раздавались

выстрелы, заполнялись камеры, тысячные митинги осуждали «врагов народа»...

Владимир Сосюра в «Расстрелянном бессмертии» скорбит о своих побратимах и горит гневом:

Як тьма проклята, в очі лине
Обличчя ката України...
То шле зміїні вогні!
Зір Кагановича мені,
Зір палестино-отаманський...
О, як він диха в наші дні
І ходить по землі радянській,
натхненник Берії!

А в «Третьей Роте» клеймит критика:

«А Н. хочет Хвылёвого убить духовно. Нет! Хвылёвой, как писатель, как гений бессмертен, и Н., который под стол пешком ходил или которого, может, и на свете не было, когда мы с Хвылёвым открывали первые страницы Октябрьской литературы, Н., этому литературному флюгеру, не убить память гениального сына революции, который был бойцом багряного Трибунала революции, и погиб от рук черного трибунала, только не Коммуны, а тех, кто по-змеиному выскользнул из-под контроля партии и хотел мечом диктатуры пролетариата уничтожить завоевания Октября».

После XX съезда партии уже возвращались со своих «десятилеток» и «двадцатилеток» Дубинский, Ковинька, Годованец, Зинаида Тулуб, Антоненко-Давидович, Мысик, Гжицкий — все, кто уцелел. Посмертно были реабилитированы те, кто не выдержал каторги... А Микола Хвылёвой? Хвылёвой не был репрессирован, не был исключен из партии — над ним висел приговор Сталина. Надеждой жила в далеком Свердловске его семья — жена Юлия Григорьевна Уманцева и дочь Любовь. Они ждали возвращения мужа и отца — хотя бы в добрых воспоминаниях или в переизданной книге...

Почта принесла им из Киева декабрьский номер журнала «Вітчизна» (1959), в котором были подчеркнуты такие слова.

«Покалеченный обломок арцыбашевщины», больной идейно, духовно, морально, этот писатель, как свидетельствует большинство его произведений, принадлежал к прямым эпигонам буржуазного декадентства и по этой причине закономерно отошел в литературное небытие. Ненавистник Шевченко, формалистичный истерик, имевший странное пристрастие ко всему темному, грязному, нездоровому, раздвоенному, что общего мог он иметь с передовой украинской литературой, с ее традициями, с основными направлениями ее развития!» (Л. Новиченко)

Этого не смогла выдержать его верная жена, революционерка, коммунистка с 1917 года, Юлия Григорьевна...

«Мудрые» указания великого Сталина и его «ближайшего соратника», «вождя украинского народа» Кагановича действовали. Один из тех исследователей, что следовал «мудрым указаниям», теперь, пересматривая свои взгляды, поясняет: «Тогда все так говорили...» А как все это объяснить многим поколениям одураченных, обманутых, обокраденных, как теперь донести до них слово Миколы Хвылёвого?..

Микола ХВЫЛЁВОЙ

Я (РОМАНТИКА)

НОВЕЛЛА

«ЦВЕТУ ЯБЛОНИ»

Из ДАЛЕКОГО тумана, от покойных озер загорной коммуны долетает легкое шелестение: Мария идет. Я выхожу на безбрежные поля, преодолеваю перевалы и там, где пламенеют курганы, опускаюсь на одинокую пустынную скалу. Я гляжу вдаль. — Тогда мысли, одна за другой, словно амазонки, носятся вскачь вокруг меня. Тогда все исчезает... Таинственные всадники летят, мерно покачиваясь, к отрогам, и день угасает; бежит между курганами дорога, а за ней безмолвствует степь... Я размыкаю веки и вспоминаю: — ...воистину моя мать — воплощенный прообраз той неземной Марии, взирающей на

Приводится по изданию: М. Хвильовий. Осінь. «Червоний шлях», 1924 (в большинстве своем в переводе сохранена авторская пунктуация).

нас с перелома неведомых эпох. Моя мать — наивность, тихая грусть и доброта беспредельная. (Это я хорошо помню!) И моя неимоверная боль, и моя невыносимая мука теплятся в лампаде фанатизма перед этим прекрасным печальным образом.

. . . .

Мать говорит, «что я (ее мятежный сын) совсем замучил себя»... Тогда я беру ее милую голову с налетом серебристой седины и тихо кладу себе на грудь... За окном сгорали одно за другим росистые утра и землю укрывали перламутры. Невероятные дни сменяли друг друга. Вдалеке, из темного леса, брели путники и возле синей криницы, откуда разбежались дороги, где разбойницкий крест, — останавливались. Молодое загорье.

Но проходят ночи, вечера шелестят в тополиных ветвях, тополя отступают в притаившуюся на дороге безвестность, а за ними отдаляются чередою дни, годы и моя бурная юность. Предгрозовые в ту пору дни. Там, за отрогами сизого бора, вспыхивают молнии и накипают и пенятся горы. Тяжелый душный гром никак не прорвется из Индии, с востока. И томится природа в предгрозье. А оттуда, из-за сумрачной накипи, слышится и другой гул — ...глухая канонада. Надвигаются две грозы.

— Тревога, — мать говорит, что она поливала сегодня мяту, и мята умирает, кручинясь. Мать говорит: «заходит гроза!» И я вижу, в ее очах — две хрустальные росинки.

I

Атака за атакой. Напирают яростно вражьи полки. Тогда наша кавалерия с фланга, и идут шеренги повстанцев в контратаку, а гроза растет, и мысли мои — до невозможности натянутая проволока.

День и ночь я пропадаю в «чека».

Помещаемся мы в фантастическом дворце — расстрелянного шляхтича. Затейливые портьеры, старинные узоры, портреты княжеской фамилии. Все это смотрит на меня изо всех концов моего случайного кабинета.

Где-то аппарат войскового телефона медленно вызванивает свою печальную тревожную мелодию — отдаленный вокзальный рожок напоминает она.

На великолепном диване сидит, подобрав под себя ноги, вооруженный татарин и монотонно напевает азиатское: «ала-ла-ла».

Я смотрю на портреты: князь хмурит брови, княгиня — надменное презрение, княжичи — в тени столетних дубов.

И в этой поразительной строгости я ощущаю весь древний мир, всю бессильную грандиозность и красоту третьей молодости минувших благородных лет.

Ясно различимый перламутр на пиру дикой голодной страны.

И я, совсем чужой человек, бандит — по одной терминологии, повстанец — по другой, — я просто смотрю — просветленным взором — на эти портреты, и в моей душе нет и не будет гнева. И это понятно:

— я — ч е к и с т, н о я и ч е л о в е к.

Темной ночью, когда за окном вечер крадется за вечером по городской улице (именно взлетело на гору и царит над городом), когда синие дымки подымаются над кирпичным заводом и обыватели, как мыши, — в подворотни, в канареечный замок, — темной ночью в моем чрезвычайном кабинете собираются мои товарищи. Новый синедрион, черный трибунал коммуны.

Тогда из каждого закутка глядит всамделишная и поистине ужасная смерть.

Обыватель:

— Тут заседает садизм!

Я:

— ...(молчу).

На городской башне, за перевалом, тревожно звенит медь. Бьют часы. Из темной степи доносится глухая канонада.

Мои товарищи сидят за широким столом — из черного дерева. Тишина. Только отдаленный вокзальный рожок — телефонный аппарат — неторопливо вновь повторяет свою печальную тревожную мелодию. Изредка за окном проходят повстанцы.

Моих товарищей легко узнать: —

доктор Тагабат,

Андрюша,

третий—дегенерат (надежный караульный на часах).

Черный трибунал в полном составе.

Я:

— Внимание! На повестке дня дело лавочника икс!

Из дальних комнат выходят лакеи и — так же, как и перед князьями, склоняются в поклоне, не отрывая взгляда от нового синедриона, накрывают на стол чай. Потом неслышно исчезают по бархату ковров в лабиринтах высоких комнат.

Канделябр на две свечи тускло горит. Свет не в силах вырвать из темноты даже четверти кабинета. В вышине виднеется — едва различимая — люстра. В городе — темень. И тут — темень: взорвана электростанция.

Доктор Тагабат развалился на широком диване, канделябр от него далеко, и я вижу только белую лысину и не в меру высокий лоб. За доктором, еще дальше в темноту — надежный караульный с дегенеративным строением черепа. Мне видно лишь его, с безуминкой, глаза, но я знаю:

— у дегенерата низенький лоб, в черную копну вскосмаченные волосы, приплюснутый нос. Мне он всегда напоминает каторжника, и я думаю, что он не раз, должно быть, проходил по отделу криминальной хроники.

Андрюша, с недоуменным лицом, сидит по правую руку от меня и время от времени с тревогой поглядывает на доктора. Я знаю, в чем дело.

Андрюшу, моего бедного Андрюшу, назначил этот немыслимый ревком сюда, в чека, против его слабой воли. И Андрюша, этот невеселый коммунар, когда надо энергично расписаться под мрачным постановлением —

— «расстрелять»,

всякий раз мнется, всегда расписывается так:

не имя и фамилию на суровом документе жизни ставит, а вовсе непонятный, совершенно причудливый, как хеттский иероглиф, хвостик.

Я:

— Дело закрыто. Доктор Тагабат, как вы думаете?

Доктор (с внутренней силой):

— Расстрелять!

Андрюша с легким испугом взирает на Тагабата и переминается. Наконец дрожащим и неуверенным голосом говорит:

— Я с вами, доктор, не согласен.

— Вы со мною не согласны? — и грохот хриплого хохота покатился в тьму княжеских покоев.

Я этого хохота ждал. Так было всегда. Но и на этот раз я вздрагиваю, и мне кажется, что я погружаюсь в холодную трясину. Моя мысль в своей стремительности доходит до высшей точки.

И в этот же момент передо мной неожиданно возникает образ моей матери...

— ...«Расстрелять»???

И мать с тихой печалью смотрит на меня.

...Опять на далекой городской башне, за перевалом, звенит медь: бьют часы. Полуночная тьма. В благородном доме глухая канонада едва слышна. Передают по телефону: наши пошли в контратаку. За портьерой, в стеклянных дверях, стоит зарево: за дальними холмами горят села, горят степи и воют на пожар собаки по углам городских подворотень. В городе тишина и безмолвный перезвон сердец.

...Доктор Тагабат нажал кнопку.

Тогда лакей приносит на подносе старые вина. Потом лакей уходит, и шаги его тают, отдаляются по леопардовым мехам.

Я смотрю на канделябр, но мой взгляд невольно прокрадывается туда, где сидят доктор Тагабат и караульный. У них в руках бутылки с вином, и они пьют его жадно, хищно.

Я думаю: «так надо».

Но Андрюша нервно переходит с места на место и все порывается что-то сказать. Я знаю, о чем он думает: он хочет сказать, что так не честно, что так коммунары не делают, что это — вакханалия и т. д. и т. п.

Ах, какой он чудак, этот коммунар Андрюша!

Но как только доктор Тагабат бросил на бархатный ковер пустую бутылку и четко выписал свою фамилию под постановлением —

«расстрелять» —

меня мгновенно охватило отчаяние. Этот доктор с широким лбом и белой лысиной, с холодным умом и камнем вместо сердца, — ведь он и мой безысходный хозяин, мой звериный инстинкт. И я, главковерх черного трибунала коммуны, — никчемность в его руках, отдавшая себя на волю хищной стихии.

«А какой выход?»

— Какой выход? — И я не видел выхода.

Тогда проносится передо мной мрачная история цивилизации и бредут народы, и века, и само время...

— Но я не видел выхода!

Воистину правда была за доктором Тагабатом.

...Андрюша поспешно ставил свою закорючку под постановлением, а дегенерат, смакуя, всматривался в буквы.

Я подумал: «если доктор — злой гений, моя воля — зла, тогда дегенерат — палач с гильотины».

Однако я рассудил:

— Ах, какой вздор! Разве он палач? Ведь это ему, этому караульному черного трибунала коммуны, в моменты великого напряжения слагал я гимны.

И тогда уходила, удалялась от меня моя мать — прообраз Марии загорной, и застывала во мраке, в ожидании.

...Свечи истаивали. Строгие образы князя и княгини растворялись в синем тумане цигарочного дыма.

...К расстрелу приговорены,

— шесть!

Хватит! На эту ночь хватит!

Татарин снова нудит свое азиатское: «ала-ла-ла». Я смотрю на портьеру, на зарево в стеклянных дверях. — Андрюша уже исчез. Тагабат и караульный пьют старые вина. Я перебрасываю через плечо маузер и выхожу из княжеского дома. Я иду по безлюдным безмолвным улицам осажденного города.

Город мертвый. Обыватели знают, что дня через три-четыре нас не будет, что наши контратаки тщетны: скоро загрохочут наши тачанки в далекий северский край. Город притаился. Тьма.

Темным мохнатым силуэтом закрывает восход солнца княжеское имение, ныне — черный трибунал коммуны.

Я оборачиваюсь и смотрю туда, и тогда вдруг вспоминаю, что шестеро на моей совести.

...Шестеро на моей совести?
Нет, это неправда. Шесть сотен, шесть тысяч, шесть миллионов — тьма на моей совести!

— Тьма?
И я сжимаю голову.
...Но опять передо мной проносится темная история цивилизации и бредут народы, и века, и само время...
Тогда, изнемогший, я прислоняюсь к забору, становлюсь на колени и пылко благословляю ту минуту, когда встретился с доктором Тагабатом и караульным, у которого дегенеративное строение черепа. Потом поворачиваюсь к востоку и молитвенно взираю на мохнатый силуэт.
...Я скрываюсь в переулках и наконец выхожу к одинокому домику, в котором живет моя мать. Во дворе пахнет мятой. За сараем пламенеют молнии и слышны раскаты задушенного грома.
Тьма!
Я вхожу в комнату, снимаю маузер и зажигаю свечу.
— ...Ты спишь?
Но мать не спала.
Она подходит ко мне, берет мое истомившееся лицо в свои сухие старческие ладони и склоняет свою голову на мою грудь. Она опять говорит, что я, мятежный ее сын, совсем замучил себя.
И я чувствую на своих руках ее хрустальные росинки.
Я:
— Ах, как я устал, мама!
Она подводит меня к свече и смотрит на мое усталое лицо.
Потом подходит к тусклой лампаде и печально вглядывается в образ Марии. Я знаю: моя мать завтра уйдет в монастырь — ей невыносимы наши тревоги и хищное вокруг.
Но тут же, дотащившись до постели, я вздрогнул:
— Хищное вокруг? Разве мать смеет думать так? Так думают только версальцы!
И тогда, в замешательстве, убеждаю себя, что это неправда, что никакой матери нет передо мною, что это не более чем призрак.
— Призрак? — снова вздрогнул я.
Нет, как раз это — неправда! Тут, в тихой комнате, моя мать не призрак, а частица моего собственного преступного «я», которому я даю волю. Тут, в глухом углу, на окраине города, я прячу от гильотины один край своей души.
И тогда в животном экстазе я смыкаю веки и, как самец ранней весной, захлебываюсь и шепчу:
— Кому нужно знать частности моих переживаний? Я настоящий коммунар. Кто посмеет сказать иначе? Неужели я не имею права отдохнуть минуту?
Лампада тускло горит перед образом Марии. Перед лампадой, словно изваяние, стоит моя печальная мать.
Но я уже ни о чем не думаю. Мою голову гладит тихий голубой сон.

II

...Наши откатываются: с позиции на позицию: на фронте — паника, в тылу — паника. Мой батальон наготове. Через пару дней я и сам брошусь в орудийный гул. Мой батальон на подбор: юные фанатики коммуны.
Но сейчас я не меньше нужен здесь. Я знаю, что такое тыл, когда враг под стенами города. Мутные слухи ширятся с каждым днем и,

как змеи, расползлись по улицам. Эти слухи уже мутят гарнизонные роты.

Мне доносят:
— Глухо ропщут.
— Может вспыхнуть бунт.

Да! Да! Я знаю: может вспыхнуть бунт, и мои верные агенты шныряют по закоулкам, и уже некуда втискивать этот обывательский хлам — виновных и почти невинных.
...А канонада все ближе и ближе. Чаще гонцы с фронта. Тучами собирается пыль и стоит над городом, прикрывая мутное огненное солнце. Изредка полыхают молнии. Тянутся обозы, тревожно кричат паровики, проносятся кавалеристы.
Только возле черного трибунала коммуны стоит гнетущее безмолвие.
Да:
будут сотни расстрелов, и я окончательно сбиваюсь с ног.
Да:
уже слышат версальцы, как в гулкой и мертвой тишине княжеского имения, над городом вспыхивают четкие и короткие выстрелы; версальцы знают:
— штаб Духонина!
А утренние зори цветут перламутром и падают в туман дальнего бора.
...А глухая канонада нарастает.
Набухает предгрозье: скоро будет гроза.

. . . .

...Я вхожу в княжеское имение.
Доктор Тагабат и караульный пьют вино. Андрюша, угрюмый, сидит в углу. Потом Андрюша подходит ко мне и наивно печально говорит:
— Слушай, друг! Отпусти меня!
Я:
— Куда?
Андрюша:
— На фронт. Я больше не могу тут.
Ага! Он больше не может! — И во мне вдруг возгорелась злость. Прорвалось наконец-то. Я долго сдерживал себя. — Он хочет на фронт? Он хочет подальше от этого черного грязного дела? Он хочет умыть руки и быть невинным, как голубь? Он мне отдает «свое право» купаться в лужах крови?
Тогда я кричу:
— Вы забываетесь! Слышите?.. Если вы еще раз скажете об этом, я вас расстреляю без всяких раздумий.
Доктор Тагабат с порывом в голосе:
— Так его! Так его! — и хохот раскатился в пустынном лабиринте княжеских комнат. — Так его! Так его!
Андрюша смутился, побледнел и вышел из кабинета.
Доктор сказал:
— Точка! Я отдохну! А ты поработай!
Я:
— Кто на очереди?
— Дело № 282.
Я:
— Ведите.
Караульный молча, словно машина, вышел из комнаты.
(Да, это был незаменимый караульный: не только Андрюша — и мы грешили: я и доктор. Мы часто уклонялись — не ходили смотреть, как расстреливают. Но он, этот дегенерат, всегда был солдатом рево-

люции, и только тогда уходил с поля, когда таяли дымки и закапывали расстрелянных.)

...Портьеры раздвинулись, и в мой кабинет вошли двое: женщина в трауре и мужчина в пенсне. Они были вконец напуганы обстановкой: аристократическая роскошь, княжеские портреты и кавардак — пустые бутылки, револьверы и синий цигарочный дым.

Я:

— Ваша фамилия?

— Зет!

— Ваша фамилия?

— Игрек!

Мужчина разжал тонкие побелевшие губы и запричитал беспардонно-плаксивым тоном: просил милости. Женщина вытирала платком глаза.

Я:

— Где вас забрали?

— Там-то!

— За что вас забрали?

— За то-то!

Ага, у вас было собрание! Какие могут быть собрания в такое тревожное время ночью, на частной квартире?

Ага, вы теософы! Ищете правду!.. Новую? Так! Так!.. Кто же это?.. Христос?.. Нет?.. Другой спаситель мира?.. Так! Так! Вас не удовлетворяют ни Конфуций, ни Лао-цзы, ни Будда, ни Магомет, ни сам черт!.. Ага, понимаю: нужно заполнить пустое место...

Я:

— Так, по-вашему, значит, приспело время прихода нового Мессии?

Мужчина и женщина:

— Да!

Я:

— Вы думаете, что этот психологический кризис должен бы наблюдаться и в Европе, и в Азии, и во всех частях света?

Мужчина и женщина:

— Да!

Я:

— Так какого же вы черта, мать вашу перетак, не сделаете этого Мессию из «чека»?

Женщина заплакала. Мужчина побледнел еще больше. Строгие портреты князя и княгини сумрачно смотрели со стен. Доносилась канонада, долетали тревожные гудки с вокзала. Вражеский бронепоезд наседает на наши станции — передают по телефону. Из города шум доходит: прогрохотали по мостовой тачанки.

...Мужчина упал на колени — просил милости. Я с силой пихнул его ногой, и он раскинулся навзничь на полу. Женщина поправила черный платок на голове и в отчаянье склонилась над столом.

Женщина сказала глухо и мертво:

— Слушайте, я мать троих детей!..

Я:

— Расстрелять!

Вмиг подскочил караульный и через полминуты в кабинете никого не было.

Тогда я подошел к столу, налил из графина вина и залпом выпил. Потом положил на холодный лоб руку и сказал:

— Дальше!

Вошел дегенерат. Он советует мне отложить дела и рассмотреть внеочередное дело:

— только что привели из города новую группу версальцев, кажется, все монашенки, они на рыночной площади вели прямую агитацию против коммуны.

Я входил в роль. Туман стоял перед глазами, и я был в том состоянии, которое можно определить как сверхъестественный экстаз. В таком состоянии, думаю я, фанатики шли на священную войну.

Я подошел к окну и сказал:

— Ведите!

...В кабинет ввалилась целая толпа монашенок. Я не видел ее, но я ее чувствовал. Я смотрел на город. Вечерело.— Я не оборачивался долго, я смаковал: всех их через два часа не будет! — Вечерело. — И вновь предгрозовые молнии исполосовывали развешанные передо мною картины. На далеком горизонте, за кирпичным заводом, поднимались дымки. Версальцы наседали зло и яростно — передают по телефону. На пустынных трактах появляются обозы и поспешно отступают на север. В степи стоят, как далекие богатыри, кавалерийские сторожевые отряды.

Тревога.

В городе лавки заколочены. Город мертвый и уходит в дикую средневековую даль. На небе вырастают звезды и проливают на землю зеленый болотный свет. Потом гаснут, исчезают.

Но мне надо спешить! За моей спиной группа монашенок! Ну да, мне надо спешить: в подвале битком набито.

Я решительно поворачиваюсь и хочу сказать непреложное:

— рас-стре-лять!..

. . . .

но я поворачиваюсь и вижу — прямо передо мною стоит моя мать, моя печальная мать с глазами Марии.

Я в тревоге метнулся в сторону: что это: галлюцинация? Я в тревоге метнулся в сторону и вскрикнул:

— Ты?

И слышу из толпы женщин печальное:

— Сын! мой мятежный сын!

Я чувствую, что вот-вот упаду. Мне дурно, я схватился рукой за кресло и поник.

Но в тот же миг хохот грохотом покатился, ударился о потолок и затих. Это доктор Тагабат:

— «Мама»?! Ах ты чертова кукла! Титьку захотел? «Мама»?!.

В мгновение ока я опомнился и схватился за маузер.

— Черт! — и бросился на доктора.

Но тот смерил меня холодным взглядом и сказал:

— Ну, ну, тише, предатель коммуны! Сумей расправиться и с «мамой» (он как-то жестко сказал: «с мамой»), как умел расправляться с другими.

Я молча отступил от доктора.

...Я остолбенел. Бледный, чуть живой, стоял я перед безгласной толпой монашенок, с растерянным видом, словно затравленный волк. (Это я видел в гигантское трюмо, что висело напротив.)

Так! — схватили наконец и другой край моей души! Я уже не уйду на окраину города преступно прятать себя. И теперь у меня только одно право:

— никому, никогда и ничего не говорить о том, как раскололось мое собственное «я».

И я не потерял головы.

Мысли резали мой мозг. Что я должен делать? Неужели я, солдат революции, ошибусь в сей ответственный момент? Неужели я покину пост и позорно предам коммуну?

...Я стиснул челюсти, угрюмо взглянул на мать и резко сказал:

— Всех в подвал. Я теперь буду здесь.

Однако не успел я докончить фразу, как снова кабинет задрожал от хохота.

Тогда я обернулся к доктору и отчеканил:

— Доктор Тагабат! Вы, очевидно, забыли, с кем имеете дело? Не желаете ли и вы в штаб Духонина... с этой сволочью! — я махнул ру-

кой в ту сторону, где стояла моя мать, и молча вышел из кабинета.

...За своей спиной я не услышал ни слова.

. . . .

...От имения зашагал я, словно пьяный, в никуда, блуждая в сумраке предгрозового душного вечера. Канонада нарастала. Опять вспыхивали дымки над далеким кирпичным заводом. За курганом грохотали броневики: решительный поединок шел меж ними. Вражьи полки яростно теснили повстанцев. Пахло расстрелами.

Я шел в никуда. Мимо меня проходили обозы, пролетали кавалеристы, грохотали по мостовой тачанки. Город окутывала пыль, и вечер не разрядил обойму предгрозья.

Я шел в никуда. Без мысли, с бессмысленной пустотой, с тяжелым грузом на своих придавленных к земле плечах.

Я шел в никуда.

III

...Да, это были невыносимые минуты. Это была мука. — Но я уже знал, как я поступлю.

Я знал и тогда, когда ушел из имения. Иначе я не вышел бы так быстро из кабинета.

...Ну да, я должен быть последовательным!

...И ночь напролет я рассматривал дела.

Тогда на протяжении нескольких беспросветных часов, через одинаковые промежутки, вспыхивали короткие и четкие выстрелы:

— я, главковерх черного трибунала коммуны, исполнял свой долг перед революцией.

...И разве моя это вина, что образ моей матери не оставлял меня в эту ночь ни на минуту?

Разве это моя вина?

. . . .

...В обед пришел Андрюша и бросил угрюмо:

— Слушай! Разреши выпустить ее!

Я:

— Кого?

— Маму твою!

Я:

(молчу).

Потом чувствую, что мне до боли хочется смеяться. Я не выдерживаю и хохочу на все комнаты.

Андрюша сурово смотрит на меня. Его решительно нельзя узнать.

— Слушай. Зачем эта мелодрама?

Моему наивному Андрюше хотелось быть на этот раз проницательным. Но он ошибся.

Я (грубо):

— Проваливай!

Андрюша побледнел и на этот раз.

Ах, этот наивный коммунар совершенно ничего не понимает. Он буквально не знает, зачем эта бессмысленная, звериная жестокость. Он ничего не видит за моим холодным деревянным обличьем.

Я:

— Звони по телефону! Узнай, где враг!

Андрюша:

— Слушай!..

Я:

— Звони по телефону! Узнай, где враг!

В этот момент над имением, шипя, пронесся снаряд и невдалеке разорвался. Зазвенели окна, и эхо покатилось по гулким пустым княжеским комнатам.

В трубку говорят: версальцы нажимают, уже близко: в трех верстах. Казачьи разъезды показались у станции: повстанцы отступают. — Кричит дальний вокзальный рожок.

...Андрюша выбежал. За ним и я.

...Дымились дали. Опять разгорались дымки на горизонте. Над городом тучей стояла пыль. Солнце — медь, и неба не видно. Только мутные пыльные облака с гор мчались над далеким небосклоном. Вздымались с дорог фантастические бурунчики, уходили ввысь, расчленяли просторы, перелетали через селения и вновь мчались и мчались. Можно было бы сказать: околдованное предгрозье.

...А здесь бухали пушки. Летели кавалеристы. Отходили на север тачанки, обозы.

...Я забыл обо всем. Я ничего не слышал, и сам — не помню, как очутился в подвале.

Со звоном разорвался возле меня снаряд и рассыпал шрапнель, и на дворе стало пустынно. Я подошел к двери, и только лишь хотел взглянуть в небольшое окошечко, где сидит моя мать, как кто-то взял меня за руку.

Я обернулся —

— дегенерат.

— Вот так стража! Все поразбежались!.. хи... хи...

Я:

— Вы?

Он:

— Я? О, я! — и постучал пальцем по двери.

Да, это был верный пес революции. Он будет стоять на часах и не под таким огнем! Помню, я подумал тогда:

— «это сторож моей души», и, не думая ни о чем, побрел на городские пустыри.

. . . .

...А перед вечером южные окраины оказались заняты. Следовало отступать на север, оставить город. Тем не менее повстанцам дан приказ продержаться до ночи, и они стойко умирали на городских стенах, на подступах, на раздорожье и в безмолвных закоулках подворотень.

...А что же я?

...Шла спешная эвакуация, отчетливо слышалась перестрелка.

И я окончательно сбился с ног!

Жгли документы. Отправляли партии заложников. Забирали последние контрибуции...

...Я окончательно сбился с ног!

...Но неожиданно выплывало лицо моей матери, и я снова слышал печальный и непреклонный голос.

Я сбрасывал со лба волосы и расширенными глазами смотрел на городскую башню. И опять вечерело, и опять на юге пламенели селения.

...Черный трибунал коммуны готовится к побегу. Нагружают подводы, тащутся обозы, спешат на север толпы. Только наш один-разъединственный броневик застывает в чаще бора и сдерживает с правого фланга вражеские полки.

...Андрюша куда-то исчез. Доктор Тагабат спокойно сидит на диване и пьет вино. Он молча следит за моими приказами и нет-нет да и поглядывает иронически на портрет князя. Однако этот взгляд я ощущаю как раз на себе, и он меня нервирует и тревожит.

...Солнце зашло. Умирает вечер. Подступает ночь. С городских

стен перебегают к осаждающим, и пулемет монотонно стучит вслед. Пустынные княжеские комнаты замерли в ожидании.

Я смотрю на доктора, и не выношу этого вглядывания в древний портрет.

Я резко говорю:

— Доктор Тагабат! Через час я должен ликвидировать последнюю партию осужденных. Я должен принять отряд.

Тогда он с иронией и безразличием:

— Ну, и что же? Хорошо!

Я волнуюсь, а доктор ехидно смотрит на меня и ухмыляется. — О, доктор, определенно, понимает, в чем дело! Ведь в этой партии осужденных моя мать!

Я:

— Сделайте одолжение, уйдите из комнаты!

Доктор.

— Ну, и что же? Хорошо!

Тогда я не выдерживаю и прихожу в ярость:

— Доктор Тагабат! В последний раз предупреждаю: не шутите со мной!

Но голос мой срывается, и у меня булькает в горле. Я порываюсь схватить маузер и тут же покончить с доктором, но внезапно ощущаю себя жалким, никчемным и чувствую, что меня покидают остатки воли. Я сажусь на диван и жалобно, как побитый, чуть живой пес, смотрю на Тагабата.

...Однако минуты уходят. Надо отправляться.

Я снова беру себя в руки и в последний раз смотрю на надменный портрет княгини.

Тьма.

...— Конвой!

Караульный вошел и доложил:

— Партию вывели. Расстрел намечен за городом: опушка бора.

...Из-за дальних отрогов выныривал месяц. Потом плыл по тихим голубым потокам, отбрасывая лимонные брызги. В полночь пронзил зенит и остановился над бездной.

...В городе шла энергичная перестрелка.

...Мы шли по северной дороге.

Я никогда не забуду этой безмолвной процессии — темной толпы — на расстрел.

Позади грохотали тачанки.

В авангарде — конвойные коммунары, дальше толпа монашенок, в арьергарде я, еще конвойные коммунары и доктор Тагабат.

...Впрочем, нам попались сущие версальцы: за всю дорогу ни одна из монашенок не промолвила и слова. Истые фанатички.

Я шел по дороге, как тогда — в никуда, а сбоку от меня брели сторожа моей души: доктор и дегенерат. Я смотрел на толпу, но на ее месте ничего не видел.

Зато я чувствовал:

— там шла моя мать с опущенной головой. Я ощущал: пахнет мятой. Я гладил мамину милую голову с налетом серебристой седины.

Но неожиданно передо мной вырастала загорная даль. Тогда мне снова до боли хотелось упасть на колени и молитвенно смотреть на мохнатый силуэт черного трибунала коммуны.

...Я сжал голову и шел по мертвой дороге, а сзади меня грохотали тачанки.

. . . .

Вдруг я отворачиваюсь: что это? галлюцинация? Неужели это голос моей матери?

И снова я признаю, что я никчемный человек, и признаюсь: где-то под сердцем тошно. И не рыдать, а плакать крохотными слезами хотелось мне — так, как в детстве, на теплой маминой груди.

И вспыхнуло:

— неужели я веду ее на расстрел?

Что это: действительность или галлюцинация?

Но это была действительность: подлинная, житейская действительность — хищная и жестокая, как стая голодных волков. Безысходная действительность, неотвратимая, как сама смерть.

...Но, может, это ошибка?

Может, надо сделать по-другому?

Ах, ведь это боязливость, малодушие. Есть же известное правило: errare humanum est. Чего же тебе? Ошибайся! и ошибайся именно так, а не так!.. И какие могут быть ошибки?

Воистину: это была действительность, как стая голодных волков. Но это была и единственная дорога к загорным озерам неведомой, прекрасной коммуны.

...И тогда я горел в огне фанатизма и чеканил шаги по северной дороге.

..Молчаливая процессия подходила к бору. Я не помню, как расставляли монашенок, я помню:

ко мне подошел доктор и положил мне руку на плечо:

— Ваша мать там! Делайте что хотите!

— Я взглянул:

— от толпы отделилась фигура и тихо одиноко пошла к опушке бора.

...Месяц стоял в зените и висел над бездной. В зелено-лимонную безвестность простиралась мертвая дорога. По правую сторону виднелся сторожевой отряд моего батальона.

И в этот момент над городом поднялся сплошной огонь, — перестрелка снова била тревогу. Отходили повстанцы, — враг заметил это. — Сбоку разорвался снаряд.

...Я вынул из кобуры маузер и поспешил к одинокой фигуре. И в тот же миг, помню — вспыхнули короткие огни: так кончали с монашенками.

И тогда же помню —

из бора в тревогу ударил наш броневик. — Загудел лес.

Метнулся огонь — раз,

два —

и еще — удар! удар!

...Напирают вражьи полки. Надо спешить. Ах, надо спешить!

Но я иду и иду, а одинокая фигура моей матери все на том же месте. Она стоит, воздев руки, и печально смотрит на меня. Я тороплюсь к этой заколдованной невообразимой опушке бора, а одинокая фигура все на том же месте, все на том же месте.

Вокруг — пусто. Только месяц льет зеленый свет из пронзенного зенита. Я держу в руке маузер, но моя рука слабеет, и я вот-вот заплачу крохотными слезами, как в детстве на теплой маминой груди. Я порываюсь крикнуть:

— Мать! Говорю тебе: иди ко мне! Я должен убить тебя.

И режет мне мозг невеселый голос. Я опять слышу, как мать говорит, что я (ее мятежный сын) совсем замучил себя.

...Что это? Неужели опять галлюцинация?

Я резко поворачиваю голову.

Да, это была галлюцинация: я давно уже стоял на пустынной опушке бора напротив своей матери и смотрел на нее.

Она молчала.

...В лесной чаще заревел броневик. Взлетали огни. Заходила гроза. Враг пошел в атаку. Повстанцы отходят.

...Тогда я, в обмороке, охваченный пожаром какой-то немыслимой радости, закинул руку на шею матери и прижал ее голову к своей груди. Потом приставил маузер к виску и нажал спуск.

Словно срезанный колос поникла она у меня на руках. Я положил ее на землю и дико оглянулся. — Вокруг было пустынно. Только сбоку чернели теплые трупы монашенок. — Недалеко грохотали орудия.

...Я засунул руку в карман и тут же вспомнил, что забыл что-то в княжеских покоях.

«Вот дуреньl» — подумал в.

...Потом вскинулся:

— где же люди?

Ну да, мне нужно спешить к своему батальону! — И я бросился на дорогу.

Но не сделал я и трех шагов, как что-то меня остановило.

Я вздрогнул и побежал к трупу матери.

Я стал перед ним на колени и пристально всматривался в лицо. Но оно было мертвым. По щеке, помню, текла темной струйкой кровь.

Тогда я поднял эту безысходную голову и жадно припал губами к белому лбу.— Тьма.

И вдруг слышу:

— Ну, коммунар, подымайся! Пора в батальон!

Я взглянул и увидал:

— передо мной снова стоял дегенерат.

Да, я сейчас. Я сейчас. Да, мне давно пора! — Тогда я поправил ремень маузера и снова бросился на дорогу.

...В степи, как далекие богатыри, стояли конные повстанцы. Я бежал туда, сжимая голову.

...Нависала гроза. Откуда-то пробивались предрассветные пятна. Тихо умирал месяц в пронзенном зените. С запада надвигались тучи. Отчетливо слышалась частая перестрелка.

. . . .

...Я остановился посреди мертвой степи:

— там, в далекой безвестности, горели покойные озера загорной коммуны.

«Літературна Україна», 8.12.88.
С украинского.
Перевод статьи и новеллы Михаила КРАПИВИНА.

* * *

Ярослав Антонович Береговой присутствовал на учительском съезде в качестве гостя. Инженер-строитель по образованию, он в свое время сооружал объекты для самых разных отраслей народного хозяйства, преподавал в техникуме, работал заместителем генерального директора Киевского научно-производственного объединения «Большевик» по строительству, заместителем директора академического научно-технического комплекса «Институт электросварки им. Е. О. Патона» Украины. Более тридцати лет увлеченно изучает отечественную и зарубежную педагогическую литературу, прогрессивный педагогический опыт, работает над проблемами совершенствования, перестройки организационной структуры управления народным образованием и педагогической наукой, активно пропагандирует, поддерживает начинания педагогов-новаторов. Еще в 1980 году он разработал и предложил принципиально новую генеральную схему управления просвещением, отдельные элементы которой нашли отражение в директивных документах и осуществляются на практике (объединение Минпроса, Минвуза и Госпрофобра в одно ведомство — Госнаробраз; создание педагогических объединений). В 1988 году выдвигался в члены-корреспонденты АПН СССР по специальности «организация и экономика образования: прогнозирование, планирование, управление». Однако убедившись, что вокруг выборов в педагогическую академию раздут нездоровый ажиотаж, устроена настоящая «давка», добровольно отказался от участия в них.

«Взяв за основу наследие советского педагога С. Т. Шацкого, его Первой опытной станции и 10 других опытных станций Наркомпроса РСФСР, а также современный опыт Полтавского и Томского пединститутов, НИИпедагогики Грузии, школы-комплекса села Халдан в Азербайджанской ССР и др., Я. А. Береговой теоретически обосновал необходимость создания научно-производственных педагогических объединений (НППО)», — отмечалось в представлении сибирских ученых.

Береговой является членом оргкомитета по созданию творческого Союза учителей СССР и заместителем председателя оргкомитета Союза учителей Украины. Он автор многих публикаций по проблемам прогрессивного педагогического опыта, демократизации, перестройки нарообраза и педакадемии. В «Нашем современнике» (№ 2 за 1988 год) опубликована его статья «Основа основ» — о причинах застоя отечественной педагогической науки и путях выхода ее из кризиса.

В предлагаемой статье Я. А. Береговой рассказывает о своей неудавшейся попытке поднять на учительском съезде важнейшие проблемы демократизации, перестройки управления народным образованием.

Ярослав БЕРЕГОВОЙ

НЕ СКАЗАННОЕ СЛОВО

ЭТО СЛУЧИЛОСЬ на заседании секции «Демократизация и управление образованием», на которое я изрядно опоздал, всю ночь до утра готовясь к выступлению. Считал, что на заседание этой важнейшей секции придет много учителей, директоров школ, представителей общественности: ведь проблемы, которые предстояло обсудить, самые жгучие, больные в нашем народном образовании. Именно для такой аудитории и готовил я свое выступление. Однако на поверку оказалось, что в зале сидели почти сплошь «управленцы»: республиканские министры или их замы, начальники областных (краевых), городских, районных управлений и отделов наробраза, другие начальники от педагогики. В президиуме — председатель Госнаробраза СССР Г. А. Ягодин, еще несколько ответственных лиц, председатель секции Ю. П. Азаров.

Давно хотелось поделиться с учительством своими наблюдениями, выводами, добытыми практическим опытом по демократизации и перестройке управленческих структур. Опыт такого рода накапливал, работая в строительстве, в промышленности, в науке, участвуя в перестройке оргструктур управления предприятий и научных учреждений, включая педагогические, наблюдая такую перестройку непосредственно в министерствах и ведомствах, участвуя в создании первых в стране производственных и научно-производственных объединений, инженерных и межотраслевых центров. Хотелось на

живых примерах убедить педагогов, что без радикальной демократизации, коренной реформы, безнадежно устаревшей, реакционной, по существу, организационной структуры управления народным образованием, преодолеть продолжающийся застой, сдвинуть с мертвой точки перестройку в просвещении невозможно в принципе.

«Советскому просвещению традиционно и чудовищно не везет по части реформ, перестроек, — писал я, готовясь к выступлению. — Ленинский план переустройства на социалистических началах доставшейся нам от царизма просвещенческой системы, блестящие, получившие всемирное признание актуальные и сегодня достижения советской педагогики 20-х годов были варварски уничтожены во времена сталинской диктатуры.

Реформа школы периода хрущевской оттепели была похоронена в годы брежневского застоя, когда все незаурядное, яркое, талантливое в педагогике безжалостно преследовалось, подавлялось. И если, учитывая этот печальный опыт, нынешний съезд не выяснит, почему начатая в апреле 1984 года и как бы предвосхитившая перестройку советского общества очередная реформа школы до сих пор безнадежно буксует, не может выбраться из застойной трясины, то он не выполнит основной своей задачи.

Ведь В. И. Ленин считал, что судьба любой страны, нации, судьба мира и человечества в конечном счете всецело зависит от того, в чьих руках находятся школа, учитель, детство и юношество — в руках прогресса или в руках реакции. История на примерах сталинской, гитлеровской и маоцзэдуновской диктатур и порожденных ими систем просвещения убедительно подтвердила прозорливость Владимира Ильича. При всем этом мы должны иметь мужество признать, что и сегодня наша школа, учительство, воспитание подрастающего поколения пока еще целиком находятся в плену застоя. И в этом несомненно таится самая большая угроза перестройке, обновлению, духовному возрождению нашего социалистического общества, хотя многие этого не осознают в полной мере.

В чем главная причина застоя в нашем народном образовании?

Что касается нашего общества в целом, КПСС уже давно вскрыла, назвала эту причину: это сталинско-брежневская административно-командная система управления, ломка, перестройка которой стала сегодня главной партийной заботой, повседневной работой. В просвещении эта административно-командная система приобрела наиболее громоздкие, уродливые формы. Если в подавляющем большинстве отраслей народного хозяйства она ограничилась, как правило, двумя-тремя управленческими структурами, то в просвещении возвела себе пирамиду из шести (!) управленческих этажей: Госкомнаробраз СССР, Миннаробраз республики, обл(край)оно, гороно, районо и в самом низу, в полуподвальном шестом этаже, приютились школы, до- и внешкольные учреждения, — непосредственно само педагогическое производство, постоянно испытывающее на себе всю мощь давления расположенных над ним пяти этажей власти.

Но и это еще не все. И сегодня, в период перестройки, гласности, ломки глухих заборов вокруг зон, закрытых для критики, пришла пора, считаю, сказать и о самом верхнем, заоблачном, седьмом этаже наробразовской управленческой пирамиды, на котором расположился партаппаратный управленческий персонал, сосредоточивший в своих руках все рычаги и нити управления наробразом и несущий поэтому всю полноту ответственности за то плачевное, кризисное состояние, до которого он довел всю систему образования.

Речь, как вы поняли, идет об Отделе науки и учебных заведений ЦК КПСС, его секторе школ и аналогичных подразделениях в аппарате ЦК союзных республик, обкомов, крайкомов, горкомов и райкомов. Весь застойный период этот отдел возглавлял печальной памяти Трапезников, истинные масштабы вреда, нанесенного непосредственно им педагогической науке, просвещению, идеологии, трудно даже и определить. Впрочем, как и его помощников: Щербакова, Стрижове, Абакумова, Кожевникова, Миронова. Некоторые из них и сегодня хранят и воплощают его заветы в «перестройку» наробраза. Понятно, что только родственные собственному образу и подобию кадры разместил Трапезников на этом седьмом этаже. Не то что деловых, профессиональных и нравственных качеств этих кадров не знало никогда наше многочисленное и многострадальное учительство, ибо в такой заоблачной, закрытой выси они от них прятались, но оно и фамилий их отродясь не слыхивало. В лучшем случае ему становились известны фамилии и дела назначаемых руководящих деятелей просвещения — Прокофьева, Коротова, Кондакова, Щербакова, Веселова, Косоножкина, Васадзе, Кезиной, Зверева, Бодалева, Хрипковой, Филонова, Мальковой, Лихачева — из критических материалов, которые средства информации из года в год обрушивают на их головы за неблаговидные, непристойные дела. Обрушивают совершенно безрезультатно: большинство из них по-прежнему процветает как ни в чем не бывало. Курировали этот седьмой партаппаратный этаж, каждый в свое время, Суслов, Черненко, Алиев, Зимянин. Развал, кризис народного образования — вот реальные плоды их руководящей деятельности.

И было бы просто смешно, по-детски наивно надеяться на серьезные перемены в просвещении, в воспитании наших детей, пока эта многоэтажная управленческая пирамида будет оставаться незыблемой, пока в ней, и прежде всего на седьмом ее этаже, не начнется подлинная, коренная перестройка.

Однако ни в содержательном, интересном докладе Г. А. Ягодина, ни в выступлениях делегатов в первый день работы съезда обо всем этом не сказано ни единого слова. Ни слова не сказано об этом пока и на нашей секции».

Здесь я прерву это свое воображаемое выступление, чтобы процитировать из другого, уже после наробразовского съезда, прозвучавшего с высокой трибуны:

«...Дело в нашей административно-командной системе. Мы то и дело спорим, ломаем копья вокруг фигуры Сталина и... не замечаем, не отдаем себе отчета в том, что мы до сих пор по уши сидим в сталинизме. Это — система, созданная одним человеком для самого себя. Да, вся эта пирамида была подчинена одному человеку, снизу вверх она никогда не действовала и действовать не может. Она действует только сверху вниз». Так сказал писатель С. Залыгин на январском (1989 г.) пленуме правления СП СССР. Хорошо, верно сказал. Эта система действительно работает исключительно сверху вниз. Она оборвала обратные связи, не пропускает информацию снизу вверх, «уничтожая ее носителей» (Винер), никого не видит, не слышит внизу, ибо такова ее природа, такой она задумана и построена. Семиэтажная наробразовская управленческая махина всем своим чудовищным весом давит на нижний школьный этаж, но затыкает при этом уши, чтобы не слышать стоны, вопли, проклятия, рождающиеся внизу под ее тяжестью. Уж где-где, а в народном образовании мы действительно и сегодня «по уши сидим в сталинизме» и сами себе боимся в этом признаться.

Вновь вернусь к тексту своего несостоявшегося выступления:

«И все же целостная картина структурной организации нашего народного образования будет неполной, если ограничиться только общей схемой строения управляющей им пирамиды. Эту картину должна дополнить та поистине уникальная, сохранившаяся сегодня, пожалуй, только в просвещении раздробленность, изолированность сил и частей его составляющих: школы, ПТУ отделены, изолированы от семьи, до- и внешкольных учреждений; педучилища, институты усовершенствования учителей, пединституты, как, впрочем, и все остальные вузы, — друг от друга и от тех же ПТУ, школ, семьи и до- и внешкольных учреждений; педагогическая наука тщательно отгорожена, отсечена от всего перечисленного выше, то есть от «педагогического производства», от большой науки и в результате — от самой жизни с ее многочисленными ежедневными проблемами, она давно замкнулась сама в себе, сама себе служит, на себя работает, обеспечивая этой самоизоляцией свою потрясающую бесплодность. Сверх того, педнаука рассечена на четыре самостийные, изолированные группировки: АПН СССР и ее НИИ; НИИ Миннаробразов республик, научные педагогические кадры педвузов, других высших и средне-специальных учебных заведений; группа малочисленных ученых, работающих непосредственно в школе, ПТУ, вне- и дошкольных учреждениях, и неостепененных учителей-новаторов.

Глядя теперь на поглотивший наробраз с головой беспросветный организационно-структурный хаос, плотно прикрытый от посторонних глаз колпаком многоэтажной управленческой пирамиды, невольно испытываешь озноб беспомощности, уныния, в бессилии опускаешь руки. Но в ответ на твои стенания по этому поводу наробразовские управленцы с презрительной миной на пышущем самодовольством лице возразят гневно: о какой перестройке школы вы толкуете, если мы имеем три миллиона серых учителей, не желающих никаких перемен и ни на какую перестройку неспособных?! Нужно сначала заменить нынешний учительский корпус новым перестроечным поколением учителей, а уж потом браться за перестройку. Но учтите: в отборе и подготовке будущих учителей педучилища, педвузы, университеты ничего не меняют, и новых перестроечных учительских поколений, а следовательно, и самой перестройки, придется вам немного подождать.

И тогда кажется, что путы кризиса уже вообще не разорвать, выхода нет, кругом одни тупики. Да...

И все же положение наробраза не так уж безвыходно, безнадежно, как его пытаются представить некоторые управленцы.

Прежде всего нужно отвергнуть побасенку о трехмиллионной учительской серости как лживую, циничную, *выдуманную теми, кто унизил, растоптал общественный престиж учительства, довел его до нищеты, обездолил, нравственно и интеллектуально оскопил, теми, кто теперь пытается свалить свою вину, ответственность за развал просвещения на учительство.* Эта побасенка глубоко лжива, цинична и потому, что по ее логике следует однозначный вывод: перестройку экономики, сельского хозяйства, культуры нашей страны можно начать лишь после замены новым нынешнего «серого поколения» рабочих, крестьян, интеллигенции, то есть после «замены» всего советского народа, доведенного в большинстве своем до такого же бесправного состояния, как и народный учитель.

Но подлинная правда, надежда и сила перестройки в том и состоят, что все ужасы сталинско-брежневского мракобесия так и не смогли уничтожить в народе и его учительстве совесть, разум, душу, готовность к борьбе за достойную, счастливую жизнь. Перестройка и в обществе и в его просвещении давно уже имела бы несравненно бóльшие достижения, чем имеющиеся, если бы не те многочисленные чиновники, которые всеми силами мешают преобразованиям, которые еще в застойные времена взгромоздились на шею народа и не желают с нее слезать, путаются у него в ногах, держат за руки, за горло, рот затыкают.

Если говорить об учительстве в целом, то хорошо известно: во все времена не бывало такого, чтобы педагогический корпус хоть одной страны состоял из одних только ярких личностей, одних гениев. Так не бывает и никогда не будет. У всех выдающихся педагогов прошлого и настоящего — Оуэна, Песталоцци, Коменского, К. Ушинского, Л. Толстого, Шацко-

го, Макаренко, Сухомлинского, Корчака, Ткаченко, Амонашвили, Щетинина, Зязюна, Шеюбова, Кубракова — педагогические коллективы состояли и состоят из обычных учителей, тех, которые, как говорится, оказываются в данный момент под рукой. Все дело в том, что талантливые педагоги создают в своих коллективах условия свободы для творчества, энтузиазма, поиска, демократии, человечности, сотрудничества и любви. Для серости такие условия, как известно, невыносимы, и она чаще всего покидает такой коллектив. Тем временем педагог-новатор тщательно, прежде всего по нравственным и деловым качествам, подбирает себе новых сотрудников. В творческой атмосфере происходит естественный отсев не пригодных к педагогическому труду учителей, а способные раскрывают в ней свои лучшие профессиональные и человеческие качества.

Учитель, впрочем, как и каждый человек, есть, если можно так выразиться, неимоверно сложный психический инструмент, в котором туго сплелось и хорошее, и дурное. И ведет он себя каждый раз в прямой зависимости от того, какие струны его души затрагивает умелым смычком лидер, руководитель: затронет лучшие, и он отзовется добром; растревожит злые, и он злом же на это ответит.

Так что никакой массовой «серости» учителей, рабочих, крестьян, интеллигенции, народа на самом деле нет, и не она грозит перестройке. Ей угрожают лишь те, кто эту «серость» выдумал, кто изо всех сил пытается удержать сталинско-брежневскую узду, намордник на перестроечном порыве, энтузиазме народной массы, на ее стремлении к правде, демократии, справедливости.

И достаточно сорвать эти узду, намордник с наших педагогов, дать возможность навсегда избавиться от страха перед вышестоящими руководителями, чиновниками проверяющими, расправить спину, вздохнуть полной грудью, дать свободу творчества, предоставить право путем тайного голосования избрать 140 тысяч достойных по своим деловым и человеческим качествам директоров школ, 200 ректоров педвузов, 600 ректоров других готовящих педагогов вузов, предоставить для начала только эти права — и перестройка в наробразе, уверен, забурлит, двинется вперед.

Только кто же все это даст, кто позволит, если просвещение по сей день задыхается под шестиэтажным управленческим колпаком, под которым педагогам ни разогнуться, ни развернуться толком нельзя?

А может, напрасно мы обрушились с критикой на нашу систему управления народным образованием? Может быть, именно вот такая многоэтажная управленческая пирамида нам и нужна в наше непростое время всеобщего среднего образования? Веление времени, так сказать.

Если мы заглянем в историю отечественного просвещения, то узнаем, например, что до революции в нем было всего три управленческих этажа: министерство народного просвещения — учебные округа — школы, училища, гимназии, вузы. Вот и все тогдашнее «педагогическое производство». Узнаем также, что уже в 20-е годы А. В. Луначарский горестно сокрушался: численность чиновников в руководимом им Наркомпросе возросла по сравнению с царским минпросом в 15 раз. Если такое сравнение было бы произведено сегодня, то его результаты наверняка потрясли, ошеломили бы наше воображение. Особенно если учитывать, что появившиеся при Советской власти самостоятельные управленческие единицы: Минпрос, Минвуз, Госпрофобр, Министерство культуры и Академия наук — в царском министерстве просвещения находились в едином ведомстве. Правда, и в Наркомпросе эти ныне самостоятельные ведомства были тоже слиты воедино.

Составляющие Наркомпрос структурные части стали усиленно разбухать и выделяться в самостоятельные, жестко изолированные от «альма матер» ведомства в тридцатые и во все последующие годы, когда новые министерства и ведомства росли, словно грибы после дождя. Это означало бурное строительство сталинской административно-командной системы, при которой под неусыпный контроль и диктат стремились поставить каждый шаг, маневр каждого предприятия и учреждения, каждый шаг, поступок, мысль каждого человека, гражданина — всего народа, когда решение не только крупных общегосударственных и региональных проблем, но и детальнейших, мельчайших вопросов повседневной жизни узурпировалось верхними эшелонами власти. Все это потребовало рождения все новых и новых полчищ чиновников и контролеров.

Особо зловещий, целенаправленный характер все это приобрело, особенно старательно насаждалось в народном образовании, уродуя, ломая учительские и детские, юношеские души, сознание, внедряя в них непреодолимый страх, чинопочитание, безропотное послушание. Был учрежден специальный корпус бездушной, остервенело жестокой школьной инспекции, которую учительство окрестило сталинской школьной опричниной. Думаю, что именно с тех пор в народном сознании прочно укоренилось перемешанное со страхом почти святое почитание министерств и ведомств и их чиновников, которые по сей день умело используют в своих целях это чинопочитание, особенно в школе, просвещении.

Тем не менее перестройка требует от нас привыкать к мысли, что в демократическом, цивилизованном правовом государстве с высоким уровнем образованности его граждан, которое мы намерены построить, вовсе не нужна такая прорва министерств, ведомств и чиновников, особенно с той гипертрофированной централизацией узурпированных ими у народа функций, которые они без его ведома и согласия над ним же и осуществляют. В правоте этого суждения легко убедиться на таком простом и общеизвестном примере.

Ни у нас, ни за рубежом никогда не было и нет министерства семьи. Но при этом около 70 миллионов советских се-

мей, не организованных министерством, на совершенно ничтожном проценте пахотной земли, далеко не лучшего качества, производят 40—70 процентов общегосударственного количества овощей (включая картошку), фруктов, молока, яиц, мяса, шерсти. При этом в семейном производственном секторе почти ничего из произведенного не пропадает, не гниет, не портится, не разворовывается, хотя и нет охраны. Здесь нет ежегодных напряженных «битв за урожай», нет субботников, авралов, совещаний, нет уполномоченных, шефов, нет соцсоревнования, нарядов, норм выработки, нет лозунгов, плакатов и тому подобной мишуры, сюда не посылают студентов и школьников спасать урожай, не заглядывают систематически представители райкомов, обкомов, Советов. При этом семейному производству никто не дает, не выделяет «сверху» техники, горючего, кормов, удобрений, ему не помогают никакая наука, никакие ведомства.

Как же при всем этом семейный сектор все же умудряется производить ежегодно добрую половину всей той сельхозпродукции, что производят все вместе взятые колхозы и совхозы страны, — вот неразгаданная тайна века для наших управленцев, социологов, экономистов.

Ежегодно наши семьи (более 60 млн. семей) потребляют огромную часть добываемого в стране национального дохода. Потребляют без бухгалтерского учета и контроля, без накладных, счетов, денежных ведомостей, без Минфина и его инструкций, без ОБХСС, народного и партийного контроля — на одном лишь безграничном доверии друг к другу членов семей.

Из приведенного примера вовсе не следует, что министерства, ведомства, управленцы, чиновники вовсе не нужны. Безусловно нужны, но только в значительно меньшем количестве и принципиально ином качестве, сегодня они нужны для решения принципиально новых задач.

Кстати, нет ничего хорошего и в том, что в нашем общественно-государственном устройстве вообще нет никаких органов, обязанность которых оказывать семье всестороннюю регулярную помощь, и прежде всего помощь психолого-педагогическую. И особенно сегодня, когда семья впервые в своей истории испытывает социальные потрясения такого масштаба и глубины, что это грозит ей погибелью.

Разумно, рационально организованное, эффективно действующее управление, квалифицированные, знающие дело и преданные ему управленцы, чиновники, менеджеры позарез нужны и народному образованию, как, впрочем, и любой другой отрасли. Ведь эффективное управление — непременное условие, залог успешного развития и любой отрасли и общества в целом.

Пути перестройки управления и обществом и отраслями, включая народное образование, одни и те же. Они определены решениями XXVII съезда КПСС и XIX партконференции, а для просвещения уточнены решениями февральского (1988 г.) Пленума ЦК КПСС. Они предусматривают демонтаж сталинской административно-командной системы, резкое сокращение управленческого персонала, кардинальную демократизацию управления, передачу функций управления, касающихся основ жизнедеятельности предприятий и организаций, непосредственно трудовым коллективам, привлечение к управлению широких народных масс путем создания сети общественных органов самоуправления снизу доверху (советы трудовых коллективов и др.), передачу реальной власти Советам народных депутатов и т. п.

И первая задача здесь, безусловно, — ликвидировать командно-административную систему, в которой заложена главная опасность для перестройки — опасность реванша. Сталинская командно-административная пирамида имеет свой конструктивный секрет: она сооружена так, что пригодна лишь для лидеров сталинского типа, других она не приемлет, не считается с ними и вопреки всем их усилиям работает, действует сугубо в сталинском духе, в сталинском режиме. Если политика нового лидера входит в противоречие с этой ее конструктивной особенностью, система его не приемлет, вышибает из седла. Так произошло с Н. С. Хрущевым. Ему пришлось подать в отставку не потому, что он совершил ряд серьезных политических ошибок, экономических просчетов, как утверждают сегодня некоторые историки и публицисты, а главным образом потому, что его деятельность «не вписалась» в сталинскую командно-административную систему, оказалась опасной для нее. В то же время, как известно, вся деятельность Л. И. Брежнева представляла собой одну сплошную ошибку, дорого стоившую стране, прекрасно «вписалась» в сталинскую систему управления, и только потому он спокойно усидел на вершине пирамиды власти — до последних дней! Тогда как Хрущев был сброшен с этой вершины еще полный сил и энергии.

Точно так поступила административно-командная наробразовская управленческая машина с бывшим первым заместителем министра просвещения СССР А. А. Коробейниковым, который своими прогрессивными начинаниями и демократизмом явно не пришелся ей по вкусу. В результате он оказался вне системы просвещения.

Подобно бездумному автомату, сталинская административно-командная система безжалостно расправится с каждым прогрессивным лидером, если сама не будет окончательно демонтирована, ибо так она сработана своим генеральным конструктором, таково ее устройство, конструктивный расчет.

Но если политическая система в целом, организация государственного и партийного управления после XIX партконференции активно перестраиваются, то ничего подобного, к сожалению, не происходит в нашем народном образовании. Предложенные и в докладе председателя комитета, и в опубликованных для обсуждения предсъездовских документах Госнаробраза, да и в выступлениях делегатов меры демократизации просвещения (создание советов учебных заведений с привлечением общественности и учащихся, Всесоюзного сове-

та по наробразу, выборность руководителей учебных заведений и т. п.) хотя и полезны, нужны, несомненно сработают на демократизацию, но они явно ограничены, не затрагивают коренных, фундаментальных проблем управления просвещением, не касаются по существу семиэтажной пирамиды этого управления, ее седьмого этажа, организационной структуры и не приведут поэтому к серьезным переменам. Пока не будет разработан четкий план перестройки этой многоэтажки, и прежде всего ее партаппаратного этажа, пока этот план не будет реализован, кардинальных перемен в народном образовании, успешного преодоления свирепствующего в нем кризиса ожидать не приходится.

Как известно, согласно решениям XIX партконференции в оргструктуре партийного аппарата были произведены существенные перемены: сам аппарат значительно сокращен, упразднены отраслевые отделы, некоторые отделы объединены, созданы комиссии по основным направлениям партийной деятельности и т. п.

Изменения произошли и в системе партийного руководства народным образованием. Ликвидированы Отдел науки и учебных заведений ЦК КПСС и аналогичные отделы в ЦК союзных республик, в обкомах (крайкомах) и горкомах. Во вновь образованном Идеологическом отделе ЦК КПСС создан новый подотдел проблем обучения и воспитания молодежи, состоящий из четырех секторов: «общего среднего образования, профессионального образования, марксистско-ленинского образования и комплексных проблем воспитания молодежи». Эти преобразования позволили «уйти от ведомственного курирования системы учебных заведений... но в то же время дают возможность в полной мере сосредоточиться на задачах осуществления политики перестройки народного образования и воспитания молодежи» («Правда» от 20.02.89).

Новый подотдел возглавил В. В. Рябов, на которого общественность, учительство возлагают немалые надежды, будучи наслышаны о нем как о прогрессивном, мыслящем партийном работнике. К чести его, в новом подотделе не оказалось ни одного из ранее перечисленных мною бывших работников бывшего Отдела науки и учебных заведений.

Поэтому решение о разработке и осуществлении новой генеральной схемы управления народным образованием есть главная задача съезда и нашей секции. В основу этой схемы, по моему глубокому убеждению, должен быть заложен опыт структурной организации, управления и демократизации народного образования, наработанный великим русским советским педагогом С. Т. Шацким и Наркомпросом РСФСР в 20-е годы, а также широко известный современный опыт педагогов-новаторов страны И. А. Зязюна, Ш. А. Амонашвили, З. Г. Шеюбова и др. Вместо нынешней, семиэтажной, новая генсхема должна стать двух-трехзвенной при совершенно новых, соответствующих новому партийному курсу функциях партийного руководства просвещением — не давить, не командовать «сверху» безапелляционно и безответственно, а открыто, гласно возглавить перестройку наробраза, стать ее лидером, завоевав доверие учительства, просвещенцев, общественности, увлечь их за собой.

Предлагаю от нашей секции внести в резолюцию съезда пункт о разработке и реализации в лимитированные сроки новой генеральной схемы управления народным образованием».

* * *

Вот такую речь заготовил я в бессонную ночь с двадцатого на двадцать первое декабря минувшего года и намеревался произнести с трибуны секции «Демократизация и управление образованием».

Но, как говорится, человек предполагает, а судьба располагает. Не успел досказать первое предложение, как в зале раздались дружные, но явно не дружественные мне аплодисменты. Они нарастали с каждым моим новым словом и означали, что говорить здесь о том, что я хочу сказать, мне не дадут. Тем более что к залу единодушно присоединился и президиум: не задерживай, мол, очередного оратора, не мешай работать! Перекрывая аплодисменты, шум, успел сказать в микрофон всего четыре предложения из подготовленной речи, поблагодарил присутствующих за внимание и уступил трибуну следующему оратору.

Оставалось теперь попытаться передать свои предложения уже избранной комиссии по выработке решения заседания секции. Просмотрев их, комиссия поручила мне подредактировать свои предложения, что и начал было делать. Но президиум прислал «гонца», который потребовал, чтобы я немедленно покинул комиссию — «не нарушал демократию». Здесь, оказывается, было очень строго с демократией. И чтобы ее не нарушать, пришлось мне вернуться в зал несолоно хлебавши.

Время от времени ко мне подходили незнакомые люди, незаметно пожимали руку, тихонько подбадривали, советовали не расстраиваться. Хотя я и не очень расстроился, но одна мысль не давала покоя, вызывала недоумение: почему все-таки присутствующие в зале учителя не захотели меня слушать — ведь хотел сказать в конце концов про них и за них?! Ведь считал, что в зале собрались учителя...

Все прояснилось в перерыве. Узнал: и кто в зале собрался, и что здесь произошло до моего прихода. Оказывается, не дали закончить вступительное слово, согнали с трибуны и руководителя секции, доктора педагогических наук, профессора Ю. П. Азарова, открывавшего заседание секции. Азаров широко известен в стране (и за рубежом) как активный, последовательный борец с наробразовской рутиной, бюрократией, авторитаризмом, решительный поборник демократизации школы, защитник многих известных наших педагогов-новаторов. Этому посвящены его многочисленные выступления в печати, книги, популярные педагогические романы «Селенга», «Печора», «Белый свет» — по существу, дело всей его жизни. И та откровенная ненависть, которую бурно выразили ему собравшиеся в зале управленцы, была их реакцией на его борьбу против них. Они отстранили его от руководства секцией, хотя и неправомочны были это делать, поскольку ее руководителем его избрал оргкомитет съезда. Но здесь было очень «строго» с демократией.

Согнали с трибуны, устроив обструкцию, и известного педагога-новатора Н. П. Гузика. Ему и слова не дали сказать. С большим трудом удалось закончить свое без конца перебиваемое выступление выдающемуся ученому-новатору В. К. Дьяченко, встречу с которым в Останкине за несколько дней до съезда с огромным интересом смотрела вся страна.

Так вела себя — озорничала, потешалась над маститыми учеными — эта призванная внедрять в наробраз демократию, вершить его перестройку дружная семья управленцев-чиновников, спустившихся в этот зал со всех шести этажей управленческой пирамиды. Вот какой «свободолюбивый» дух царил на этой «самой демократической» секции учительского съезда.

А ведь это был еще, как говорится, не вечер. Главные события начались, когда приступили к обсуждению выработанного комиссией решения заседания секции. Председателю комиссии даже не дали спокойно дочитать проект решения, начали перебивать буквально с первых слов, а вскоре и вовсе перестали слушать, как, впрочем, и друг друга. Постепенно обсуждение сбилось на сплошной гвалт. Невольно подумалось: а что, если бы так вели себя наши школьники на уроках? — что бы они подумали, сказали нам, увидев этот балаган, учиненный на съезде начальниками их учителей?

Управленцы явно растерялись, оказались не готовыми выработать и вынести на обсуждение делегатов съезда какие-либо конструктивные предложения по демократизации и реформе управления учебными заведениями страны. Весь свой гнев они обрушили на Азарова: это он-де провалил работу секции, не подготовил заранее толкового решения (как уже говорилось, им не хватило выдержки, дисциплины выслушать не только досъездовские предложения группы Азарова, но и выработанные по их поручению предложения комиссии) и вынудил их самих ломать теперь головы над предложениями! Нужно доложить съезду, что секция не выполнила своих обязанностей не принимать никакого решения, и пусть Азарова накажут! Особо популярным было такое мнение: мы знаем классическую структуру управления: Госнаробраз, Миннаробраз республики, облоно, гороно, районо, школа; чем она плоха, зачем ее менять?! — сложившуюся поломаем, а что дадим взамен?

Пришла пора растеряться и президиуму. Что он и сделал.

Сидел я, наблюдал за происходящим в зале и захотелось вдруг крикнуть во все горло: где же телевидение, радио, пресса, куда они подевались?! Пусть бы показали это позорище всей стране, пусть бы она увидела, в чьи руки отдала своих детей и юношество, настоящее и будущее свое! Пусть бы страна ужаснулась!..

...Протиснулся в проходе к микрофону. Президиум сразу пришел в себя: тебе ведь уже раз заткнули рот, чего опять лезешь?! И вдруг в разных концах зала раздалось: пусть говорит!

И тогда я громко сказал в микрофон:

— Криками, митингом, который вы здесь затеяли, не решаются такие чрезвычайно трудные проблемы, как управление и его демократизация, да еще в такой сложнейшей отрасли, как просвещение. Не решаются они и за пару дней, и за месяц, в течение которых не мог решить их и Азаров с несколькими помощниками, зря вы на них нападаете.

С подобными проблемами столкнулись все министерства и ведомства страны при переходе от многозвенных на простые двух-трехзвенные структуры управления. И решали они все эти сложнейшие вопросы не криками и перебранкой, а единственно возможным способом: создавали коллективы квалифицированных разработчиков и проектировали новые генеральные схемы управления своих отраслей. Проектировали по году, а некоторые и дольше. Тем же путем, считаю, нужно идти и в просвещении, поскольку другого пути просто нет.

Поэтому вношу предложение, которое вы не дали мне высказать с трибуны, внести в комиссию по выработке решения заседания секции: поручить коллективу квалифицированных разработчиков спроектировать в обговоренные заранее сроки новую генеральную схему управления народным образованием.

Совершенно для меня неожиданно раздались дружные, теперь уже доброжелательные аплодисменты. Предложение было принято. Только словосочетание «генеральная схема» в нем решено было заменить на более модное теперь слово — «концепция».

На заключительном пленарном заседании съезда двадцать первого декабря это предложение было внесено нашей секцией для включения в съездовскую резолюцию (см. выступление на съезде С. Репина, «Учительская газета» от 24.12.88).

Но... но в резолюцию съезда это предложение не попало...

Так что серьезных перемен, перестройки в просвещении придется действительно еще подождать.

— Как долго?

— А кто его знает...

18—20 мая этого года в Сочи состоялся учредительный съезд творческого Союза учителей, в работе которого я тоже участвовал.

Ровно десять лет назад, в 1979 году, познакомился с выдающимся педагогом современности академиком АПН СССР, народным депутатом СССР Ш. А. Амонашвили. Тогда и заговорили с ним впервые о необходимости создания Союза творческого учительства страны. Со временем эта идея стала приобретать все больше сторонников в разных регионах СССР. На декабрьском (1986 г.) Всесоюзном совещании педагогов-новаторов народный учитель СССР, народный депутат СССР, директор прославленной сельской школы на Черкасщине А. А.

Захаренко, с которым также не раз обсуждал эту идею, выступил с предложением приступить к практическому созданию творческого союза. Его предложение было активно поддержано учительством, общественностью, за его реализацию высказался февральский (1988 г.) Пленум ЦК КПСС.

И вот творческий Союз учителей СССР создан. Сочинский учредительный съезд принял его устав, избрал руководящие органы. Председателем Центрального совета Союза, то есть президентом, единогласно избран Ш. А. Амонашвили.

Учредительный съезд отличался от декабрьского 1988 года педагогического съезда демократизмом, подлинно творческой обстановкой, активностью, энтузиазмом делегатов, представляющих Центр, Среднюю Азию, Кавказ, Белоруссию, Украину, Молдавию, Сибирь, Север, Дальний Восток, Прибалтику. Разбившись на рабочие секции, делегаты напряженно и очень продуктивно исследовали многочисленные проблемы народного образования, вырабатывали практические пути их эффективного решения, придирчиво, дотошно, до последней запятой вычитывали, обсуждали проект устава, других документов, кандидатуры претендентов в руководящие органы Союза, предложить и отстаивать которые мог каждый. Остро сталкивались самые различные, порой прямо противоположные мнения, точки зрения.

Ежедневно подводились итоги бурных пленарных заседаний съезда и открытых заседаний руководившего его работой оргкомитета (на них свободно присутствовало, активно участвовало подавляющее большинство делегатов).

Не дать высказать спорную, необычную точку зрения, мнение кому бы то ни было по любому вопросу на заседании группы, оргкомитета или на пленарном заседании, подобно тому, как это было на декабрьском (1988 г.) съезде, на Сочинском съезде было просто невозможно — такова была пронизывающая его атмосфера подлинного демократизма, единодушная воля его делегатов, их высокая ответственность, культура. Здесь не было президиума (по решению делегатов заседания съезда вели сопредседатели или рядовые члены оргкомитета), не было начальства, здесь все были равны между собой — от школьника, студента до убеленных сединами учителей, знатных ученых, общественных деятелей. Это был съезд единомышленников, и малейшее нарушение демократии встречало бурные протесты. Здесь не было ни одного случая, чтобы аудитория шумом, гвалтом лишала оратора слова, как это было не раз и на секционных, и на пленарных заседаниях педагогического съезда в Кремлевском Дворце съездов. Не было здесь и длинных, пустых речей. Конечно, и здесь было немало случаев, когда кто-либо злоупотреблял демократией, терпением аудитории, по нескольку раз брал микрофон, повторяя одно и то же. Но в таких случаях лишали слова не топотом ног и шумом, а голосованием; сэкономленное таким образом время предоставлялось другим желающим выступить.

Одним словом, это был небывалый, замечательный съезд, о котором еще много будут писать, рассказывать. Мне же хотелось пока подчеркнуть именно эту принципиальную, чудесную его особенность — высокий демократизм, высокую культуру его делегатов и гостей, талантливость рядового учительства.

Э. ГОНЧАРЕНКО

О ГОНЧАРАХ-КОЖЕМЯКАХ И ПРОЧЕМ...

ЗАСТРОИТЬ, застроить Гончары-Кожемяки жилыми домами!

Эти энергичные, как боевой клич, слова, решавшие судьбу былинного киевского урочища, мощно сотрясали стены Дома архитекторов в день рождения автора проекта застройки. Да, здесь 10 марта с. г. решалась судьба священной земли в центре полуторатысячелетнего стольного града Киева, судьба сердца «матери городов русськых», места, «откуда есть пошла земля русськая». Здесь же в тот самый час совершалось и ритуальное чествование Авраама Милецкого с подношением ему подарка — огромной стройплощадки на сказочно прекрасном, овеянном легендами месте. Не без резона, известного только организаторам собрания, решено было провести то и другое одновременно.

Однако по порядку. Что произошло и что происходит в одном из самых живописных уголков древнего Киева?

Произошло то, что происходило повсеместно в старинных наших городах с исторической застройкой, — уничтожение по методу М. Гинзбурга: не делать никаких новых капиталовложений в существующую Москву, а «терпеливо лишь дожидаться естественного износа старых строений, после которого разрушение этих домов и кварталов будет безболезненным процессом дезинфекции Москвы».

Велико еще, на беду нашу, племя тех, для кого боль и трагедия утраты жизнетворной, очистительной и духоподъемной Красоты нашего Отечества является процессом «безболезненным» и даже «естественным»! Как часто травмируют души людские нескончаемые публикации о все новых и новых фактах варварского уничтожения памятников истории и культуры, шедевров архитектуры, целых исторических поселений и городов... В Днепропетровске, бывшем Екатеринославе (хрестоматийная иллюстрация к «методу Гинзбурга»), «немало домов решено снести... только по той причине, что по 60—80 лет их не ремонтировали» («Рабочая газета», 06.03.88). Главный архитектор Каменец-Подольска И. Медведовский, с начала 50-х годов занимающий эту должность, пустил камни старого крепостного города на фундаменты и стены рядового безликого производственного и жилищного строительства. Добавим прямолинейные, цинично прагматические проекты градостроительного развития в Чернигове, Запорожье, Киеве — и обнаружится во всей красе зловещая позиция Госстроя УССР, являющегося одновременно и главнокомандующим всех бульдозерных сил республики по «очистке» территорий для стройплощадок и... государственным органом по охране памятников архитектуры и градостроительства. А чтобы избавиться от мороки и облегчить собственное существование, «главнокомандующий» и страж памятников еще в начале 80-х годов распустил свой Научно-технический совет, который периодически собирал ученых — специалистов в области культуры, истории, архитектуры, археологии, геологии, паркового искусства для обсуждения и экспертизы крупных градостроительных проектов.

В последние годы судьба того или иного города решается предельно просто — росчерком пера начальника отдела охраны памятников Госстроя УССР Ю. П. Лихого.

Однако вернемся в урочище Гончары-Кожемяки. ГлавАПУ Киева, другие соответствующие инстанции не сочли обязательным даже «терпеливо дожидаться естественного разрушения». Время было застойное, глухое, а земля — безответная и беззащитная. Раздолье для «градостроителей»! В кварталах урочища спешным порядком сносили дом за домом. Часто торопились так, что начинали разрушать строение, из которого еще не все люди были выселены. Тем, кто не желал перебираться в отведенные для них бетонные здания на окраинных пустырях города, грозило судебное выселение, дабы неповадно было сбивать темпы реализации проекта напористого Милецкого.

Есть древняя и испытанная посылка при поиске корней и пружин любого социального действия: кому это выгодно? В данном случае очень и очень выгодно многим, причем фигурам весьма влиятельным и могущественным. Выгодно архитекторам, проектантам, и строителям, и многочисленным подрядчикам, и будущим обитателям

коттеджей (не хуже швейцарских), ну и, естественно, заказчику — городским властям, распорядителям заказов, лимитов и фондов на дефицитные стройматериалы. Оно и понятно! Ведь для функционирования архитектурно-строительного комплекса, для полнокровной жизни армии чиновников-распределителей потребно непрерывное освоение значительных объемов работ, нужны удобные строительные площадки — «чистые пятна» на картах городов. В данном случае вырисовывалось грандиозное предприятие — огромное «чистое пятно», и не где-нибудь, а в центре древней столицы мирового значения. 40 гектаров! (В Нью-Йорке 1 га земли в центре города стоит 35 млн. долларов — 3500 долларов за 1 кв. м.)

Год назад центральная пресса подняла разговор об угрозе превращения Лесковицкой поймы (перед древнеславянским стольным градом Черниговом) в стройплощадку, о недопустимости ведомственно-технократического подхода в глобальном проектировании, вследствие которого любая приглянувшаяся территория может быть покрыта многометровым слоем песка или воды, застроена «всесоюзными кочегарками» или бетонными «черемушками». Возникла мощная волна протестов научной и культурной общественности страны. По подступавшей беде Лесковица стала в ряд с Ладогой, Байкалом, Плещеевым озером, Поклонной горой в Москве. И отстояли пойму.

Мы не случайно вспомнили черниговскую историю — ситуации в Лесковице и Гончарах-Кожемяках абсолютно схожи: во имя Красоты, Истории и Памяти и там и здесь строить жилье нельзя. Нельзя на потребу дня и на потребу трех-четырех тысяч жителей жертвовать тем, что принадлежит вечности и всему человечеству — жившему, живущему и грядущему. Увы, не все понимают это...

С уничтожением прежней застройки и отселением из урочища коренных жителей говорить о восстановлении культурно-исторической среды, основу которой составляет прежде всего трудовой люд, живший здесь, невозможно. А пока место, где жил наш легендарный Кожемяка, победитель трехглавого змия, свободно. Чему быть здесь отныне? Как поступить с былинной землей, да еще в центре древней столицы, куда приезжают миллионы и миллионы соотечественников и гостей?

С эстетической точки зрения урочище — один из самых живописных уголков старого Киева. Сейчас, когда здесь снесены почти все дома, уникальная красота местности предстает почти в первозданном виде — этакая огромная сердцевидная чаша, образованная затейливыми склонами легендарных гор — Замковой (Хоревица-Киселевка), Старо-Киевской и Кудрявским мысом (Волова гора). Верхнюю часть урочища разделяет надвое гора Детинка (Клинец), а через узкую нижнюю улицу имеется выход на Подол. Место защищено от ветров и вместе с тем хорошо проветривается, что создает мягкий, здоровый микроклимат. Благодаря удаленности автомобильных потоков воздух здесь самый чистый в Киеве. Поэтому, естественно, решением горисполкома № 920 от 16.07.79 г. уникальное урочище получило статус заповедной зоны охраняемого ландшафта, то есть здесь запрещено проведение каких-либо земляных, строительных, хозяйственных работ. Кроме того, археологами обнаружены в этом месте самые древние постройки Киевской Руси: жилища, мастерские, торжище. Сколько еще тайн скрывает земля урочища? Ведь систематических, полных археологических исследований тут еще не проведено, а жилая капитальная застройка территории — это вечное погребение культурных слоев.

Итак, территория урочища дважды заповедна, но, оказывается, этого недостаточно, чтобы хоть один раз защитить его от проекта жилищной застройки Милецкого. Что здесь больше сказывается — всесилие Милецкого, заинтересованное попустительство властей или равнодушие киевской, украинской, славянской общественности? Или все вкупе?

В древности народы, населяющие ту или иную землю, назывались языками, то есть они были гласом земли. Сегодня веками обитаемая земля оказалась безгласной и беззащитной, вокруг проекта жилой застройки — ватная глухота, действия разворачиваются скрытно и неотвратимо. Откуда ждать помощи? От главного архитектора города? Так эта высокая должность превратилась в исправительную для «наломавших дров» высоких чиновников: первый зам. председателя Госстроя УССР Н. Жариков, один из «отцов проекта» строителства в Лесковицкой пойме, был как раз и «низведен» до... главного архитектора Киева. Застройка жилыми домами Гончаров-Кожемяк органично вписывается в его «архитектурное мышление». Мог бы возвысить голос в защиту урочища председатель Украинского общества охраны памятников истории и культуры П. П. Толочко, но он сам стоит у истоков проекта Милецкого, согласовал его много лет тому назад, а председателем УООПИКа стал совсем недавно.

Древняя земля Гончаров-Кожемяк — национальное, общенародное достояние. Здесь необходимо создать историко-культурный просветительный центр, своеобразный духовный аккумулятор патриотической энергии, сокровищницу национального самосознания, куда приходили бы стар и млад, дабы укрепить в себе жизнетворную любовь к Родине, обрести стремление и силы для служения Отечеству и Идеалу, чтобы испить из вечной реки, именуемой Память.

Архитектурный облик городов, отдельных зданий и ансамблей — это материализованный духовный облик народа той или иной страны, поэтому постоянное общение с архитектурными образами, запечатление их в сознании людей является важным источником патриотизма, национальной творческой энергии, нравственности. В свое время А. П. Чехов сказал относительно вида на Москву с Воробьевых гор: «Кто хочет понять Россию, должен посмотреть отсюда на Москву». К великому сожалению, Москва утратила свой неповторимый облик, и, глядя сегодня с Воробьевых (ныне Ленинских) гор, Россию не поймешь — скорее, постигнешь масштаб разрушительной сущности футуризма, космополитизма, культа, застоя, поймешь, что возведенные бетонные и металлические монстры — это не просто выброшенные на ветер сотни миллионов народных рублей и не просто памятники бюрократизму, прагматизму, волюнтаризму и гигантомании. Это — глобальные осквернители Красоты и Культуры, отравители духовных рек Народа, постоянные излучатели, генераторы духа расчетливости, корысти, цинизма, равнодушия.

А славный Киев, этот красивейший город мира? Ведь только подумать, что сотворили «отцы» его вместе с ГлавАПУ! Раньше изумительной красоты днепровские холмы, увитые зеленью, были увенчаны золотом куполов сказочно-великолепных храмов Киево-Печерской лавры, Софийского собора, Выдубецкого монастыря, Андреевской церкви — этих неповторимых символов высших жизненных ценностей того времени, увековеченных в камне и золоте. Современными же доминантами панорамы города, оскорбительно-нагло запятнавшими лицо города, являются громадные «сундуки» 26-этажного Дома торговли, стеклобетонного отеля «Киев», конторы «Киевгорстроя», огромные жирафообразные мачты стадиона «Динамо», устрашающе дымящая гигантская труба по центру видовой панорамы города, серое нагромождение совминовских домов, дикий памятник эпохи гигантомании и показухи — стометровая «Родина-мать». Торговля, стадион, кочегарка, бюрократический гигант — это что, символы высших ценностей современности?..

Ввиду беспрецедентных в мировой истории культурных утрат, понесенных нашим народом в последние десятилетия, необходима срочная, чрезвычайная компенсация, хотя бы частичное возвращение основных утраченных образов духовного и художественного национального мышления, национального мировоззрения и мироотношения. Выходам из тяжелейших кризисов, поражений, мощнейшим экономическим подъемам во всех странах и во все времена предшествовал подъем национального самосознания, национального духа. Ярчайшим примером на сей счет является Япония. Без духовного возрождения немыслимо никакое экономическое возрождение.

Вот отовсюду слышатся у нас призывы: «Надо отдавать долги!» Не пора ли перейти от слов к делу, не опасно ли так долго лишь декларировать очевидные вещи? Если иметь в виду урочище Гончары-Кожемяки, то его надо отдать делу национального возрождения. В противном случае тот протез, муляж «а-ля Кожемяки», которым нас собирается в очередной раз «одарить» институт «Киевпроект», обернется очередным свидетельством бюрократической, групповой мощи, очередным обессиливающим унижением, национальным оскорблением.

Требования общественности особенно полно сформулированы в коллективном письме сотрудников Института кожевенной промышленности, которое зачитала и передала президиуму горсовета на заседании 10 марта депутат Л. М. Доминская. Речь в нем идет о самом элементарном — о необходимости гласности, широкого обращения к нации, ко всем украинцам, русским, белорусам, к их творческой энергии и совести. «Освободилась огромная территория в центре «матери городов русских». Ситуация уникальная и ответственнейшая. Есть проект жилой застройки. Будут ли другие предложения, мнения, идеи? Объявляется открытый конкурс идей».

В самом деле: неужто Гончары-Кожемяки не заслуживают даже такой элементарной демократической процедуры? Неужели за это так долго и упорно необходимо бороться общественности? И неужели столь непреодолим «остаточный принцип» в культуре? Ведь совершенно очевидно, что в решении жилищной проблемы строительство жилья в урочище — меньше чем капля в море (около 1 процента от объема жилищного строительства в Киеве до 2000 года).

Заседание президиума горсовета проходило «в духе перестройки», то есть дали высказаться многим. Однако вопреки трезвым голосам, вопреки мнению тысяч граждан, оставившим свои протестующие подписи на листах, огромная связка которых была предъявлена участникам заседания, все аргументы противников спешной застройки урочища оказались пустым звуком.

Было, между прочим, интересное предложение — разместить в урочище макеты архитектурных памятников и даже целых древнерусских городов, наподобие голландского Мадюродама. Вот бы действительно показать дивное «древо» древних городов, корнем коего есть Киев-град! Это и с научной, и с художественной точек зрения чрезвычайно интересно было бы поместить рядом градостроительные системы разных городов на разных этапах истории. Еще Н. В. Гоголь в свое время писал, что хорошо бы «иметь одну такую улицу, которая бы вмещала в себе архитектурную летопись... Эта улица сделалась бы в некотором отношении историей развития вкуса, и кто ленив перевертывать толстые томы, тому бы стоило только пройти по ней, чтобы узнать все... Архитектура — летопись мира: она говорит тогда, когда уже молчат и песни, и предания, и когда уже ничто не говорит о погибшем народе. Пусть же она хоть отрывками является среди наших городов... чтобы при взгляде на нее осенила нас мысль о минувшей жизни народа и погрузила бы нас в его быт, в его привычки и степень понимания, и вызвала бы у нас благодарность за его существование». А заодно, добавим, и стремление в свою очередь послужить славе и красоте родной земли, для начала наведя элементарный порядок. «Порядок в душе — порядок в Отечестве» (В. Распутин).

А как необходим Киеву парк «Мемориал»! В нем бы можно было расположить копии-макеты варварски уничтоженных шедевров архитектуры, ныне не существующих. Нашли бы себе место здесь выставочные и музейные здания (в том числе музей И. Гончара) — в запасниках только киевских музеев втуне покоятся тысячи произведений искусства громадной ценности без всякой реальной надежды на встречу с народом. «Искусство принадлежит народу»? Так пусть оно и принадлежит народу, а не подвалу.

Республиканская государственная научно-исследовательская реставрационная мастерская более полувека ютится в бывших конюшнях, и город никак не может изыскать подходящее (и достойное) место для строительства Украинского реставрационного центра. В Киеве не хватает концертных, театральных зданий, студийных помещений, мастерских художников и ремесленников.

Одним словом, потребность в общественных зданиях и экспозициях огромна, особенно, повторяем, если учесть тот катастрофический дефицит духовности и культуры, который образовался в нашем обществе.

На высочайшем художественном уровне (а именно такой только и необходим здесь), мудро, талантливо разработать, органично увязать многочисленные аспекты духовного, историко-культурного центра — сложнейшая и мучительная задача и для властей города, и для Украинского фонда культуры, и для Союза писателей Украины, и для Министерства культуры УССР, и для Института истории АН УССР, особенно если они действуют «в одиночку», в рамках своих ведомств. Следовательно, необходим особый национальный форум, своего рода Собор «всей земли», который бы явил собой национальное самосознание по данной проблеме. Собор — это собрание людей в высшей степени компетентных. У нас же сплошь и рядом решение проблем отдается на откуп тому или иному ведомству, отчего все отрасли экономики и культуры пришли в полное разорение. Иначе и не может быть при ведомственной односторонности и заинтересованности. Как не вспомнить страстный призыв-мольбу Н. В. Гоголя к соотечественникам: «Храни вас Бог от односторонности!.. Односторонние люди и притом фанатики — язва для общества, беда той земле и государству, где в руках таких людей очутится какая-либо власть... Односторонний человек самоуверен; односторонний человек дерзок; односторонний человек всех вооружит против себя. Односторонний человек всюду произведет зло: в литературе, на службе, в семье, в свете, словом — везде... Односторонний человек может быть только фанатиком...»

У нас сложнейшие, чрезвычайно многоаспектные проблемы градостроительства фактически решает узкая, часто случайная комбинация крупных чиновников и обслуживающая их небольшая группа архитекторов. В последнее время, правда, на обсуждение градостроительных проектов приглашают десятки, а то и сотни разных специалистов, но это сути не меняет — качество тех проектов всегда остается довольно низким, так как серьезного, конструктивного участия в работе приглашенные принять не могут: градостроительные вопросы настолько сложны и специфичны, что авторы проектов, годами разрабатывающие их, без труда парируют любые попытки критики, замечаний.

Потому-то зачастую и развиваются наши города стихийно, под влиянием случайных комбинаций административно-командных сил, под воздействием импульсов сиюминутных нужд, текущих проблем, поток которых лавинообразно растет, оставляя все меньше шансов для разработки по-настоящему продуманной градостроительной политики.

К тончайшей и хрупкой ткани тысячелетней культуры мы подступаем с крайне несовершенными, обремененными текущими ситуациями и политическими интригами, небеспристрастными градостроительными советами. Это чрезвычайно острая проблема — недопустимо, чтобы судьба памятников, судьба целых городов, прошедших через века, зависела от группы временных администраторов, отвечающих — иногда на жэковском уровне — лишь за текущий момент, а не за тысячелетнюю культуру. Неподвластное, казалось бы, времени сплошь и рядом становится подвластным администраторам временщикам...

«Семь раз отмерь — один раз отрежь». В недрах застойного периода сложился жуткий парадокс — в крупных и особо крупных проектах и предприятиях не то что семь, а порой и один раз не меряли. В административно-бюрократических дебрях и лабиринтах тщательно измеряются и анализируются лишь закулисные обстоятельства и расклады групповых сил, выявляются тончайшие, еле уловимые связи и отношения аппаратных интриг. Строгих измерений, глубоких анализов существа дела, многоальтернативных поисков не делалось — ограничивались прикидками. Период застоя поэтому представляется сегодня этаким состязанием вельможных чиновников всех мастей и рангов в азартной стрельбе навскидку. Причем чем крупнее проект, то есть фактически чем опасней и разорительней возможные ошибки, тем односторонней подход, схематичней и догматичней его обоснования и меньше возможности его изучения и критики.

Как уже говорилось выше, прозвучали на горкомовском заседании серьезные, аргументированные возражения против строительства жилья в урочище Гончары-Кожемяки. Прозвучали и некоторые альтернативные предложения. Но в ответ — ни звука, ни жеста. Никакой реакции! Такое впечатление, что все было решено заранее, только потребовалось соблюсти формальность — провести «общественное обсуждение». Впечатление бюрократического спектакля еще более усилилось, когда в конце его «вдруг» обнаружилось совпадение: «А теперь позвольте поздравить Аврама Моисеевича Милецкого с днем рождения!» Все встали. Огромный букет гвоздик. Аплодисменты. Ликующие возгласы сторонников проекта...

Так чему быть в сердце «матери городов русськых»? На Детинцах в старину притали от врагов детей. Может, и нам, чающим исхода из «смутного времени», создать здесь, у горы Детинки, чрезвычайную территорию для духовного спасения молодых поколений от «врагов душевных» (Н. В. Гоголь), от агрессии бездуховности и «массовой культуры»?

ТАЛАНТЫ РОЖДАЮТСЯ ПО ВСЕЙ РОССИИ

Вопреки мнению скептиков, утверждающих, что Союз писателей изжил себя, а большинство его «мероприятий», в том числе и проводимые им через каждые пять лет совещания молодых литераторов, не имеют смысла, не оправдывают возложенных на них надежд, не содействуют развитию отечественной литературы, — IX Всесоюзное совещание молодых писателей выявило немало по-настоящему талантливых прозаиков и поэтов. И не только выявило, но и помогло и помогает им выйти к всесоюзному читателю.

Это особенно важно для периферийных авторов, у которых немало дополнительных трудностей в деле публикаций их произведений, и пробиться им куда сложнее, чем, скажем, москвичам или ленинградцам.

А значительная часть поэтов и прозаиков, чьи произведения наиболее удачно прозвучали на совещании, оказалась с нестоличной пропиской.

Горячее одобрение вызвали рассказы Е. Гаденовой из Тулы. Они действительно талантливы, написаны с удивительно точно подмеченными подробностями сельской жизни, написаны по-настоящему молодой писательницей (ей 23 года), знающей жизнь нашей деревни, умеющей рассказать о ней интересно и достоверно.

Глубоким проникновением в психологию героев отмечены рассказы Т. Гладких из Хабаровска и курянина В. Бережнова.

Положительную в целом оценку получили стихотворения москвичей И. Макарова, С. Чулковой, В. Коробова, Г. Марговского, ленинградца И. Дуды, А. Алимова из Казахстана и Ф. Абдуловой из Киргизии. Но наиболее удачно выделились Л. Сафронов, В. Чибисов, С. Сырнева. Их книги были рекомендованы к изданию. А Сафронова секретариат сразу принял в члены Союза писателей.

По своей профессии Леонид Сафронов значительную часть своей жизни прожил в Норильске, там в местной печати и появились его первые стихи. Но подавляющее их большинство посвящено его родным вятским просторам, вятским людям, их радостям, заботам и тревогам. И язык, которым они написаны, и характеры, о которых он говорит, — вятские. Да он и сам признается: «Я ведь тоже «вятский фрукт».

Стихи Л. Сафронова яркие, живые, современные и, при всей своей сугубо традиционной форме, удивительно свежие по краскам, по интонации, по разговорной раскованной речи.

Поэт сумел лишний раз доказать, сколько еще возможностей таится в русском классическом стихе, насколько он гибок — то в нем есть песенная плавность, то жесткая ироничность, а то звучат и трагические ноты:

Воды сделались больными,
Околели язь и линь,
И уже горит над ними
По ночам звезда Полынь.

Стихотворения Леонида Сафронова напоминают нам о том, что таланты рождаются по всей России и к ним надо быть внимательнее.

Николай СТАРШИНОВ.

ЛЮБОВЬ НЕ ВЕДАЕТ РАЗЛУК...

Русь

Русь в снегах, как купчиху,
Разодетую пышно,
Всю — от кашля до чиха —
В долгих сумерках слышно.

И над селами «ахи»,
И над городом «ухи»,
Здесь гуляют девахи,
Там горюют старухи.

Здесь за стройкою стройка,
За машиной машина,
Там за тройкою тройка,
За морщиной морщина.

Даже смерть не помеха,
Если жизнь никудышна...
Все — от горя до смеха —
В русских сумерках слышно.

Вечер

Вечер, зябко, дров охапка,
В сердце — звон от колуна...
На заборе, будто шапка,
До утра висит луна.

В закоулках пахнет потом
От моих рабочих рук —
Сладким потом, как компотом, —
Я ведь тоже «вятский фрукт».

На колоде — ночи крынка,
Вместо крышки — тишина...
Дремлет в хате дочь Аринка,
Рядом спит моя жена.

Под луной во сне летает
Босоногий сын Кирилл,
След звезды в потемках тает,
Будто кто-то прикурил.

Из окна белеет скатерть,
У стола скрипит скамья...
Что не спишь ты, божья матерь,
Мама родная моя?

Не горюй, что стала бабкой, —
Наша жизнь, как ночь, длинна...
Тлеют звезды дров охапкой,
На трубе висит луна.

Ноябрьское

В селеньях режут поросят,
Чтоб встретить праздники
по-русски,
И флаги в воздухе висят —
Висят, как визги поросят,
Как околевшей крови сгустки.

Держа революцьонный шаг,
Спешит по улицам крестьянство...
Какой несет его лешак,
С утра пораньше, натощак,
На демонстрацию от пьянства?

Оно сегодня будет речь
Держать,
как ковш ядреной браги,
Что станет эту власть беречь,
Что, если надо, будет течь
Людская кровь за эти флаги.

И я готов полечь костьми
За что костьми поляжет масса,
Полечь костьми,
но — черт возьми! —
В стране, заваленной костьми,
Когда ж в почете будет мясо?!

Гулянье

Помню, в мае на поляне
Под гармошкины басы
Ходит массово гулянье
Полным кругом колбасы.

И плывет ядреный запах
Крестьянских голосов,
Застревая в липких лапах
Зеленеющих лесов.

Песни, шутки, поговорки,
Да такие, что в торчки
Из соседнего пригорка
Лезут первые сморчки.

Хоть и жили еле-еле
После сталинских побед —
Колбасу лишь в праздник ели,
А по будням — денег нет, —

Но и пели и плясали
Крестьяне на Руси,
Так плясали, как на сале
Пляшут, жарясь, караси.

А теперь, скажи на милость:
Вроде сытый, не босой,
Но веселье укатилось
Из России колбасой.

А на самой той поляне
Тишина, как гроб, стоит.
Лишь под елкой на поляне
Дрыхнет пьяный инвалид.

Законы

Новые законы,
Строгие порядки:
Не видать иконы,
Не слыхать трехрядки.

На бревне у дома
Про какой-то атом
С дед-Фомой Ерема
Рассуждают матом.

Под корягой древней
Крякает болото,
Проползет деревней
Звук от самолета,

Да промчится конный
Русью без оглядки
В старые законы,
В добрые порядки.

Корова

По обочине корова
Шла домой, как на правеж...
Я промолвил ей: «Здорово!
Как, рогатая, живешь?»

Мне корова промычала,
Тяжело раздув бока:
«Поживи, как я, сначала,
Подавай-ка молока

Каждый день на два с полтиной,
Повылазь-ка вон из кож...
И за все тебя скотиной
Назовет потом кто хошь».

И добавила сурово:
«Жизнь глупей, чем у козла...»
По России шла корова,
Молоко в село несла.

Сенокос

Мой отец в рубахе белой
Под рассветной полосой
По траве по оробелой
Ходит шустрою косой.

Звон идет по всей природе
И ржавеет за рекой...

Я сижу на пне-колоде
С перемотанной рукой.

Нам еще от силы восемь,
Мы в подпасках у коров,
И не то чтоб сено косим —
Мы себе пускаем кровь.

Ну нашла коса на камень,
Ну сошла коса с росы...
Но вот этими руками
Мы еще утрем носы!

Мы такое дело скосим,
Что и взрослым «будь здоров»!
И хотя нам только восемь —
Заживем без докторов.

Время тянется к обеду,
Бродяг запахи в носу...
Словно орден за победу,
Я к котлу себя несу.

Привязав свою оплошку
К лошадиному хвосту,
Я беру пошире ложку,
Щи хлебаю и расту.

Дед Никитка

Тихой ночью на селе
Скрипнула калитка, —
Со двора навеселе
Вышел дед Никитка.

Вместо горьких папирос
Закурил махорку
И под свой лиловый нос
Буркнул поговорку.

А за ним, пьяным-пьяна,
Звезды угощая,
Из-за темных туч луна
Вылезла большая.

Тополя пустились в пляс,
А за ними вязы:
Эх, раз! Еще раз!
Еще многи разы!

Лихо свистнул ветерок
Прямо деду в ухо:
«Ох, не пустит на порог
Старого старуха!

А не пустит — пустяки,
В поле хватит сена,
Ведь живут холостяки —
Море по колено».

Без дороги, наобум,
Вышел дед к развилке
И рукой от горьких дум
Почесал в затылке.

Справа стог и слева стог,
А в груди одышка:
«Ох, не пустит на порог
Бабушка Иришка.

Не накормит пирогом,
Не напоит брагой,
Отчехвостит сапогом
С молодой отвагой».

Дед залез на ближний стог,
Лег, как на перину.
Лихо свистнул ветерок
В голову да в спину.

Помнил тополь, слышал дол,
Видела улитка,
Как домой уныло брел
Трезвый дед Никитка.

* * *

Уйдут молодые в город,
Помрут старики в селе,
Настанет великий голод
На грешной моей земле.

А может, не будет голода,
У страха глаза велики:
Придут молодые из города —
Останутся жить старики.

* * *

Вот и умер дед Корней —
Золотые руки...
И остались без корней
Сыновья и внуки.

Никаких особых дел
И не делал вроде:
На завалинке сидел,
Думал о природе.

Целый день курил табак
Сладкий, как горошек,
В окружении собак
Да бродячих кошек.

Что возьмешь со старика?
Молодым чета ли!
Уж его за чудака
На селе считали.

Первый сын — еще не сын
И второй — полсына:
Каждый жил на свой аршин,
Внуки в пол-аршина.

Но однажды умер дед, —
Сидя, на ходу ли, —
Будто в душах белый свет
С краешка задули.

То ли ночи почерней
Наступили вскоре...
Взял да умер дед Корней —
Человечий корень.

Звезда Полынь

Воды сделались больными,
Околели язь и линь,
И уже горит над ними
По ночам звезда Полынь.

И над каждою деревней,
Как над бездною морской,
Все сильнее тянет древней
Безысходною тоской.

Души сгорбились под ношей
Человечьих черных дел...
А вчера над нашей рощей
Птица-ящер пролетел.

Осенний пейзаж

Тишина без шуму-гаму,
Нож, двустволка, патронташ...
В позолоченную раму
Осень вставила пейзаж.

Пес мой гончий, масти рыжей,
Кружит, будто листопад,
Языком горячим лижет
Рос прохладный виноград.

То начнет собачьи гонки,
В стежку заячью попав,
Заливаясь лаем звонким
Средь осиновых дубрав.

То вдруг сколется у чащи,
Обманул его косой...
И опять язык горящий
Гаснт мерзлою росой.

И в сторонке виновато
Машет веточкой хвоста...
Скоро снег пушистой ватой
Небо выронит в кустах.

Справа сосны, слева елки,
Снизу лужи, а вдали
Тени серые, как волки,
Подымаются с земли.

Тишина без шуму-гаму,
Стол, тетрадка, карандаш...
В позолоченную раму
Осень вставила пейзаж.

Мои друзья

Мои старинные друзья
Живут богато, как князья:
Имеют газ и ванную,
А я — лишь шапку рваную.

У них у каждого жена —
Великолепная княжна —
Имеет шубку пыжую,
А я — лишь девку рыжую.

У ней ни шубы, ни родни,
И без туфлей, хоть лапти гни,
Зато душа — что солнышко:
Вся светлая до донышка.

Надену шапку набекрень,
Возьму гармошку под ремень:
Пляши, девчонка, «барыню»,
Меня уводят в армию.

Любовь не ведает разлук,
Стучи, березовый каблук,
Шурши да приговаривай
О службе государевой.

* * *

Огурцы, помидоры да ревни,
Наслаждайся, гуляй, матерей:
Но бросают крестьяне деревни,
Будто дети родных матерей.

И съезжают себе в горожане
Со своих деревянных дворов

Под тоскливое конское ржанье,
Под глухое мычанье коров.

А ночами в уютной постели
Их ворочает жизнь неспроста:
Словно души от них улетели
И вернулись в родные места.

Грани

Село манило калачом,
А город сладким пряником,
А я с котомкой за плечом
Гулял бездомным странником.

А мимо ехал гул машин
Дорогой озабоченной...

Я мерил жизнь на свой аршин:
Беспечной брел обочиной.

А нынче справа слышу брань,
И слева тянет холодом,
Как будто я и есть та грань
Между селом и городом.

Мужики

Тары-бары-шаровары,
Продувные кушаки...
В городском-тверском пивбаре,
Как московские бояре,
Загуляли мужики.

Притаранили тарани
Целый ворох в сто пудов
И шумят, стирая грани,
Грани сел и городов.

Спорят нервно, но степенно
О шелках да о бобах,
И кипит пивная пена
На прокуренных губах.

Для таких любая кружка,
Что ни выстави,— мала...
Вьется пена, словно стружка,
Льется пиво, как смола.

Раскраснелись, аки раки,
От заморского питья:
Кулаки крепки для драки,
Рожи гожи для битья.

А в сторонке горожане
Из столичных пиджаков
Смотрят, точно парижане,
На российских мужиков:

Мол, сцепитесь ради шутки,
Коли жизнь не весела, —
На пятнадцатые сутки
Доберетесь до села.

Тары-бары-шаровары,
Продувные кушаки...
В городском-тверском пивбаре,
Как московские бояре,
Пили пиво мужики.

Память

Угорела январская замять
Под полозьями наших саней,
И в пути обронили мы память
И решили вернуться за ней.

Развернули крутые копыта,
Подхлестнули горячих коней...
Но дорога назад позабыта
И следы замело от саней.

Первый снег

Перелески, как тетерки:
Всякий рыж да конопат, —
Будто редька из-под терки,
Сыплет сочный снегопад.

Хорошо с худой берданкой
Перекуров через пять,
Как с обстрелянной гражданкой,
В стоге сена переспать.

Чтоб усталость улетела
За моря пугать ворон
И легко вздохнуло тело
Холостое, как патрон.

Чтоб влетели в поговорки
Дни, что прожил невпопад...
Перелески, как тетерки,
Будто редька, снегопад.

* * *

Зимний вечер, пустая околица,
Свет луны — хоть гадай по руке.
Как винтовочный выстрел,
расколется
Неожиданно лед на реке.

И в лесу,
под продрогшими елками,
До полуночи сна лишена,

На снегу голубыми осколками
Будет долго скрипеть тишина.

И усталому сердцу припомнится,
Что никак не дается уму:
Зимний вечер, луна
и бессонница
После странствий в родимом дому.

Я умру

Я умру глубокой осенью
Под сапожный скрип телег,
И меня накроет простынью
Мой последний первый снег.

За кладбищенской оградою,
В домовине по плечу,
Никого я не обрадую,
Никого не огорчу.

Буду смирно да спокойненько
Под крестом еловым тлеть
И соседнего покойника,
Как умершего, жалеть.

А покуда злее пущего
Дует ветер из щелей,
Ты меня, с тобой живущего,
Как живого, пожалей.



Василий БЕРЕЖНОВ

ЛОМАКИНСКИЙ ДВОРЯНИН

РАССКАЗ

В ТОТ ГОД, когда Суворову Максиму пришла пора идти в третий класс, случилось много интересного. Старые деньги меняли на новые. Мужики собирались возле магазина, разглядывали цветастые бумажки, хрустели ими, возмущались. Вместо десяти рублей давали один, а вместо рубля — десять копеек.

Максимова бабушка всплакнула: «Обман это, а никакой не обмен». На уговоры Максима: «Ба, ну покажи!» — не отзывалась. Только дома, присев на стул, протянула ему монету:

— Погляди, внучек... Да не потеряй! На старые — это рубль.

Вечером пришли с работы мать и отец и стали думать, как обходиться новыми деньгами. Говорили долго, но все сходилось к одному: теперь брат Максима, который учился в городе, будет забирать всю зарплату.

— Ну и придумали...— сказал отец и сплюнул от досады. Он получал раньше триста рублей, теперь выходило — тридцать.

Вскоре случилось еще одно событие, запомнившееся Максиму. В полдень, останавливаясь у каждого двора, по улице ехала машина. Из ее кузова далеко по округе разносился поросячий визг. Необычный рейс взбудоражил малышню, и все от мала до велика шествовали следом, не обращая внимания на пыль, поднятую колесами. Сентябрьский ветер подхватывал ее и гнал вдоль улицы серой колючей поземкой.

В кузове стоял высокий дядька. Когда машина останавливалась, он наклонялся и поднимал на всеобщее обозрение маленьких поросят. Люди брали их и несли во двор, а процессия двигалась дальше. Возле Максимкиного двора она тоже остановилась. Дядька полистал тетрадку и объявил:

— Суворовы — две штуки, как договаривались.

Машина уехала, оставив бабушку и Максима в растерянности. Они ни с кем ни о чем не договаривались и были удивлены таким подарком.

Между тем поросята, почуяв волю, побежали по двору. Розовые, с маленькими подвижными хвостами и светлыми копытцами, они понравились Максиму. Он побежал следом, радуясь новому занятию. Поймав одного, крикнул бабушке:

— Они теперь у нас будут жить?!

— Ох,— вздохнула она в ответ.— Горе, да и только...

У них в хозяйстве были куры и корова, которую не продавали только потому, что Максим был еще маленьким и бабушка говорила, что ему без молока нельзя. Отец работал в конторе, а мама в школе, и ухаживать за коровой, кроме бабушки, некому. Ей приходилось еще готовить, сушить травы и малину, перешивать отцовское барахлишко: для Максима одежку.

Сколько он помнил себя, мама и отец вечно спорили.

— Ты только на бричке катаешься, штаны просидел,— говорила мама отцу.— Да пьешь с дружками.

Василий Георгиевич БЕРЕЖНОВ родился в 1954 году. Публиковался в областных газетах «Курская правда», «Молодая гвардия». Живет в Железногорске Курской области. Работает в районной газете «Ударный фронт».

— А ты вон растолстела. Тоже не от горя!

— У меня тетрадей три стопки каждый день!

— А у меня участок вот тут,— отец хлопал себя по шее так, что она вмиг багровела.— Все думают: бригадир — это тьфу!

Спор иногда заканчивался слезами, и Максим, жалея мать, думал, что у нее работа труднее, хотя отец и хлопал себя по шее очень сильно.

Бабушка ни за кого не вступалась, сидела молча на скамейке и что-нибудь вязала или штопала прохудившуюся одежду. Как и Максим, она знала: вмешиваться еще хуже.

— Ты думаешь, как дворянка — так самая умная?! — кричал отец.— Не додушили вас в революцию, а напрасно!

После этих слов мама бледнела, бабушка замедляла работу и прислушивалась, что ответит ее дочь.

— Что, и сказать нечего? — злорадствовал отец.

— Нет, есть...— отзывалась мама.— Только не поймешь ты...

Она доставала из сумки тетрадки, подкручивала поярче лампу и садилась за стол проверять домашние работы своих учеников. В такие вечера Максим не ждал напоминаний, усаживался напротив матери — решать задачи или делать упражнения по русскому. Отец кричал еще что-то про дворян, повторяя то и дело: «Где уж нам!..» Но скоро ему надоедал безответный разговор, он ложился на кровать и засыпал.

Немного погодя к столу подсаживалась бабушка и обнимала маму. Этого Максим не любил. Через минуту они начинали плакать, потом сажали между собой Максима и плакали еще горше. Случалось, он так и засыпал у них на руках. А наутро не мог вспомнить, как очутился на лежанке. Бабушка, проплакав с мамой всю ночь, утром бывала особенно тиха и ласкова, напевая, пекла вкусные пирожки и угощала ими Максима. Пока он ел, сидела напротив, подперев голову руками, и смотрела на него. Но мысли ее были где-то далеко, глаза казались чужими и немного страшными.

— Ба,— окликал он ее.— А ты почему не ешь?

— Я? Я тоже ем. Буду есть,— очнувшись, говорила она и гладила внука по голове...

В один из таких дней и проехала по улице машина, которая оставила Суворовым поросят. Максим единственный обрадовался им. А мама, узнав о поросятах, уже не на шутку поругалась с отцом.

— Ты что, хочешь раньше времени свести ее в могилу? — спросила она, указывая на бабушку.— Корми их сам!

Отец был трезвый и, наверное, поэтому сердился:

— Я не могу отказаться! Я — коммунист! Вон, скажут, Суворов отказался. Кто тогда колхозу поможет?

— Хорош же наш колхоз, если дошел до такой разрухи, что свиньи зимой мерзнут! Но здоровье матери я свиньям под хвост не брошу. Девай куда хочешь!

— А!! — свирепел отец.— Вот она, кровь твоя! Случись беда — вы тут как тут! А я еще два возьму.

Поросята остались в закутке, а бабушка, кроме обеда, стала варить в чугунке картошку для поросят. Картошку она толкла, добавляя кружку-другую молока. Максим просил бабушку, чтобы она разрешила ему отнести чугунок.

— Потерпи,— останавливала его бабушка.— Пусть остынет.

— А то — что?

— А то животы попекут и поумирают.

Максим удивлялся, но терпеливо ждал, стоя возле чугунка и отгоняя нахальных кур, норовивших полакомиться болтушкой.

Зимой бабушка приболела. С утра она еще поднималась, но долго ходить не могла, часто присаживалась и тяжело вздыхала, уронив руки на колени. Потом и вовсе слегла. Мама привела сельского фельдшера, и тот, поговорив с бабушкой, сказал:

— Все старческое. Девятый десяток — это вам не шутка.

— Может, таблетки какие?..— робко спросила мама.

— Таблетки? — удивившись, переспросил фельдшер. Но, посмотрев на маму, согласился: — Пожалуй... Вот валерьяночки по пять капель будете давать да еще норсульфазол — по таблетке в день.

Он оставил лекарства и ушел, так и не объяснив толком, что болит у бабушки. Мама решила, что бабушка заболела из-за поросят.

— Ты этого хотел? — спрашивала она, когда отец возвращался с работы.— Можешь радоваться, по-твоему вышло!

Отец не радовался. Он каждый день приходил пьяный и, отвечая маме, плохо выговаривал слова. Непослушными руками ему долго не удавалось стащить сапоги, и, когда они наконец падали на пол, он улыбался, как казалось Максиму, виновато и застенчиво. Маме отец не перечил, кивал головой и соглашался: бросить пить давно надо.

— Все... Ну, так вышло... Отказаться нельзя. Ладно... Я сказал?! Все!..— Только поросят нести обратно отказывался: — Не понесу. Права не имею...

— Ах, так! Ну и пусть дохнут с голоду! — грозила мама.

— Не... С голоду нельзя... При чем свинья? — возражал отец и сердился: — Я колхоз рушить не дам! Вы — дворяне, вам не понять.

Максим тоже не понимал, почему колхоз должен был разрушиться, если заберет назад поросят. Ели они мало — вполне хватало чугунка, который Максим легко поднимал, когда выносил поросятам корм в закуток. За три месяца они подросли, морды у них вытянулись и спины покрылись жесткой белой щетиной. И напоминали о себе уже требовательным визгом.

— Неси. Грех животину мучить,— говорила тогда бабушка Максиму, а когда он возвращался с пустым чугунком, всегда спрашивала внука: — Накормил? — И хвалила: — Молодец. Сядь рядышком, я на тебя погляжу.

Бабушка молча смотрела на Максима и улыбалась.

Когда она заболела, Максим перестал ходить в школу. Мама не велела оставлять больную одну и наказывала в случае чего бежать к ней на работу. «В случае чего» — это если бабушке станет плохо. Но хуже ей не становилось. Она то лежала с открытыми глазами, то спала, а Максим, сделав уроки, рисовал или смотрел в окошко на улицу.

— Что, внучек, не сидится? — спрашивала бабушка.— Ну пойди, пойди, жива-здорова буду...

— Ба, я на чуть-чуть! — обещал он и бежал одеваться.

Село Ломакино раскинулось по буграм. Улицы отделялись друг от друга глубоким логом или оврагом и поэтому казались бегущими сами по себе ниточками. А несколько дворов, стоявших возле магазина, и вовсе назывались Свинаркой — будто другая деревня. На свинарском бугре стояла и школа. По дороге к ней приходилось переходить овраги и взбираться по крутым склонам. Зато зимой не было лучшего места для катания на санках. Редко кому удавалось доехать до самого низа бугра и не перевернуться. Санки неслись так быстро, что морозный ветер выжимал слезы, на кочках подбрасывало, и стоило на миг забыться, сразу валило набок.

Максим любил скорость и всегда с завистью смотрел на больших ребят, прыгавших с трамплина. Они ловко приземлялись и дружно смеялись над неудачниками. Но лучше других лыжников был Валерка — брат Максима. Он учился в Ленинграде и приезжал только на каникулы. Летом Валерий брал его с собой в лес и на речку, а вот зимой — зимой они вместе катались с гор. Лыжи у Валерия были покупные — коричневые, с высоко загнутыми носами и красными буквами на них. Старший брат легко скатывался с самой крутой горы и потом, не сбавляя скорости, стремительно скользил по низине, без видимых усилий отталкиваясь палками. Ровным размашистым шагом он скоро уходил далеко и скрывался за пригорками. Максим волновался, не понимая, отчего ему становится тревожно и грустно, и терял желание кататься. Валерий всегда неожиданно появлялся рядом, объехав огородами улицу, но Максим все равно обижался, а иногда и плакал оттого, что брата ему было не догнать...

Максим часто вспоминал брата. Когда Валерий бывал на каникулах, в семье наступал праздник.

— В нашем роду неграмотных не было,— часто повторяла бабушка.— Или ученый, или дипломат, или военный.

Максиму казалось: приедь Валерий сегодня, и бабушка выздоровела бы, и мама с отцом перестали бы ругаться. Жаль, что до каникул было далеко.

Втащив санки во двор, Максим обмел валенки и вошел в дом. Бабушка по-прежнему лежала на спине, выпростав руки поверх одеяла.

— Максимка...— позвала она.

— Что, ба?

— Поди-ка ко мне... Сядь рядом. Ну, накатался?

— Накатался...

— А что сердитый? Обидел кто?

— Никто не обидел. Да там и нету никого — все в школе.

— Так что же ты? Или на меня сердишься, что старая я, болею?

— Да не, ба... Ты вот скажи мне по-честному: дворяне — это плохо?

— Кто сказал, что «плохо»?

— А папка, когда ругается, вас дворянами обзывает. И в книжках пишут, что дворяне за царя были. Значит, ты и мама за царя?

— Где ж тот царь? — улыбнулась бабушка.— Нет его давно. Да и не все дворяне за него были. Вот дед твой против был. За это нас на бугры и выслали.

— Кто выслал?

— А царь и выслал. Пришлось нам из Москвы сюда ехать.

— А что, дед воевал против царя? — радуясь такому повороту событий, спросил Максим.

— Еще и как! — сказала бабушка и снова улыбнулась.

— Ба, значит, ты и мама — дворяне?

— Дворяне. И ты — дворянин.

Максим тоже улыбнулся, но, посмотрев на свои заштопанные коленки, разочарованно протянул:

— Ну-у — нет... Они богатые были, а у меня — вон...

Бабушка погладила его по голове и, дождавшись, когда он поднимет на нее глаза, сказала:

— Не в деньгах наше богатство, Максим.

Он не стал переспрашивать и поверил бабушке.

К Новогоднему празднику установились крепкие морозы, и кататься на санках было нельзя. Максим сидел дома и скучал. Бабушке становилось хуже. Не помогал и норсульфазол. Она вздыхала так тяжело, что и ему самому хотелось вздохнуть. Мама, прибежав с работы, управлялась по хозяйству, и потом подолгу стояла у сундука, перебирая одежду. Максим вертелся рядом и разглядывал диковинные вещи. Ему никогда не разрешали трогать лежавшие там украшения. Максим думал, глядя на желтые и белые кресты и звезду, усыпанную камешками, что они светились бы, наверное, даже в темноте.

— Мам, а что это? — не утерпев, спросил он как-то.

Мать молчала.

— Ма, это — наше?

— Ох... Наше... Ордена это деда твоего и прадеда. Иди, не мешай.

— Мам, а папкины ордена на пиджаке висят в шкафу.

— Висят... Иди, почитай что-нибудь.

Максим потоптался в нерешительности и спросил еще:

— А какие главней? Эти или папкины?

Мама нахмурила лоб и отмахнулась уже сердито:

— Ну, отстань ты ради бога!

Максим отошел от сундука, решив расспросить отца — он воевал и знает лучше.

На улице давно стемнело, и мороз, наступая, полз узорами до самых верхушек стекол. Мама закончила перебирать одежду, отложила часть вещей, а остальные снова закрыла в сундуке. Потом набрала углей в утюг, долго размахивала им, ожидая, когда он нагреется, и стала гладить отложенные вещи. В комнате было тихо. Только утюг потрескивал, красный изнутри от светившегося жара, да еще бойко стучали ходики, опуская гирьку ближе к полу. Мама поглядывала на них и, Максим это видел, волновалась. Он и сам чувствовал тревогу, когда отец задерживался на работе. Чем ниже опускалась гирька,

тем меньше надежды оставалось, что он придет трезвый. Мама уже не верила его обещаниям и грозилась поехать в Рыльск к районному начальству, чтобы оно разогнало компанию пьянчужек. И поехала бы, не заболей бабушка.

Максим сидел за столом, поглядывая то на маму, то на бабушку, вздыхавшую и вечеру еще тяжелее, то на окно, заиндевевшее от мороза. Оттуда, с улицы, доносилось повизгивание проголодавшихся поросят.

— Мам, пора свиней кормить,— напомнил он, помолчал и добавил: — Грех животину мучить.

Мама посмотрела на ходики, поставила на плиту утюг и сказала:

— Сейчас я их накормлю.

Она не взяла чугуика, стоявшего на полу, только накинула платок и пальто и вышла в сенцы. Было слышно, как скрипнули двери сарая и как на минуту затихли поросята. Их повизгивание раздалось неожиданно у самых окон, потом стукнули ворота, и стало тихо.

Мама вошла в комнату, разделась, не глянув на Максима, и стала растапливать плиту.

— Ма, а поросята? — спросил он.

Мама молчала.

— Ты вот что,— наконец сказала она.— Ужинай и ложись спать. Поздно уже.

«Что будет с поросятами? — думал Максим.— На улице мороз, а они совсем голые... Убегут они на ферму, откуда их привезли»,— догадался он и, успокоенный догадкой, уснул.

Максиму приснился сон, привычный, виденный много раз. Он летал. Разгоняясь, прыгал с бугра и долго парил над логом, пугаясь его глубины. В такие минуты и радость и боязнь сливались вместе, и Максим не знал, смеяться ему или плакать. Это щемящее чувство радости и страха появлялось с первых мгновений полета и продолжалось так долго, что он уставал от него и хотел опуститься на землю. Но она по-прежнему оставалась далеко внизу, там, где стоял брат Валерка. Он смеялся и размахивал кепкой. В этот раз вместо Валерки стояла мама. Она волновалась и, когда Максим взлетал особенно высоко, громко вскрикивала. От одного такого вскрика он испугался очень сильно, изо всех сил потянулся к земле и... проснулся.

Из прихожей в дверные щели пробивался свет лампы, слышался топот ног. Кто-то тяжело дышал. Максим соскочил с лежанки и распахнул дверь.

Посреди комнаты топтался отец. Одной рукой он ухватил за косу маму и, упираясь другой в край стола, тащил ее к себе. Подойти ближе ему не давала бабушка. Она лежала на полу, обхватив его сапоги. Когда отцу удавалось все же подтащить маму ближе, он бил ее наотмашь в живот. Мама вскрикивала и пыталась вырваться, семеня босыми ногами.

Ошеломленный, Максим стоял как вкопанный несколько мгновений и старался понять, что происходит. Не понял, закричал, бросился на отца и повис на его руке.

Что было потом, он не помнил. Наверное, кричал и бил отца, потому что, проснувшись утром, чувствовал боль в правой руке и жжение во рту, сухом и шершавом, и с трудом шевелил распухшей кистью.

Дневной свет пробивался сквозь замороженные окна, в прихожей стучали ходики. Максим прислушался, не решаясь встать и боясь, что мать или отец окажутся дома. Он не хотел их видеть и не знал, что им сказать. После того, что случилось ночью, все привычное казалось неестественным: заиндевевшие окна, тикание ходиков и чистота глиняного пола, устланного дорожками. Но Максим чувствовал, что в комнате присутствует еще что-то потрясающе страшное, хотя и невидимое. И от того, что это ЧТО-ТО нельзя было увидеть, оно представлялось огромным, давящим до глухоты, и нельзя было спрятаться от него, даже накрывшись с головой одеялом.

Свернувшись клубочком на остывшей за ночь лежанке, Максим ощутил себя совсем одиноким и ненужным, как бывало, когда брат, оставив его, уходил на лыжах далеко-далеко...

Вспомнив бабушку, он осторожно слез на пол и, неслышно ступая босыми ногами, подошел к ее кровати. Бабушка лежала так же, как и раньше: откинув голову на подушку и вытянув руки поверх одеяла. Только лицо ее казалось желтее.

Заметив Максима, она хотела что-то сказать и приподнялась было, но только слабо всхлипнула.

— Максимка...— набравшись сил, чуть слышно позвала она.— Ордена береги... Обещай.

В ее голосе Максиму почудился страх и просьба защитить ее. Он положил свою негнущуюся горячую руку на холодную бабушкину и, с трудом сдерживая подступившие слезы, сказал:

— Ладно, ба...

Максим хотел добавить еще что-то, но не смог — громко заплакал, повторяя как заклинание:

— Скоро приедет Валерка...

Татьяна ГЛАДКИХ

СТАРШИЙ СЫН

РАССКАЗ

Солнце еще не село, но скоро сядет. В избе полумрак. В полумраке белеет на стенке полочка, лобзиком выпиленная. На ней бумажная салфетка в круглых дырочках. Все так красиво.

Чисто. Мух нет, потому что зима. А было б лето, были б и мухи, они б жужжали и бились в окно. А так — тихо, совсем тихо в избе. Федотовна лежит на кровати, а дед сидит у стола и гладит кошку по серой спинке. Но и кошка хранит молчание, знает, что дед крепко ее недолюбливает.

— О-хо-хо,— вздыхает Федотовна.— Хоть бы какие гости пришли.

— Гости тебе,— зевнул дед.— На што мы им сдались. Вон сын родной, и тот дорогу забыл.

Это старший сын. Он живет в соседнем поселке, но в Горном Ключе бывает, и по сколь раз на день: за рудой приезжает на рудник. Машину его дед называет дурилой. Уж больно большая.

— Брысь!

— Чего тебе кошечка-то? — осудила Федотовна.

— Чего-чего! — закричал дед.— Видал я его вчера! Глаза заворотил и бежит в магазин.

— Дак ты пошто не спросил, чё к нам не заедет?

— А то у него было время со мной рассусоливать. Там уж они кучкой стоят у своих дурил, дожидаются. Бутылка теперь дороже отца с матерью.

— Не брани, отец,— попросила она.— А то он у нас много пьет. Вспомни, приедет, бывало, на праздник какой, так много ль и пьет.

— Он с нами и выпить по-людски не хочет,— сказал дед и как сейчас вспомнил последний приезд сына...

Он приехал тогда с женой, дочкой своей и зятем: дочка замуж вышла недавно. Сидели хорошо, по-семейному. Потом песни петь стали.

— Что стонешь, качаясь...— задребезжала Федотовна.

Татьяна Иннокентьевна ГЛАДКИХ родилась в поселке Белая Гора Хабаровского края. Окончила Дальневосточный государственный университет. Рассказы публиковались в журнале «Дальний Восток». Живет в Хабаровске.

— То-о-нкая рябина...— подхватили вдруг молодые. Да так ловко у них получилось, откуда что и взялось. Молоденькие, веселые, обнялись и поют:

А через дорогу
За рекой широкой
Также одиноко
Дуб стоит высокий...

Еще пели, когда сын вышел. И нет его, и нет. С какой поры вышел, а всё нет. «Да он там, случаем, не к молодухе ли какой завернул?» — захихикал дед, но старуха зашикала, внучка покраснела, и сам он тогда стушевался. «Пойду поищу»,— пробормотал дед и с крыльца сразу увидел сына. Сидит на сопке. Сопка у них за огородом, так он залез на нее, сел и сидит.

«Это чё он туда залез?» — думал дед, глядя на сына плохими глазами. Совсем плохие стали глаза, издали что, так только размытыми пятнами видят. И теперь мельтещили в них желтые пятна. Потому что сопка была совсем желтой от осени, только барбарис, листья которого его старуха рвала по весне и добавляла в щи, и щи получались такими кисленькими,— только он чуть пробивал желтизну багровой темнотой своих узких рассеянных кистей. Слабый ветер гулял по сопке, листья трепыхались и мельтешили, мельтешили в глазах старика. Но и сквозь эти зыбкие пятна ясно, как будто совсем молодыми глазами, видел он сына.

«Это он с какой же целью сидит там? — думал дед.— Чё ж так не по-людски: все дома, а он на сопку полез? Чё там сидеть-то, чё думать?»

...Эх, не надо было вспоминать. Вспомнил, и опять нехорошо стало. Как тогда, когда он с крыльца на сына смотрел. Тогда ему сильно стало жалко себя, даже вроде плакать захотелось — так вдруг жалко стало себя. Полотенце кухонное на перильцах висело, он им вроде глаза вытирал. Протер глаза, посмотрел на сопку: нет, все сидит...

Со двора подбились темнотою узоры на окнах. Дед включил свет и посмотрел на часы. Шесть. Спать еще рано. Сейчас заснешь, а среди ночи проснешься и хоть волком вой.

— Мать, а мать! — закричал он.— Спишь там, чё ли?

— Испугал,— встрепенулась Федотовна.— Маленько задремала.

— Не спи, мать. Счас у нас веселье пойдет, только дым коромыслом! Давай гостеванье устроим. Вот так: сёдня будто я хозяин, а ты но мне в гости пришла. А завтра наоборот сделаем. Ну, вставай, вставай, залежалась.

Федотовна встает и смеется:

— Здравствуйте!

— Здравствуйте-здравствуйте, проходите хвастуйте. Доху скидайте.— И стаскивает с Федотовны шалюшку. Она ежится, холодок пошел гулять по спине, но деликатно молчит. Только посмеивается про себя: совсем из ума дед выживает.— А мы вас ждали-ждали и жданки съели.

— Спасибо, мы сыты,— отнекивается гостья, а хозяин не слушает, знай себе стол уставляет. Глядь — из буфета бутылочку тащит.

— Поставь на место! — не выдерживает она.

— Тамара Федотовна! — изумился дед.— Гостья дорогая, а чё это вы в чужом доме свои порядки наводите? Вот когда я к вам приду...— И, вспомнив, что завтра обещался, смеется: — Тогда уж вы меня от души потчуйте, не откажусь.

И ей ничего не оставалось делать — лишь чинно сложить руки на коленях и, как положено в гостях, рассматривать комнату. Две кровати с кружевными подзорами, стол, три дощатых стула.

— А неважнецки вы живете,— берет она свое за бутылочку.

— Дак у меня старуха язва,— пояснил дед.— Кака где копейка — в чулок ее, в чулок.

— И как язык не отсохнет? — подскочила Федотовна.— Это када я в чулок? Кака копейка — детям все, детям. Их, поди, шестеро.

— А сейчас она у меня как раз по детям поехала. Вояж называется. А я тут,— захихикал дед,— тоже не теряюсь, сударушку в гости позвал. Ох и гульну же без язвы моей! — подмигнул он Федотовне.

— Тьфу!

...А хорошо было б поехать по детям. Шестеро их. Старший родился в тридцать третьем, а последний через двадцать лет. Все далеко, кроме старшего. По всем душа болит, по старшему особенно.

Помнит, как родила его, принесла из больницы. Уснет он, а она рядом сядет, по бровкам его тихонечко гладит. «Бровки как ниточки»,— все удивлялась она. Красивым старший сын родился. А уж смиренный! До пятнадцати лет за ворота без спроса не ходил.

Еще помнит: как родила, было у нее всего одно платье — на бориках, белое, она в нем на свадьбе своей была. Одно платье, а куда пойти — стеснялась надеть его. «Куда ж я теперь в белом? — думала она.— Ведь я теперь старуха, у меня сын есть». Ей было двадцать лет, и было приятно думать, что есть сын и что она теперь старуха.

Еще помнит, что скоро ей почти нечем стало кормить его. Ей говорили, что надо больше пить, и она все пила и пила воду, живот раздувался, а молока все равно не было. Сын часто плакал. Как-то он особенно громко кричал в своей качке, и она сунула ему хвостик селедки: может, хоть заиграется. Он тут же потянул хвостик но рту. Иногда он вытаскивал его изо рта и удивленно рассматривал своими синими смиренными глазами. А потом незаметно уснул. Чтобы сын спал спокойно, она потянула из его рук селедочный хвостик. Он весь, до хребта, был измят его младенческими деснами...

— Гостья дорогая! — подлетел дед.— Вы тут пока не скучайте, а я в сараюшку за капустой сбегаю. У меня старуха такой капусты насолила! — И, как был в одной рубахе, метнулся к двери.

— Фуфайку накинь, старый черт! — встрепенулась она. И тут же поправилась: — Фуфаечку накиньте, холодно там.

Дед вышел.

Падал снег большими хлопьями — будто в небе веселились ангелы и бросали на землю легкие ангельские снежки. Все вокруг было белым, и сопку за огородом почти не видно от снега. Сейчас бы там сесть... Засыпало б, наверное, всего.

Дед вышел, а из-за печки вылезла кошка, помурлыкала, глядя на хозяйку, и полезла на стол. Там отыскала сметанку и, навострив уши, стала лизать ее. «Погоди,— сказала Федотовна,— вот вернется дед, он те покажет, как в чужом доме свои порядки наводить».

Дверь заскрипела, и кошку как ветром сдуло.

— А ваша кошечка здесь сметанку ела,— доложила Федотовна.

— Дак куда ж ты смотрела? — заорал дед.

— Я ж гостья,— напомнила.— А шкодливая у вас кошечка.

— Сущая пропастина,— согласился он.— Выброшу ее завтра к чертовой матери! На мороз выброшу!

— Но-но! Я те выброшу!

— И выброшу! А то ишь, распустились, воли много все взяли! Не-ет,— протянул дед, опрокинув с ходу стаканчик.— Не-ет, вы у меня еще все по одной половице пойдете! Я и его научу мать с отцом уважать. Он у меня будет по одной половице ходить, на другу́ не заглядывать!

— Да он, поди, давно своим умом живет,— вздохнула Федотовна.— У самого уж внуки, сам дед.

— Это уж точно, дед... Посмотрел я вчера на него, так... Высох весь на кукуру, согнулся...

— А то он вчера согнулся? — закричала она.— То он вчера согнулся? Ты чё, не помнишь, каким он приехал тогда?

...До пятнадцати лет за ворота без спроса не ходил. В войну уже работал, ходил с отцом золото мыть, а все равно без спроса — никуда. А в пятнадцать уехал в ФЗУ. Через год приехал домой на побывку. Она ждала, все думала: вот приедет, и не узнаю. Изменился, наверно, подрос. Как уезжал, так на полголовы выше ее был, а сейчас, поди, еще подрастет, мальчишка же, растут они. Но узнала сразу, как на порог ступил. То же беленькое лицо, те же бровки как ниточки. Кинулась обнимать, успела привстать на цыпочки... да так и осталась стоять: сын был вровень с ней ростом. «Сынок! — заголосила она.—

Да как же ты в землю врос?» — «Это, мам, я ссутулился. Ничё, ты привыкнешь».

Привыкнуть никак не могла. Сидит за столом — с лица все тот же, а со спины старик стариком. «Уж больно смиренный»,— думала она и плакала за его спиной. «Ты чё, мам?» — оборачивался сын. «А то, может, не поедешь больше туда?» Он поднимал голову и долго, радостно смотрел на нее. А потом снова согнется, опустит голову и скажет: «Да как же не ехать, мам? Надо ехать»...

— А то он вчера согнулся? То он вчера...

— Ну, ладно, не плачь, мать, не плачь,— растерялся старик.— Ну дак чё ж теперь сделаешь... Ну дак сын-то у нас... за всю жизнь, мать, за всю жизнь слова от него плохого не слышал. Чё ж теперь сделаешь,— бормотал он.— А помнишь, мать, помнишь, как я его маленького звал? Возьму на руки,— засмеялся дед,— таскаю по комнате, а сам все ему: «Ванюшка — золотое брюшко... Ванюшка — золотое брюшко...» Помнишь, мать?

— Пятьдесят лет прошло,— виновато сказала она.— Не упомнишь всего.

— А он смеется, довольный такой, не говорил еще, а понимал, наверно. Он у вас вообще-то молчун, да, мать?

...Дед снова вспомнил тот день. Он не выдержал, взял крадучись бутылку, насобирал в саду яблок и кряхтя полез тоже на сопку. «Чё же он там один? — думал дед.— Счас вдвоем посидим, поговорим». Но сын все молчал. Молча выпил налитую стопку, взял яблоко и стал жевать его, куда-то уставившись взглядом. «Смотри, не червивое ли?» — суетился дед, стараясь заглянуть сыну в глаза. «А,— махнул рукой сын.— Не те черви, что мы едим, а те черви, что нас едят»...

— А помнишь,— улыбнулась Федотовна,— как он маленький песенки пел?

— Ты чё? Бог с тобой,— заморгал дед.— Да он у нас лишний раз улыбнуться боится, а то б он тебе нешто песенки пел.

— И-и-и, старый,— засмеялась она,— ничё ты не помнишь. А я помню... Годков ему пять было... на Новый год. В доме — хоть шаром покати, ни конфетки, ни пряничка. Хлеба и того нет. Господи, твоя волюшка,— дрожит голос Федотовны.

— Ну, чё ты, чё ты,— шепчет ей дед.— Ну, будет, мать, будет...

— А так хочется хоть какой-то гостинчик... порадовать. Меня соседка и надоумила: беги, грит, Тамарка, в клуб, там елку для ребят делают и подарки будут давать. Я подхватилась и бегом с им туда. А там народу — тьма-тьмущая! Со всего поселка бабы сбежались, одна я така умная, чё ли? Уже и не впускают. Кой-как втолкнула его туда, сама в дверях встала, смотрю. Ой, думаю, отломится чё или нет: кто песенки поет иль пляшет — тем дают, а наш, дурачок, в угол забился. Но ничё,— улыбнулась она.— Их потом всех собрали, к елке поставили, и оне хором запели:

Бедный китаец, несчастный индус...

Ой,— шепчет Федотовна, замирая от счастья.— А я смотрю на Ванечку — господи! Золотинка моя! Да какой бравенький, да какой хорошенький! Бровки как ниточки, глазки горят, и так стара-а-тельно вместе со всеми выводит:

Бедный китаец, несчастный индус...
Смотрят с надеждой на наш Союз...

А Дед Мороз каждому — по конфеточке, по конфеточке! Вот так! — смеется она и радостно смотрит на деда.

Дед смотрит в окно. А чего там увидишь? Ничего ведь там нет, хоть шаром покати. Только падает крупными хлопьями снег, обещая летом большие цветы...

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Михаил АНТОНОВ

ВЫХОД ЕСТЬ!

КОГДА И ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ ПЕРЕСТРОЙКА

«ЗАПАДНИКИ», «САМОБЫТНИКИ» И ЧЕРНЬ

Все эти славянисты и европеисты... говорят о двух разных сторонах одного и того же предмета... Один подошел близко к строению, так что видит одну часть его; другой отошел от него слишком далеко, так что видит весь фасад, но по частям его не видит. Разумеется, правды больше на стороне славянистов и восточников, потому что они все-таки видят весь фасад и, стало быть, все-таки говорят о главном, а не о частях.

Н. В. Гоголь

Мы, русские, так уж созданы нашим русским богом, что умеем болеть чужой болью, как своей.

А. И. Куприн

УСИЛЕНИЕ социальной напряженности в нашем сегодняшнем обществе обусловлено многообразными причинами. Тут и углубление имущественного расслоения, далеко не всегда связанное с разницей в размерах трудового вклада и приведшее к сосуществованию мультимиллионеров в нищих (даже голодающих стариков — в наши дни!), и непродуманность национальной политики, и многое другое. В целом складывается довольно сложная картина, и все же главные противоборствующие силы уже определились. Для их уяснения полезно прибегнуть к исторической аналогии, вспомнив развернувшуюся в прошлом веке идейную борьбу между «западниками» и «славянофилами». «Западники» считали Россию отсталой и темной страной, которую может спасти лишь приобщение к европейской цивилизации. «Славянофилы» утверждали, что прогресс Запада — это мираж, движение по тупиковому пути, а кажущаяся отсталой Россия таит в своем духовном наследии такие ценности, которые окажутся спасительными не только для нее, но и для всего мира. Поэтому задача ее — не в слепом следовании за Западом, а в развитии своих самобытных начал в экономике и в каждой отрасли культуры.

Первоначально (имея в виду XIX век, хотя, строго говоря, борьба прозападнического и самобытного течений прослеживается в русской общественной мысли чуть ли не с начала отечественной письменности) во главе «западников» стояли А. И. Герцен и В. Г. Белинский, а во главе «славянофилов» — И. В. Ки-

Окончание. Начало в № 8 за 1989 г.

реевский и А. С. Хомяков. И в то время, и впоследствии за самобытный путь развития России высказывались А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, Д. И. Менделеев, П. А. Флоренский и многие другие деятели русской культуры. Можно сказать, что борьба прозападнического и самобытного течений впоследствии никогда не прекращалась, то принимая скрытые формы, то проявляясь явно.

Вот и сегодня нас призывают обратить свои взоры на Запад и наши ведущие ученые-экономисты, и «компрадоры», и значительная часть руководящих кадров, и все большее число тех, о ком говорят: «простые советские люди». Диапазон суждений здесь весьма широк. Одни предлагают, ссылаясь, между прочим, на В. И. Ленина, поучиться у капиталистов уму-разуму в каких-нибудь частностях, другие откровенно заявляют, что Октябрьская революция была исторической ошибкой, что России следовало бы после февраля 1917 года развиваться по капиталистическому пути — в таком случае она сегодня была бы, дескать, самой могущественной и просвещенной державой мира.

Анализировать соотношение разных струй этого единого потока в рамках статьи невозможно, да оно к тому же еще и постоянно меняется, поэтому, может быть, есть смысл посмотреть на ту группу, которая делает наиболее радикальные выводы из идеи равнения на Запад. Кажется, если судить по печати (Н. Волынский. Ход конем.— «Правда», 1989, 14 апреля), такой группой можно считать Демократический союз (ДС).

Сам ДС именует себя «партией, оппозиционной к тоталитарному режиму», «политическим противником КПСС», устранения которой с политической арены он добивается. Его цель — полное изменение общественного строя, для чего допускается использовать все средства — от акций гражданского неповиновения, всеобщей политической стачки и до террора в отношении коммунистов и других идейных противников, аварий и взрывов в политических целях на железных дорогах, химических комбинатах, атомных электростанциях. ДС — сложившаяся организация со своей программой, оргпринципами, уставом, правилами приема, печатными изданиями, зарубежными связями. Кроме гласных членов, в нем есть и негласные, законспирированные, ведущие вербовочную работу, в том числе и в Вооруженных Силах. Делая ставку на вооруженный захват власти, ДС создает группы боевиков, включающие и военных, и матерых уголовников*.

О том, как вызывающе вели себя сторонники ДС и его лидер В. Новодворская во время митинга на Пушкинской площади в Москве, запрещенного властями, рассказывалось в газетах (например, в «Советской России» за 25 апреля 1989 г.). Можно ли хоть на миг усомниться в том, что эти люди, если потребуется для достижения их целей, не задумываясь ввергнут страну в пучину гражданской войны?

Мне могут возразить, что я основываю свои суждения на тенденциозно составленных материалах нашей официальной, особенно партийной печати. Но полистайте печатный орган самого ДС — газету «Свободное слово». Там, естественно, в более приличной форме высказано все то же — одобрение Февральской революции и осуждение Октябрьской, призывы к отстранению от власти КПСС, к созданию параллельных структур власти, к установлению рыночного хозяйства, к проведению кампаний гражданского неповиновения...

История должна была бы научить нас быть бдительными в отношении подобных деятелей. Ведь в послеоктябрьский период Троцкий и его сторонники были готовы на штыках Красной Армии «принести социализм» странам Европы и Азии, рассматривая русский народ как своего рода охапку хвороста в костре мировой революции. Доверчивость русских людей, с готовностью устремившихся к обещанному всемирному братству и ради этого идеала не остановившихся перед смертным боем со своими же единородными братьями, сыграла с ними злую шутку и привела к многомиллионным жертвам, разрухе, голоду, обнищанию и одичанию громадных масс населения. А тем, кто подталкивал русских людей на

* В любом правовом государстве организация с подобной программой была бы признана террористической и преследовалась бы по всей строгости закона. Между тем акции ДС проводятся открыто в разных концах страны, что наводит на мысль о поддержке его со стороны весьма влиятельных кругов.

разжигание гражданской войны, ничего и никого не было жалко, они были космополитами по убеждениям и устремлениям, им были равно чуждыми и Россия, и любое другое из существовавших тогда государств Европы или Азии. Неужели мы допустим повторение подобной трагедии и пойдем на поводу у ДС?

Ныне ДС, по сути, открыто действует в Москве, Ленинграде и многих других городах страны. В одних городах у него есть приличные по численности организации, в других — небольшие группки, но они связаны между собой идейно и организационно, а потому уже сегодня представляют собой определенную силу.

Один русский мыслитель определил демократию как господство организованного меньшинства над неорганизованным большинством. ДС, конечно же, в народе — это капля в море, но он организован, а силы, ему противостоящие, особой организованностью ныне не отличаются. Даже КПСС, которую ДС считает своим главным врагом и которая всегда отличалась железной дисциплиной, ныне вряд ли можно считать вполне организованной силой: вследствие утраты высокой цели и общих идеалов, о чем говорил в приводившемся выше выступлении Ал. Михайлов, в партии образовались как бы внешне не оформленные фракции. Во всяком случае, во время избирательной кампании по выборам народных депутатов СССР некоторые коммунисты выступали с требованием установления в стране многопартийной системы. Еще несколько лет назад подобное и представить себе было невозможно, это было бы расценено как посягательство на «святая святых» — на закрепленную в Конституции СССР руководящую роль КПСС и повлекло бы за собой неминуемое исключение из партии.

Один мой знакомый, научный работник, прислал мне копию своего письма в журнал «Коммунист», в котором, в частности, отметил, что слова «коммунизм» и «коммунистический», по сути, выходят из употребления, и спросил редакцию, почему журнал еще носит такое название и имеет ли партия право по-прежнему именоваться КПСС. При таком положении идеологическое, а значит, и организационное единство партии может в критический момент оказаться лишь видимостью. Напомню, что в 1956 году Венгерская компартия была очень многочисленной (по масштабам страны), но после первых же серьезных испытаний распалась и сошла с политической арены.

Поскольку ДС — сила организованная, но сравнительно малочисленная, ему для взятия власти необходимо увлечь за собой широкие слои народа. Очевидно, этой цели призваны служить разного рода народные фронты, созданные или создаваемые в различных районах страны. Программы их довольно расплывчаты, но направляющая рука единого дирижера все же чувствуется, и в нужный момент эти огромные людские массы могут быть приведены в движение под каким-нибудь одним внешне привлекательным, но по существу антисоциалистическим лозунгом.

Ратуя за переход к рыночной экономике и подчеркивая, что рынок требует непременного превышения предложения над спросом, «западники» забывают добавить, что для выполнения этого условия нам надо намного увеличить производственные мощности, почти заново создать необходимую инфраструктуру и т. п. Выполнить эти работы своими силами в современных условиях в короткий срок невозможно, поэтому переход к рыночной экономике подразумевает гораздо более глубокое проникновение в нашу экономику, а по сути — установление господства — транснационального капитала.

Соблазняя наш народ прелестями капиталистического рая, космополиты умалчивают о том, что именно капитализм с его потребительской устремленностью и засильем «массовой культуры» поставил человечество на грань гибели. В том, что в озонном слое Земли появилась громадная дыра, повинны не Тунис, не Эквадор, а прежде всего развитые капиталистические страны. Ученые-экологи спорят между собой о сроках, когда при сохранении нынешних тенденций исчезнет жизнь на Земле — через 25 лет, как считает Ф. Я. Шипунов, или через 50, как утверждают более оптимистически настроенные специалисты? Но в том, что капитализм ведет человечество к гибели, сомнений у них нет. США, занимающие шесть процентов земной суши, «поставляют» в окружающую среду сорок процентов всех вредностей. Разве не ясно, что если другие страны догонят США

по объему производства, это будет равнозначно вселенской катастрофе? Значит, капиталистический мир — вовсе не рай и не образец для подражания, он давно себя изжил, и если еще держится на ногах, то только потому, что наша страна, первой вставшая на путь социализма, не выработала идеала, который мог бы стать альтернативой капиталистическому пути и путеводной звездой для всего человечества.

«Западники» в качестве высшего авторитета в области экономики все еще почитают, как мы могли убедиться выше, В. Леонтьева и Дж. Гэлбрейта, которых и в странах Запада все более широкие круги общественности относят к числу мыслителей вчерашнего дня. Понимание новой ситуации, сложившейся в мире, присуще там мыслителям совсем иного круга. О них можно получить представление, например, по вышедшей в 1987 году книге западногерманского ученого Р. Баро «Логика спасения» (реферат по ней издан в 1989 г. ИНИОН АН СССР), где четко сформулирован выбор, перед которым стоит человечество: либо духовное возрождение, либо гибель. Р. Баро убедительно показал гибельность идеологии рыночного хозяйства, на которую молятся наши «западники».

Не мешало бы вспомнить и многочисленные высказывания крупнейших современных идеологов капиталистических стран Запада и Японии о том, что индивидуализм, составляющий сущность западноевропейского миропонимания, и потребительство, все более захватывающее массы японцев, постепенно изживают себя, что капиталистический мир нуждается в иной, более возвышенной системе ценностей. Запад только начинает открывать для себя преимущества общинного (или, как его там называют, коммунитаристского) строя жизни, то есть лишь подходит к тому, что в России от века было первым устоем общественного устройства. **В этих условиях призывы наших «западников» равняться на индивидуалистические капиталистические порядки показывают провинциализм их мысли, ее отставание по меньшей мере на столетие.**

Ну и конечно же, соблазняя идеями свободы и благосостояния, «западники» забывают добавить, что эти блага при капитализме в полной мере доступны лишь тем, у кого много денег. Да, жизненный уровень основной массы населения там несравненно выше, чем у нас, это неоспоримо и естественно. Раз мы от капитализма ушли, а к социализму, обращенному к человеку, не пришли, то у нас неизбежно должна была сложиться своего рода химерическая и крайне неэффективная экономика, принципиально не позволяющая добиться резкого повышения уровня жизни, однако, и будучи сытым, одетым и обутым, рядовой человек в капиталистическом мире чувствует себя отнюдь не хозяином жизни. А наши «западники» рисуют его чуть ли не маленьким Рокфеллером, что, разумеется, весьма далеко от действительности.

Частная собственность на средства производства, свобода предпринимательства в современных условиях, когда экономика приобретает плакетарные масштабы,— это анахронизм. Этим я вовсе не хочу сказать, что так называемая общенародная собственность в той форме, в какой она утвердилась у нас, всегда лучше частной. Если собственность как бы ничья, а на деле скорее принадлежит аппарату управления, то в таком обществе трудно ожидать высокоэффективной экономики. Частник болеет за свою собственность, думает о ее приумножении, а чиновник-временщик стремится выжать из своего положения все возможное, ради рапорта об успешном выполнении плана готов разорить вверенную ему область или отрасль, чтобы только прыгнуть на более высокую ступеньку иерархической лестницы.

Усиление космополитических и антисоциалистических настроений не могло не вызвать ответной реакции в народе. В разных районах страны стали возникать патриотические объединения, отстаивающие национальные интересы отдельных народов, которым космополиты, по сути, готовят уничтожение. Таким образом, кроме выразителей официальной точки зрения, на пути дестабилизирующих сил встают постепенно организующиеся патриотические объединения, выражающие интересы народа. Мне довелось, например, знакомиться с работой небольшого, но крепкого объединения «Отечество» в Тюмени. Оно участвует в реставрации старинных зданий — памятников истории и культуры, создало несколько кооперативов, преследующих не только коммерческие, но и общекультурные цели (один из них, например, занят выпечкой настоящего русского хлеба), возрождает забытые ремесла, пробуждает у жителей города и области интерес к истории родного края и к преданным незаслуженному забвению достижениям культуры прошлого. Но, пожалуй, самых больших успехов оно добилось в двух сферах — в борьбе против угрозы размещения экологически опасных производств и за утверждение трезвого образа жизни. В результате нескольких многотысячных митингов жителей города, проведенных «Отечеством», удалось добиться отмены постановления о сооружении вблизи Тюмени экологически опасного комбината по производству минеральных удобрений. Подобные же организации созданы в Челябинске, Иркутске и ряде других городов.

Из патриотических объединений в данный момент, пожалуй, наиболее сильны те, что выступают не с политическими, а с экологическими требованиями. Главный сдвиг в общественном сознании, видимо, наиболее ярко выразил врач Н. Водянов: «Если мы не начнем действовать сами, нам не выжить» («Социалистическая индустрия», 2 апреля 1989 г.). Эта мысль ныне приходит в голову все большему числу людей. Возникли общественные комитеты спасения Волги и Оби Последний обратился с призывом «поднять население Алтая на расчистку берегов и посадку на них леса, взять под контроль природоохраниую деятельность предприятий, предавать огласке каждый факт варварского отношения к рекам» («Советская Россия», 30 апреля 1989 г.). Очевидно, жители Алтая хотят спасти свой край вовсе не для того, чтобы отдать его в распоряжение иностранных колонизаторов.

Однако на сегодня патриотические организации и движения, по крайней мере в России, еще малочисленны и организационно слабы. **Во-первых, русское национальное самосознание, всячески подавлявшееся на протяжении десятилетий, еще только пробуждается. Во-вторых, патриотическое движение встречает во многих местах сильное сопротивление властей, особенно там, где среди руководящих кадров сильны космополитические настроения. В-третьих, оно не имеет достаточно средств и не получает поддержки из-за рубежа, в отличие от ДС. Наконец, в-четвертых, оно направлено на созидание, а не на разрушение, как тот же ДС, а большие массы людей повернуть на разрушительную работу гораздо легче, чем на созидательную.**

И тем не менее патриотическое движение набирает силу. Важным шагом на пути его идейного и организационного укрепления стало создание в марте 1989 года Союза духовного возрождения Отечества, который выступает с подлинной программой национального спасения и выдвигает альтернативные разорительным ведомственным планы развития разных отраслей экономики.

Итак, главная борьба ныне развернулась между двумя течениями — космополитическим и патриотическим. Космополиты ратуют за полное и всестороннее включение нашей страны в единую мировую экономику, которое в сегодняшних условиях может привести страну только к превращению в колонию транснациональных корпораций. Патриоты отстаивают независимость страны и самостоятельный путь ее развития. Они исходят из того, что народы нашей страны, в особенности русский народ, на протяжении веков жили общинной или артельной жизнью и потому мыслят свое будущее не на принципах буржуазного индивидуализма, а в тех или иных формах социалистического уклада жизни. Отвергая деформации социализма, они отстаивают социалистические идеалы и ценности, а также единство и территориальную целостность СССР, ибо отчетливо сознают, что великие задачи возрождения родной страны можно решить только объединенными усилиями советских людей, и решить сознательно, в плановом порядке, как подобает «цивилизованным кооператорам» (В. И. Ленин), а не на основе стихии товарно-денежных отношений, когда хозяином жизни становится его величество рубль.

Но оба эти течения — и космополитическое, и патриотическое — крайне малочисленны. А где же остальной народ, чем он занят, почему не включается в борьбу в момент, когда речь идет о его исторических судьбах?

А народ занят, кроме повседневного труда на производстве и хлопот по доставанию предметов первой необходимости, тем, что почитывает популярные журналы и смотрит телевизор. Интеллигенция еще читает «толстые» журналы и

следит за полемикой между «Нашим современником», «Молодой гвардией» и «Москвой» с одной стороны и «Огоньком», «Московскими новостями», «Знаменем» и родственными им по духу изданиями — с другой, недоумевая, к чему такая брань между лагерями писателей: тираж и гонорары не поделили они между собой, что ли? Ей и невдомек, что речь идет о вещах, куда более важных, что главный рубеж проходит между теми, кто отстаивает технологическую, экономическую, военную, политическую, культурную и духовную независимость Родины, и теми, кто, подобно «легальному марксисту» рубежа XIX и XX веков Петру Струве, призывает признать нашу некультурность и пойти на выучку к капитализму. Тем более не догадываются о главном предмете современных споров самые широкие слои рабочих, колхозников и учащейся молодежи. Они недовольны существующим положением, но совершенно не имеют понятия о возможности самобытного развития страны, которое обеспечило бы народу гораздо более счастливую жизнь, чем в странах Запада.

Но почему же основная масса народа так безучастна к собственной исторической судьбе?

Главная причина тому — в бездуховности, о которой шла речь выше. Пренебрежение к высшим вопросам человеческого бытия, свойственное в силу обстоятельств нескольким поколениям наших соотечественников, сделало свое дело. В народе растут искусно подогреваемые потребительские настроения, он все более отучается созидать, украшать и благоустраивать свою землю, а его идеалом становится сытое безделье и развлечения. В который раз подтверждается истина, что народ живет полнокровной жизнью, пока в его душе наличествует высокий идеал (кстати сказать, своим идеалом русский народ веками считал не Русь Великую или Русь Могущественную, а Святую Русь). Если же идеал надолго утрачивается, то возникает угроза превращения народа в человечесное стадо, в то, что гении русской культуры именовали словом «чернь». Кажется, сегодня такая угроза становится для нас вполне реальной.

В любом своем проявлении чернь — не радость, почему ее бичевали и поэты, и пророки. Но все же самая презренная разновидность черни — это чернь полуобразованная, космополитическая, либеральная, именующая себя интеллигенцией. Видимо, о ней нужно вести отдельный разговор. А вот поведение черни и тех, кто ею верховодит, можно кратко разобрать и здесь.

Мне приходилось наблюдать, как проходила кампания по выборам народных депутатов СССР в нескольких избирательных округах Москвы. Особенно сильное впечатление произвела на меня борьба между двумя кандидатами, из которых один известен своей патриотической позицией, а другой опирался на поддержку космополитических сил. Лично я считаю, что по объективным данным в рассматриваемом случае патриот на голову выше космополита, но победил последний, широко использовавший опыт избирательных кампаний в странах Запада. Его группа поддержки нанимала подростков, чтобы они срывали плакаты противной стороны, угощала алкоголиков водкой и направляла их против активистов оппонента и т. п. Знакомый политолог, с которым я поделился своими наблюдениями, с грустью заметил: «Что ж, наш народ вполне созрел для буржуазной демократии, для манипулирования им». Как осуществлялось это манипулирование, я видел собственными глазами. Как уже отмечалось выше, с принципиальной программой не выступил, кажется, ни один кандидат (из мне известных), но при прочих равных условиях у социального демагога было гораздо больше шансов на успех, чем у того, кто, скажем, предлагал серьезные меры по выходу страны из кризиса. Много говорилось, и в целом справедливо, о том, что избрание депутатов от общественных организаций не очень вяжется с принципами демократии, но не будь его, в нашем парламенте, кажется, вообще оказалось бы полное засилье прозападнического течения и социальных демагогов.

Почему складывается такое положение? Надо откровенно признать: кризисное состояние, разорение страны — это следствие не только просчетов со стороны высшего и местного руководства, но и того обстоятельства, что мы создали цивилизацию хищников, колонизаторов и временщиков, то есть черни. Да, в том, что сотни миллиардов рублей были зарыты в землю при осуществлении проектов мелиорации, гидроэнергостроительства и т. п., причинивших огромный ущерб

стране, повинны прежде всего руководители соответствующих министерств, их ведомственный подход. Но разве рядовые работники этих ведомств, осуществлявшие данные проекты, показали себя с лучшей стороны? Разве они — бессловесные рабы, которых силой согнали на вредные для государства работы? Почему они не бойкотировали эти людоедские стройки, а, напротив, спешили воспользоваться установленными для них льготами? Знакомый эколог, собиравший на месте материалы для статьи против строительства явно вредного канала Волга—Чограй, услышал совет машиниста экскаватора и бульдозериста убираться подальше, иначе не ровен час всякое может случиться. И действительно, едва не случилось...

Превращение народов в чернь — это глобальный процесс, умело направляемый космополитическими силами. Какое-то время наша страна могла оставаться островом, не затронутым этим процессом, потому что отгородилась от мира «железным занавесом». Такая защита очень несовершенна, гораздо эффективнее было бы противопоставить космополитической идее, обращенной к самым низменным сторонам человеческой природы, более высокую идею, зовущую людей к благородству и созиданию. Страна, располагающая идеей, которая может повести за собой мир духовно, заинтересована в устранении всяких «занавесов», в экспорте своих духовных ценностей. Мы же устранили «железный занавес», не вооружив народ такой возвышающей идеей, и тем самым поставили своих соотечественников в положение, когда большинству их гораздо легче пополнить ряды черни, чем стать воистину благородными людьми. Думаю, это великий грех, который нам вряд ли простит История.

Более века назад Н. А. Некрасов написал пророческие строки:

Где народ, там и стон. Эх, сердечный,
Что же значит твой стон бесконечный?
Ты проснешься ль, исполненный сил,
Иль, судеб повинуясь закону,
Все, что мог, ты уже совершил, —
Создал песню, подобную стону,
И духовно навеки почил?..

В наши дни народ призван ответить на этот вопрос поэта.

Многие мои патриотически мыслящие соотечественники настроены пессимистически. По их мнению, ужасающая демографическая ситуация в России, невосполнимые потери генофонда, понесенные русским народом, засилье космополитических и компрадорских элементов в сфере управления и в средствах массовой информации, кабала, в которую нас ввергает политика «сотрудничества» с Западом,— все это заставляет думать, что нашей Родине уготована печальная судьба, и долг верных сыновей и дочерей Отчизны — служить ей до конца, облегчая, по возможности, ее предсмертные страдания. Я категорически отметаю подобные настроения. Мне больше по душе мысль, которую я как-то вычитал у М. М. Пришвина: «Все говорят, что русский народ кончается. А он, может быть, только начинается». В этом меня убеждает и следующее обстоятельство.

В состоянии кризиса ныне находится весь мир, но только Россия имеет такое духовное наследие, в том числе труды наших великих мыслителей XIX— начала XX века, которое указывает человечеству путь спасения. Ныне это наследие лучше известно на Западе и в Японии, чем у нас, но там оно непонятно, потому что не увязывается с их культурными традициями. У нас же собственное духовное наследие не востребовано, но когда оно придет к нам (хотя бы, как это и прежде часто бывало, через Запад), то упадет на подготовленную почву. Духовное возрождение превратит чернь и скопище людей, озабоченных лишь сиюминутными и прагматическими интересами, в Народ, и это будет спасением для всего человечества.

Итак, мы стоим ныне перед выбором. Возродим свой народ духовно, дадим ему снова высокий и облагораживающий идеал — и развитие страны пойдет гигантскими шагами. Не появится такой идеал, не овладеет массами — процесс распада пойдет интенсивнее, и тогда его последствия трудно определить, а сказать можно только то, что будут они весьма печальными.

Но с какими бы трудностями мы сегодня ни сталкивались, нам надо твердо знать, что решение глобальных проблем, вставших перед человечеством, невоз-

можно при сохранении частной собственности на средства производства, а потому капиталистический путь развития — при любом научно-техническом прогрессе — это тупик. Выход из кризиса может указать миру только наша Родина, Советская Россия, Россия обновленного, возвращающегося к народным основам социализма!

Вот почему я в последнее время все чаще повторяю про себя строки стихотворения И. С. Никитина, которые кажутся мне особенно подходящими именно для нашего времени:

Пронесет Бог грозу,
Взглянет солнышко,
Шире прежнего, Русь,
Ты раздвинешься!
Будет имя твое
Людям памятно,
Пока миру стоять
Богом сужено.

Но чтобы осуществилась такая возможность, надо дать народу положительную программу действий. В чем же должна она состоять?

ВЕХИ НАШЕЙ ПРОГРАММЫ

О светло светлая и красно украшенная земля Русская!
«Слово о погибели Русской земли», XIII век

Я не хочу жить лучше своего народа, я не могу и не хочу жить и видеть истребление, агонию моего народа.
Я хочу разделить его судьбу полностью, до конца и без оглядки.
А. П. Довженко

В конце XIX века русский мыслитель Владимир Соловьев, размышляя об исторических судьбах человечества, резко критиковал капитализм как бесчеловечный, людоедский общественный строй. Однако он не считал существовавшие тогда теории социализма открывающими путь для становления принципиально иного строя жизни народов. Вот как изложил он свою главную мысль по этому вопросу:

«Собственность, как еда и питье, не может быть безнравственной — дело в том, на что она направлена (если бог их чрево) ...обладание вещественным богатством в какой бы то ни было форме может быть безнравственным, именно когда в нем полагается последняя цель жизни, и достижение его становится определяющим началом деятельности. Таким образом, если современное состояние цивилизованного общества, вообще говоря, есть ненормальное в нравственном смысле, то виной этого не то или другое социальное учреждение, безразличное само по себе, а общий принцип современного общества, в силу которого оно все более и более превращается в плутократию, то есть в такое общество, в котором верховное значение принадлежит вещественному богатству. Безнравственна не индивидуальная собственность, не разделение труда и капитала, а именно плутократия. Она же безнравственна и отвратительна как извращение общественного порядка, как превращение низшей и служебной по существу своему области, именно экономической, в высшую и господствующую, которой все остальное должно служить средством и орудием. Но от этого извращения не свободен и социализм. В самом деле, если для представителя современной плутократии нормальный человек есть прежде всего капиталист, а потом уже... гражданин, семьянин, образованный человек, может быть, член какой-нибудь церкви, то ведь и с точки зрения социализма все остальные интересы исчезают перед интересом экономическим, и здесь также низшая материальная область жизни,

промышленная деятельность, является решительно преобладающею, закрывает собой все другое. То существенное обстоятельство, что социализм ставит нравственное совершенствование общества в прямую зависимость от его экономического строя и хочет достигнуть нравственного преобразования путем экономической революции, ясно показывает, что он, в сущности, стоит на одной и той же почве со враждебным ему мещанским царством, именно на почве господствующего материального интереса. Если для представителя плутократии значение человека зависит от обладания вещественным богатством в качестве приобретателя, то для социалиста точно так же человек имеет значение лишь как обладатель вещественного благосостояния, но только в качестве производителя; и здесь и там человек рассматривается прежде всего как экономический деятель, и здесь и там последнею целью и верховным благом признается вещественное благосостояние — принципиальной разницы между ними нет. Социализм лишь проводит принципы плутократии с большею последовательностью и полнотой. Если мещанское царство, отдавая преобладание экономическому интересу, допускает, однако, хотя и с подчиненным значением, существование и других интересов вместе с соответствующими им учреждениями, допускает государство и церковь, то социализм в своем последовательном и крайнем проявлении, Международном союзе рабочих, отрицает все это: для него человек есть исключительно только экономический производитель и все человечество — только экономический союз,— союз рабочих безо всяких других различений; и если преобладание вещественных интересов, хозяйственного и промышленного элемента составляет характеристическую черту буржуазии или мещанского царства, то в том социализме, который хочет ограничить человечество исключительно этими низшими интересами, мы находим крайнее выражение, последнее заключение мещанства.

В более последовательных формах своих социализм допускает другие, нравственные интересы, но не как самостоятельные, а в полной зависимости от вещественных условий, привязывает их к экономическим интересам и отношениям...

Вообще ясно, что социалисты и их прямые противники (представители плутократии) бессознательно подают друг другу руку в самом существенном пункте. Плутократия злоупотребляет народными массами, эксплуатирует их в свою пользу потому, что видит в них лишь рабочую силу, лишь хозяйственных производителей; но и последовательный социализм точно так же ограничивает существенное значение человека экономической областью, и он видит в человеке прежде всего рабочего, производителя вещественного богатства, экономического деятеля, но в этом качестве нет ничего такого, что по самому существу должно было бы ограждать человека от всякой эксплуатации».

Подумать только — ведь это написано в конце прошлого века! Сколько бед можно было бы избежать, какое падение нравов можно было бы предотвратить, если бы теория социализма в надлежащей мере учла не только экономические, но и духовно-нравственные основы развития общества. Прежде чем ставить вопрос, как и сколько производить продукции и как ее распределять, надо было бы решить, зачем, во имя чего ее производить. Иными словами, нужно было сначала определить призвание человека и смысл его жизни и уже отсюда делать выводы применительно к экономике.

Подробно разобрав строй жизни обществ, где царит культ не Христа, а Ваала, Вл. Соловьев продолжает:

«Оба враждебных класса обусловливают друг друга и не могут выйти из ложного круга до тех пор, пока не признают простого и несомненного, но ими де-факто, если не де-юре, отвергаемого положения, что значение человека, а следовательно, и человеческого союза, то есть общества, не ограничивается и не определяется одними экономическими отношениями, что человек не есть по преимуществу хозяйственный деятель, а нечто большее, и что, следовательно, и общество тоже есть нечто большее, чем хозяйственный союз.

Общий существенный грех социализма состоит в том предположении, что известный экономический порядок (как-то: слияние капитала с трудом, союзная организация промышленности и т. д.) сам по себе есть нечто должное, безусловно нормальное и нравственное, то есть что этот экономический порядок как таковой

уже заключает в себе нравственное начало и вполне обусловливает общественную нравственность, которая вне его не может и существовать, так что здесь нравственное начало, начало должного или нормального, определяется исключительно одним из элементов общечеловеческой жизни — элементом экономическим, и ставится в полную зависимость от тех или других экономических порядков, тогда как поистине, наоборот, экономические отношения, будучи сами по себе лишь фактами материального порядка, для того, чтобы иметь нормальное или объективно нравственное значение, должны определяться формально нравственным началом и, следовательно, с этой стороны от него зависеть. Разумеется, нравственное начало для своей полноты и совершенной объективности должно быть проявлено и осуществлено везде, во всех сферах и областях жизни, следовательно, и в области экономической (чем и определяется задача объективной этики), но именно отсюда и ясно, что проявляемое и осуществляемое, то есть нравственное начало, само по себе, по существу своему не может зависеть от той или иной области своего проявления (например, экономических отношений), а, напротив, само сообщает им их нравственное качество... Правильный экономический порядок, нормальный хозяйственный союз еще не составляют нормального, то есть нравственного общества, это только один из необходимых его элементов, который социализмом принимается за целое. Главный грех социалистического учения не столько в том, что оно требует для рабочих слишком многого, сколько в том, что в области высших интересов оно требует для неимущих классов слишком малого и, стремясь возвеличить рабочего, ограничивает и унижает человека».

Почти через сто лет после того, как были написаны эти строки, советские ученые — академики А. Г. Аганбегян, Т. И. Заславская и другие — признают публично, что в нашей стране человек на протяжении многих десятилетий рассматривался как «трудовой ресурс», работник, «рабочие руки». Более того, потомственных крестьян лишали отцовского дома, деревни, обживаемой десятками крестьянских поколений, тысячелетних сел, следуя преступной разработке Заславской о насильственном сселении и «неперспективных» деревнях. Нужно ли после этого удивляться тому, что жизненный уровень советских людей столь низок, что в глубочайшем упадке оказались культура и нравственность? Именно в принципиальной ограниченности такого «экономического социализма», в его взгляде на человека только как на работника Вл. Соловьев видел главную причину его неизбежного упадка:

«...Как все отвлеченные начала, социализм, представляя один частный элемент цельного человеческого бытия и ограничиваясь этим частным элементом, вместе с тем стремится стать всем, покрыть собою все, и в этом стремлении к полноте и универсальности вступает во внутреннее противоречие с самим собою и логически уничтожается».

Многих из нас удивляет размах хищений и всяких других махинаций, вскрытых в нашем социалистическом обществе в последние годы. Между тем они, по сути, неизбежны при строе «экономического социализма», в котором Вл. Соловьев подметил еще одно существенное внутреннее противоречие:

«Если господствующим признан интерес материального благосостояния, если это последнее полагается как высшая цель, то все остальное и, между прочим, нравственный интерес, может быть только средством. Между тем социализм, требуя общественной правды и вместе с тем ограничивая все интересы общества экономической сферой, как бы говорит каждому: высшая цель человека есть материальное благосостояние, но ты не должен стремиться к личному обогащению, а прежде всего должен заботиться о благосостоянии всех других. Очевидно, это последнее требование социализма противоречит его исходной точке. Если отдельное лицо станет на точку зрения материального благосостояния как высшего блага и положительной цели жизни, то, очевидно, оно прежде всего будет стремиться к л и ч н о м у обогащению, и решительно нельзя указать, что бы могло заставить его предпочитать чужую пользу или даже просто иметь в виду общественное благо как таковое. Очевидно, на этой точке зрения каждый будет заботиться о других единственно лишь насколько они пригодны для его материальных целей, то есть он будет их эксплуатировать, относиться к ним как к вещам полезным, а не как к лицам, следовательно, деятельность, исходящая из этого принципа, будет по необходимости несправедлива и безнравственна. Благо

других может быть постоянным мотивом моей деятельности, и, следовательно, сама эта деятельность может иметь нормальный характер лишь в том случае, если я признаю заботу о других для себя о б я з а т е л ь н о ю, то есть признаю, что другие имеют на меня некоторые п р а в а, ограничивающие мой материальный интерес. Но в таком случае этот последний уже не есть определяющий мотив и высшая цель моей деятельности, ибо высшая цель не может быть ничем ограничена, так как тогда явились бы две высшие цели, что нелепо. Определяющим мотивом является здесь уже справедливость, заставляющая меня уважать чужие права, и высшею целью является правда, то есть осуществление всех прав, осуществление справедливости. Здесь уже не право определяется экономическим интересом, а, напротив, экономический интерес находит свою границу, свое высшее определение в праве как самостоятельном начале».

Эта мысль Вл. Соловьева, развитая впоследствии выдающимися мыслителями рубежа XIX—XX столетий, не была понята ни революционерами, ни консерваторами. Лишь сегодня, когда плоды пренебрежения духовной стороной общественного развития, выразившиеся прежде всего в повсеместном ужасающем падении нравственности и росте преступности, особенно тяжелых ее видов, становятся очевидными для многих, идея о первостепенном значении духовной стороны социализма может быть оценена по достоинству.

То, что мы сотворили со своей землей за семьдесят лет, говорит не только о несовершенстве хозяйственного механизма, но и о том, что наш человек утратил представление о своем высоком предназначении. Погубить Арал и Приаралье, превратить в загрязненную нефтью пустыню Ферганскую долину — эту жемчужину Средней Азии, отравить и продолжать отравлять Волгу и Днепр, Обь и Иртыш, Амур и Енисей, Ладогу и Байкал могут только люди, низведенные до положения бездумных «экономических человеков», заинтересованных лишь в сиюминутной эгоистической выгоде и живущих по принципу «после нас хоть потоп». Если в обществе возобладает такой тип бездуховного человека, то он разнесет вдребезги любую экономику. Создать же процветающую страну он в принципе не в состоянии.

Сейчас нас занимают вопросы самофинансирования, хозрасчета, весь интеллектуальный потенциал общества нацелен на решение сиюминутных задач, все мы стали немыслимыми прагматиками, мало-мальски видные деятели строят виллы, стараясь перещеголять друг друга, а ведь все наши усилия напоминают, по выражению одного моего знакомого, покраску палубы корабля, идущего ко дну. Разве о том надо думать сейчас?

Этим я не хочу сказать, что надо забросить все наши хлопоты о материальных благах и заняться исключительно духовными проблемами, — а именно так чаще всего представляют дело мои недобросовестные оппоненты. Человек — существо земное и потому нуждается в земном. Но он же и существо космическое и нуждается прежде всего в осознании своего места во Вселенной и своего долга перед ней — в этом его «духовный хлеб». Весь вопрос в приоритетах. Две тысячи лет назад было сказано, что люди должны стремиться к Высшей Правде, и тогда необходимые земные блага приложатся им. Людям нужны и хлеб, и жилище, и одежда, и обувь, но в не меньшей степени нужно и осознание того, что они — люди и обязаны жить и вести хозяйство по-человечески. Если есть осознание этого, то и производство материальных благ будет поставлено достойным человека образом. Если же вопросы хлеба насущного окажутся на первом плане, более того — совсем вытеснят высшие вопросы человеческого бытия, то есть то, что и делает людей людьми, то вся жизнь общества примет звероподобный характер. Да, нужно развивать предприимчивость, обеспечивать свободу предприятиям, углублять хозрасчет, поощрять рост материального благосостояния и строительство дач (на трудовые доходы), но прежде надо отчетливо представлять себе, во имя чего — какой высшей цели? — все это делается.

Вот почему сейчас надо, как говорил еще Гоголь, напомнить человеку, что он не материальная скотина, что нам нужно возродить нами же разоряемую страну. Ведь чтобы поднять нашу экономику, не требуется особого ума или каких-то сверхъестественных усилий. Как говорил один экономист, для этого лишь не надо делать глупостей. Между тем мы будто только тем и занимались на протяжении десятилетий, что делали одну глупость за другой, причем несо-

стоятельность предлагавшихся в качестве «золотого ключика» мер, будь то повсеместное внедрение посевов кукурузы или сселение «неперспективных» деревень, здравомыслящему человеку была очевидна с самого начала, но никто из высокопоставленных деятелей и слушать не хотел никаких возражений. Создается впечатление, будто кто-то подсовывает высшим руководителям один нелепый проект за другим, основываясь на принципе: пока они разберутся в одной галиматье, мы уже подготовим очередную.

Надо уяснить, что планирование экономического развития — это не игра в рост абстрактных цифр национального дохода, валового национального продукта, объема производства или суммы освоенных средств, а сопоставление имеющихся ресурсов с потребностями общества, расположенными в порядке их приоритетности. Значит, нам вовсе не нужны заумные экономико-математические модели, разработкой которых без малейшей пользы для страны десятилетиями занимаются многие научно-исследовательские институты и сотни отделов, лабораторий и секторов, а требуются лишь грамотные хозяйственники, знающие проблемы и нужды разных регионов и понимающие, что в современных условиях чисто экономических задач не существует,— любая из них одновременно и социальная, и политическая, и экологическая, и нравственная. Это было показано выше на примере предложений горе-экономистов добывать фосфориты в Эстонии открытым способом. Подобные примеры говорят о том, что современная экономика — это лженаука, некритически перенесенная в наши условия из XIX века. Голые экономические подсчеты в наши дни — это анахронизм. Не существует никаких волшебных формул вроде формулы для определения срока окупаемости капиталовложений и сравнения его с нормативным. Ныне экономические расчеты — это конкретный анализ конкретной ситуации и достижение консенсуса заинтересованных сторон с учетом всех существенных обстоятельств — экономических, политических, экологических и т. п., а это доступно лишь людям, овладевшим новым мышлением.

Ведь только на то, чтобы привести в порядок нами же разоренные земли, понадобятся десятилетия упорного труда. А что же достается потомкам, если мы будем продолжать вести себя как временщики и хищники, которым всего важнее — урвать сегодня кусок пожирнее?

Вот почему нет сейчас более важной задачи, чем довести до сознания людей: человек — не свинья, у которой глаза устроены так, что она смотрит только в землю, и наивысшее для нее наслаждение — опустить рыло в корыто с пойлом. Человек — существо не только земное, но и космическое, он может и обязан хоть изредка поднимать взор вверх, к небу, задумываться над своим призванием, над вечным, над тем, что он — звено в цепи поколений, у него есть долг перед прошедшим, настоящим и будущим, обязанность оставить родную землю потомкам в лучшем виде, чем принял ее от предков.

Нам нужно определить свою национальную цель. Нынешнюю неофициальную (официальной, видимо, вообще не выработано) установку на то, что наша страна, получив доступ к передовой технологии с помощью совместных с иностранным капиталом предприятий, выйдет на мировой рынок и там побьет американских, японских или западногерманских конкурентов, надо признать просто бредовой. Нам нужно не мировой рынок завоевывать, а устраивать свою вконец расстроенную страну. Конечно, на мировой уровень техники надо выходить, но для этого необходимо выработать свой путь и опираться на свой собственный потенциал.

Мне кажется необычайно своевременным пример из отечественной истории, приведенный одним из лучших советских публицистов наших дней К. В. Рашем в его статье «Армия и культура»:

«Когда после Крымской войны, в которой прекрасно и так ярко проявилась русская доблесть, а иностранцы злорадствовали над последствиями этой войны и русским унижением, как им казалось, тогда новый канцлер России, лицейский друг Пушкина князь Горчаков обнародовал свой меморандум, в котором заявил, что Россия перестает интересоваться европейскими делами и безразлична к международной свалке хищных держав, что Россия поворачивается лицом к своим домашним, коренным проблемам и приступает к реформам и обустройству русской земли. Как ни странно, но именно это и привело вчерашних врагов России в смятение. Они бы хотели, чтобы Россия и далее беспорядочно вмешивалась во все дрязги внешнего мира и тратила на это свои ресурсы и внимание. Они с тревогой передавали друг другу ставшие крылатыми слова из меморандума Горчакова: «Россия сосредоточивается».

Они давно осознали: если Россия повернется к своей земле, то станет завтра подлинно великой и недосягаемой для них. Они давно уже догадывались об особом предназначении России и с тревогой задавали себе тот же гоголевский вопрос: «Что пророчит сей необъятный простор?»

Мы, к сожалению, основательно подзабыли многое и, по сути, давно уже не думаем о предназначении нашей Родины, в которой люди разных стран в прошлом видели самую светлую надежду человечества. Видимо, поэтому К. Б. Раш продолжает:

«Нет и сегодня ничего более актуального, чем пророчество Карамзина, звучащее как программа:

«Для нас, русских с душой, одна Россия самобытна, одна Россия истинно существует; все иное есть только отношение к ней, мысль, привидение. Мыслить, мечтать можно в Германии, Франции, Италии, а дело делать единственно в России; или нет гражданина, нет человека; есть только двуножное с брюхом» («Военно-исторический журнал», 1989, № 4, с. 5—6).

Россия, с ее всеотзывчивостью, всегда кому-то помогала, участвовала в международных делах часто во вред себе, но когда для нее самой наступало тяжкое время повсеместного разорения, инстинкт самосохранения народа брал верх, и страна умела сосредоточиться на решении своих внутренних задач.

Так же надо поступить и сегодня. «Западники», космополиты и «компрадоры» толкают нас на «встраивание в мировую экономику», а нам надо наконец заняться собственными делами, приведением в порядок и обихаживанием своего дома, очеловечиванием и облагораживанием его обитателей. И это будет самый серьезный поворот во внешней и внутренней политике страны за все 72 года Советской власти.

Но чтобы поднять народ на такие великие дела, надо ему сказать всю правду о положении страны — подлинную и неурезанную правду, которой, похоже, не знает ни народ, ни правительство, поскольку у нас исторически сложилась «завравшаяся экономика», основанная на заведомо искажающей действительность системе учета и отчетности (см. Антонов Г. Бухгалтер на страже истины. — «Известия», 1989, 9 февраля.). С полной откровенностью надо раскрыть положение в каждой отрасли, ее технический уровень в сравнении с мировым, дать обзор заявок на открытия и изобретения — принятых и отклоненных, поставить перед учеными и изобретателями конкретные задачи по преодолению технического отставания, вскрыть и демонтировать тщательно отлаженный механизм утечки от нас самых ценных идей за рубеж, отправить на пенсию бесплодных монополистов в науке и поднять молодые научные силы на отыскание своего пути научно-технического прогресса.

Надо также напомнить, что на рубеже XIX и XX веков наша страна была единственной из великих держав, где существовала глубоко продуманная и философски обоснованная теория хозяйствования. Глубокие идеи по этому вопросу высказал Вл. Соловьев. В 1912 году в Москве вышла книга С. Н. Булгакова «Философия хозяйства», в которой проблемы экономики были рассмотрены с космических позиций, с точки зрения высшего призвания человеческого рода. Можно соглашаться или не соглашаться с его идеями, но несомненно то, что это был серьезный научный труд, ознаменовавший прорыв человечества на новые горизонты миропонимания. Почти 80 лет мы развивали экономику, даже не задумываясь над тем, что в ее основе должна лежать определенная философия хозяйствования, то есть наше экономическое развитие, особенно в последние 30 лет, не было одухотворено великой идеей, и потому, естественно, пришли к разрушительной системе хозяйства, губительной и для природы, и для человека. В 1988 году в журнале «Коммунист» была напечатана статья О. Лациса «Философия

экономики». Достаточно сравнить два названных труда, чтобы увидеть, насколько мы пали, насколько измельчали душой, насколько торгашески-прагматическими стали наши представления об экономике.

И так во всем. На рубеже XIX и XX веков русская мысль пережила высокий взлет, идеи наших мыслителей лишь сегодня в должной мере оценены и тщательно изучаются во всем цивилизованном мире, кроме нашего Отечества. Пора нам вступить в наследство и в области мысли.

Вот почему Союз духовного возрождения Отечества считает своей неотложной задачей восстановить и поставить на службу народу духовные богатства и научные идеи, накопленные нашими предшественниками — материалистами и идеалистами, переосмыслить их с современных научных и партийных позиций, развить применительно к условиям современности и выработать духовно-нравственные основания для всех видов человеческой деятельности.

КПСС приняла в качестве своей теоретической основы марксизм-ленинизм — учение, возникшее на основе критической переработки немецкой классической философии, английской политической экономии и французского утопического социализма и в известной степени обогащенное достижениями революционно-демократической струи русской культуры. Оно представляет собой в основном теорию переустройства общества, призванного обеспечить раскрытие всех дарований человека. Но в нем, думается, недостаточно учитывается «натура» человека, то, что он далеко не всегда хочет развивать все свои дарования, становиться на путь тяжкого труда собственного усовершенствования. А русская философская мировоззренческая традиция основное внимание уделяла как раз совершенствованию личности и в гораздо меньшей степени — вплоть до конца XIX века — занималась проблемами совершенствования общества. Очевидно, сегодня назрела необходимость высшего синтеза философии, соединения теорий совершенствования человека и общества. Этот высший синтез философии — веление времени. Лично я глубоко убежден, что решить эту воистину всемирно-историческую задачу, выработать стратегию выживания и дальнейшего развития всего человечества скорее всего можно у нас — в Советской России, где для этого лучше, чем где-либо еще, подготовлена почва.

Ведь к началу XX века Россия оставалась единственной страной мира, где сохранялось учение о совершенном человеке, которое наши предки почитали как «науку наук и художество художеств», как высшее знание, доступное на земле людям.

Мы еще плохо осознаем, что тот или иной общественный строй — это лишь иное выражение сущности человека соответствующей общественно-исторической формации. Капитализм представляет собой идеальный общественный строй для товаропроизводителей-эгоистов, каждый из которых осознал, что ему не по силам контролировать общественное производство в целом. А потому все согласились на регулирование общественного производства за спиной товаропроизводителей, через стихию рынка, кризисы, безработицу и т. п. Допустим, что после свержения капитализма люди остались столь же ограниченными индивидами, каждый из которых отвечает лишь за свой участок общественного производства и заинтересован в личной сиюминутной выгоде. Не надо и искать доказательства того, что строй, пришедший на место свергнутого капитализма, при преобладании такого человеческого типа будет непременно уступать ему по эффективности производства и жизненному уровню населения, что мы ныне и наблюдаем. Из этого положения есть лишь два выхода. Либо, признав, что человек — неисправимый эгоист и прагматик, восстановить капитализм как идеальный строй для такого человеческого типа, к чему и зовут нас «западники», хотя в конце концов (и притом не столь отдаленном) это грозит гибелью рода людского. Либо, осознав новые условия, в которые вступило человечество, поднять людей на новый уровень миропонимания и направить их хозяйственную деятельность по пути созидания и облагораживания мира, а для этого надо дополнить теорию марксизма-ленинизма духовными ценностями, накопленными всеми народами планеты, и в первую очередь великим русским народом. Союз духовного возрождения Отечества выбирает второй путь как единственно спасительный для страны и человечества.

Историческое призвание Советской России на данном этапе всемирной истории — это не победа на мировом рынке и не превращение в колонию транснациональных корпораций. Призвание России — вновь стать духовным лидером мира.

Такое понимание исторического предназначения России предъявляет строгие требования и к каждому человеку, сознающему свой долг перед Родиной. Ведь упадок страны — это упадок народа, деградация личностей. С огромной силой писал об этом еще в своих фронтовых дневниках украинский кинорежиссер А. Довженко:

«...У нас абсолютно нет правильного проектирования себя в окружении действительности и истории.

У нас не державная, не национальная и не народная психика.

Мы дегенерируем, сами этого не замечая.

Бедный, убогий, многострадальный мой народ, какой ты несчастный! Ведут тебя поводыри...

Ничего духовного, человеческого...»

Особенно пагубным А. Довженко считал то, что народ оказался оторванным от всего того, что именовалось высшими вопросами человеческого бытия:

«Страшная мысль пронзила недавно мое сознание. У нас лишь сильным дано право на бессмертие — вождям, великим художникам, полководцам или героям, небольшому меньшинству сильных.

Огромное же количество малых людей, тех, которые добывали в поте лица своего хлеб, надеялись в религиозном опиуме на вечную жизнь на том свете за все добродетели свои, — вот это великое количество обыкновенного люда лишено сейчас перспективы и всякой надежды.

Оставь надежду, человек.

Земля еси и в землю уйдешь, и только, и больше ничего, аж ничегошеньки-ничего. У малого человека отобрано что-то великое и важное. Грустно и страшно, и безрадостно ему стало. Он стал беспомощным в сердце своем, песчинкой в океане...»

Естественно, что от такого обесчеловеченного человека нельзя было ожидать человеческого отношения к миру:

«Обретя крылья, человек уподобился не ангелу, а дьяволу. Сегодня дьявол прикоснулся своим нечистым перстом к тому, из чего бог сотворил вселенную,— к атому.

Первое, что человек сделал с божественным атомом, — бомбу для гибели двуногих тварюг и с тварями и тваренками.

Осатанело человечество. Я верю в возможность его самоубийства... Новодикарская эра принесет катастрофу» («Огонек», 1989, № 19, с. 11—13).

Пусть первые из приведенных строк, написанные под впечатлением страшного отступления наших войск в 1942 году, несут на себе отпечаток того горького времени, но в них и много нелицеприятной правды, к которой следует прислушаться. Я намеренно привел большую выдержку из записей давно умершего художника, которого хотя бы уже по этой причине нельзя заподозрить в служении конъюнктуре сегодняшнего дня. На многое, давно ставшее привычным, русскому патриоту — великороссу, украинцу и белорусу, так же как и патриотам других братских народов, ныне надо взглянуть по-новому. Больше надо думать о душе народа и душе человека, о духовном и вечном в них.

Да, русскому патриоту надо быть твердым, несгибаемым борцом за спасение Отечества, но в то же время он должен понимать, что спасут мир не ненависть и разложение, а красота и любовь.

ТАК ЧТО ЖЕ НАС ОЖИДАЕТ?

Снова тучи надо мною
Собралися в вышине;
Рок завистливый бедою
Угрожает снова мне...

А. С. Пушкин

Что день грядущий
мне готовит?

А. С. Пушкин

Стремление заглянуть в завтрашний день органически присуще человеку, почему во все времена и пользовались таким вниманием пророки (правда, часто плохо кончавшие) и разного рода прорицатели. Я не пророк и не прорицатель,

а потому пытаюсь взглянуть на перспективы развития страны с точки зрения соотношения сил, которое, по моим соображениям, сложилось на сегодня.

С другой стороны, я вовсе не последователь «политической арифметики», и меня совсем не убеждают чисто количественные выкладки. Еще Л. Н. Толстой показал в последнем томе «Войны и мира», что исход борьбы определяется не только (и даже, может, не столько) соотношением сил сторон, сколько их моральным духом. Мы мало задумываемся над тем, какие идеалы выдвигает та или иная сторона, к каким струнам человеческого сердца они обращены — к высоким и благородным или к низменным и оскотинивающим, и это может послужить причиной многих трагедий.

Трудов по философии истории в различных странах мира и в разное время написано превеликое множество, и, однако, до наших дней еще недостаточно осознано, что судьбы человечества, особенно в такие переломные эпохи, как наша, зависят прежде всего от обретения и осмысления духовных ценностей.

В наши дни вопрос стоит так: либо человечество (в том числе авангард — наш народ) осознает критический характер нашей эпохи и соответственно изменит свое мышление и образ жизни, понимание задач каждой личности — и тогда возможно его спасение. Либо оно будет жить по-прежнему, эгоистически, руководствуясь моралью хищника и временщика, и тогда неизбежна всеобщая скорая гибель.

Можно, конечно, и не задумываться над глобальными проблемами, а жить своими сиюминутными интересами, стремясь к собственной корыстной выгоде. Тогда вообще «все дозволено», и надо лишь стремиться урвать кусок пожирнее на всеобщем пиру во время чумы.

Сегодня, к сожалению, преобладает именно такое настроение, и наиболее активными его выразителями являются «западники». Их пока не так много, но в обстановке бездуховности и на почве недовольства людей ухудшением условий жизни их ряды быстро растут.

Твердо противостоит «западникам» лишь тонкая, почти неощутимая прослойка духовно развитых наших соотечественников, разрабатывающих и пропагандирующих учение о самобытном развитии Советской России. На данном этапе против «западников» выступает также часть руководящих кадров, сложившихся в годы господства административной системы и отстаивающих свое место у кормила власти. Не имея положительной программы и не придавая значения духовной стороне народной жизни, эта прослойка ориентирована главным образом на возврат к методам управления страной, принятым в годы культа личности и застоя. Хотя в народе есть настроения в пользу наведения порядка в стране, эта прослойка все же день ото дня теряет социальную опору — сегодня, пожалуй, особенно в силу своего привычного принципиального атеизма. К тому же в ней самой немало людей, привыкших менять ориентацию в зависимости от того, кто добивается в данный момент успеха, а потому немалая ее часть в самый острый момент борьбы попытается, видимо, переметнуться на сторону «западников». В конечном счете перебежчики, скорее всего, после победы «западников» будут принесены в жертву для успокоения недовольного народа, но пока они рассчитывают на сохранение таким путем своих привилегий.

О духовных ценностях и укреплении народной нравственности в наши дни более всех заботится Церковь, но скорее в лице лучших из сельских и городских «батюшек», чем в лице высших ее иерархов. По мере обострения социального конфликта в стране в среде священнослужителей и верующих мирян, видимо, будет усиливаться размежевание, которое может принести много неожиданного.

Сейчас «западники», как отмечалось, заигрывают с духовенством, хотя по своей сути они ему абсолютно чужды. Значительная часть руководящих кадров (даже и патриотического направления) в силу своего воспитания и прежнего жизненного опыта не понимает значения Церкви в жизни народа и не может найти с ней общего языка, ослабляя тем самым кровные свои связи с подавляющим большинством народа.

Кое-где на местах возникают органы самоуправления как следствие нарастающего осознания угрозы всеобщей гибели от ухудшения экологической обстановки. В принципе эти органы могли бы поддержать патриотические силы, если бы

те проявили больше активности. Пока же и на этом поприще активно выступают главным образом «западники», которые явочным порядком овладевают органами самоуправления и через них вовлекают все новые слои населения в свой резерв.

Если такой расклад сил сохранится, то «западники», вероятно, в самом скором времени перейдут в открытое наступление с целью захвата власти в стране.

Мафии, создавая всевозможные дефициты и саботируя меры, принимаемые органами власти, вызовут взрыв открытого недовольства народа, а ударные силы «компрадоров» толкнут его на разгром существующих политических структур. Как говорится в теории шахмат, в подобных ситуациях «белые начинают и выигрывают». Поскольку положительной программы, отвечающей народным традициям и интересам, у них нет, «западникам» после взятия власти, видимо, не останется ничего другого, кроме как открыть границы и «включить» СССР в Европу, в единую мировую экономику, прибегнув к подавлению сопротивления тех, кого не устраивает перспектива превращения страны в колонию транснациональных корпораций. В конечном счете такой ход событий приведет к установлению диктатуры «компрадоров». Это самый нежелательный, хотя и весьма вероятный исход перестройки. Он возможен, по-видимому, лишь в скором времени, потому что по мере пробуждения русского национального самосознания шансы «западников» на успех будут стремительно падать.

С другой стороны, излишняя торопливость «западников», уже много раз в нашей истории подводившая космополитические элементы, может вызвать превентивное выступление со стороны приверженцев прежних методов управления страной. Но для них в этом случае самая большая трудность будет заключаться не в том, чтобы взять власть, а в том, чтобы удержать ее и правильно ею распорядиться. Ведь проблемы, вставшие перед страной, задачи накормить народ и ликвидировать катастрофическое отставание в области науки и техники, сама по себе диктатура решить не в состоянии. О том же говорит и исторический опыт. Наступление «западников», например, в Венгрии и Польше было в свое время пресечено введением военного положения или более суровыми мерами. Однако по прошествии времени, за неимением собственной положительной программы, власти в этих странах вынуждены были пойти на самые далеко идущие реформы прозападнического толка. Без сомнения, то же произошло бы и у нас, только в самом скором времени. Никакая диктатура, не располагающая положительной программой, основанной на духовных ценностях, не в состоянии у нас удержаться долго. Как говорил еще М. А. Шолохов, «я за порядок, но я также и за изобилие». А изобилия порядок сам по себе, особенно принудительный, создать не может, это уже доказано всем опытом истории.

Расклад сил может существенно измениться, если патриотические силы сумеют выдвинуть общенациональную идею, способную объединить самые широкие слои народа. Надо иметь в виду, что исторически наши народы, особенно русский, сложились такими, что они проявляют в полной мере свои силы лишь при наличии общего дела. Недаром и «Философия общего дела» Николая Федорова появилась именно в России. Какой будет эта общенациональная идея, заранее сказать трудно. Это может быть идея спасения страны от разорения и превращения в колонию и в мировую свалку ядовитых и радиоактивных отходов. Она может возникнуть и из осознания следующего положения: главными являются для нас не экономические проблемы, а то, что русский народ вымирает. По подсчетам западных демографов, при сохранении нынешних тенденций к концу XXI века русских людей останется всего 10—20 миллионов. Есть много оснований полагать, что нравственная общенациональная идея будет поддержана Церковью и объединит самые широкие слои народа. В этом случае можно надеяться на то, что Советская Россия не только отстоит свою независимость и отыщет самобытный путь развития, но и выполнит свою историческую миссию — станет духовным лидером человечества. Это — самый мирный и благодатный вариант перестройки, в наибольшей мере отвечающий объявленным ее первоначальным целям, и за него людям с новым мышлением надо бороться до конца.

Важное значение может иметь осознание идеи, высказанной И. Р. Шафаревичем в статье «Две дороги — к одному обрыву» («Новый мир», 1989, № 7): западные либералы и наши сталинисты — это не антиподы, как их принято считать, а два стана сторонников техноцентристской западной цивилизации, кото-

рые уничтожили русскую космоцентристскую, крестьянскую, православную цивилизацию, единственно спасительную для человечества.

Но если «западники» и победят на первом этапе, это будет пиррова победа, о которой в скором времени они сами же и пожалеют и за которую их проклянут собственные дети. Дело в том, что «западники» проиграли борьбу изначально. Они считают главным в жизни материальные блага, власть и деньги, тогда как действительное богатство заключается в человечности, вере, милосердии и любви, и чем дальше, тем больше люди станут это понимать. Путь «западников» — это путь, ведущий в безысходный тупик, ко всеобщему краху, а их расчет на то, что Запад продлит свое существование, сплавив, например, грязные производства к нам, не оправдывается. Земной шар один, и гибель России — этой «соборной мученицы» окажется лишь преддверием гибели остальной планеты.

Таковы в общих чертах возможные исходы перестройки. Какой из них и в какой форме осуществится на деле — покажет будущее, и в большой мере это зависит от нас с вами, от гражданской позиции каждого из нас, от того, какие духовные ценности мы обретем и поставим на службу делу защиты Родины. Решать судьбы страны будут народные массы, а не какая-нибудь верхушка, и весь вопрос в том, поведут ли они себя как Народ или как чернь. А это зависит от того, насколько они проникнутся духовным началом.

У патриотов сегодня есть все основания с оптимизмом смотреть в будущее и трудиться не покладая рук для приближения его наиболее светлого варианта. Созреет в недрах народа новая великая идея, появятся у него и подлинно народные вожди. Сегодня, пожалуй, как никогда прежде, злободневны слова Н. А. Некрасова:

> Да не робей за Отчизну любезную...
> Вынес достаточно русский народ,
> Вынес и эту дорогу железную —
> Вынесет все, что господь ни пошлет!
> Вынесет все — и широкую, ясную
> Грудью дорогу проложит себе...

А последующие строки стихотворения, менее оптимистические, можно считать печатью прошлого века и не относить их к сегодняшнему дню, поскольку История не оставила нам времени для раздумий, и судьбы нашей Родины решатся в скором времени, на наших глазах и при нашем непосредственном участии. Надо лишь каждому оказаться достойным своего Отечества и нашего воистину исторического Времени.

КТО ПРОСВЕТИТ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ?

> *Знаете, господа... я прямо полагаю, что нам вовсе и нечему учить... народ. О, конечно, мы образованнее его, но чему мы, однако, научим его — вот беда!*
>
> *Ф. М. Достоевский*

Большинство людей в современном цивилизованном обществе ждет помощи в указании нравственных ориентиров не от духовенства, а от интеллигенции. К крупным писателям, ученым, художникам люди обращаются не только с оценками их произведений, но и с вопросами: «как жить? во что верить?» Готова ли наша современная интеллигенция к выполнению своей главной задачи?

У любой нации, кроме русской, интеллигенция есть ее мозг, выразительница того, что ощущает народ. В России интеллигенция — детище реформ Петра I — в преобладающей своей массе была чуждой народу — об этом много писали Герцен и славянофилы, Достоевский и Лев Толстой. С точки зрения названных писателей, ей были присущи три серьезнейших (по тем временам) недостатка: космополитизм, либерализм и атеизм.

В то же время именно русской интеллигенции были присущи такие качества, как чувство виновности перед народом и готовность к жертвенному служению ему, как она это понимала.

После Октябрьской революции многое изменилось, но три качества теперь уже русской советской интеллигенции, вышедшей в основном из среды рабочих и крестьян,— космополитизм, либерализм и атеизм — присущи ей (во всяком случае, преобладающей ее части) в той же мере, что и ее дореволюционной предшественнице. Зато чувство виновности перед народом и готовность к жертвенному служению ему были в значительной степени утрачены.

И это можно понять. Сравним быт героев произведений Чехова (взять хотя бы «Учитель словесности» и «Мужики»), вспомним квартиру молодого писателя Максима Горького в Нижнем Новгороде — из одиннадцати комнат (ныне музей). Контраст между условиями жизни интеллигента, особенно «вышедшего в люди» из простонародья, и той среды, в которой он прежде жил, был огромен, и хотя бы уже по этой причине у него могло возникнуть чувство вины перед народом и желание загладить ее. Но откуда взяться этому чувству у современного инженера, получающего 150 рублей в месяц, тогда как его друг детства, ставший после десятилетки шофером, зарабатывает до 400 рублей? Сколько молодых интеллигентов живет от получки до получки, считая чуть ли не каждую копейку, мыкается по общежитиям, не имея возможности вовремя создать семью, удовлетворять свои культурные потребности! И это в эпоху, когда цивилизованное человечество переходит от индустриальной эры к технологической, когда, следовательно, главным источником богатства стран становятся не природные ресурсы, а знания, талант и умение пробудить творческий потенциал народа! А наша интеллигенция, за исключением, может быть, некоей ее «элиты», нищенски обеспечена и во всех отношениях задавлена. Бедствуют те, от кого зависит, совершим ли мы прорыв на важнейших направлениях научно-технического прогресса, поднимем ли уровень технологии, обеспечим ли, наконец, надежную оборону страны. Бедствуют те, кто лечит нас и учит наших детей. Бедствуют те, кто через музеи, библиотеки, театры несут культуру в народ. Естественно, что они не только не чувствуют вины перед рабочими и крестьянами, но многие из них искренне убеждены, что это им недоплачивают. Можно ли упрекать их в том, что они видят свой идеал за пределами родной страны — там, где на пособие по безработице живут гораздо обеспеченнее, чем у нас на заработок?

Но дело не в одной лишь заработной плате. Наша интеллигенция угнетена и в сфере своего труда, опутана сетями бюрократии, нещадно эксплуатируется мафиями, образовавшимися в разных областях науки, экономики и культуры, и по сути лишена возможности свободного творчества. Не стану говорить о погромах целых отраслей науки и направлений художественного творчества, происходивших в прошлом по псевдоидеологическим соображениям, но и сегодня сложившийся экономический механизм не стимулирует внедрение новой техники в производство, а значит, и ее создание; нет нужды в творчестве архитектора, агронома, учителя... Как же молодому ученому или инженеру не завидовать своему японскому коллеге, если он знает, что там все делается, чтобы предельно использовать творческие возможности каждого? Что испытывает специалист, узнав, что его изобретение, многократно у нас отвергнутое, запатентовано и внедрено за рубежом? — а ведь это типичная картина. Общий же итог всего этого — безнадежно устаревшие и с каждым годом все больше отстающие от мирового уровня станки и приборы, уродливые безликие города и села, продолжающее деградировать сельское хозяйство, глубокий кризис в области культуры, образования, здравоохранения (а это — еще один повод с завистью посмотреть на Запад) и — что не менее важно — быстрая потеря и без того невысокого уровня профессионализма нашими интеллигентами.

А уровень подготовки подавляющего большинства наших специалистов крайне низок (по сравнению как с современным мировым, так и с дореволюционным) главным образом из-за господства в среде интеллигенции технократического мышления. Современный инженер знает свою узкую специальность, а все, что выходит за ее рамки и — тем более — касается человека, смысла жизни и т. п.,— считает не относящимися к делу «эмоциями». Поэтому ему все равно, что рассчитывать — конструкцию моста или нагрузку на балку в системе гидроузла на трассе переброски северных рек на юг,— для него существует только техническая сторона дела, за которое он получает деньги. Жрецы ве-

домственных «наук» могут обосновать любой, даже самый людоедский проект, лишь бы он был выгоден для монополии.

Зависть к своему западному коллеге и недовольство засильем бюрократии создает почву для либеральных настроений рядового интеллигента, а полнейшее отсутствие представления о многовековом мучительном и радостном опыте поисков смысла жизни, нашедшем выражение в отечественной литературе, религиозно-философских системах, обусловливает преобладание механического атеизма, совершеннейшего пренебрежения высшими вопросами человеческого бытия. Громадное большинство наших рядовых интеллигентов имеет также и нулевую эстетическую подготовку, а, как говорит народный художник СССР М. А. Савицкий, «...общество, отчужденное от искусства, не способно осознать все убожество и пагубность своего положения» («Правда» от 16 декабря 1988 г.). Потому-то и возможен такой удивительный гибрид — сочетание убожества с самонадеянностью,— с которым столь часто можно встретиться в наши дни.

Так уродливая система подготовки и использования наиболее образованных кадров у одного из самых творчески одаренных народов планеты создает интеллигенцию, мало думающую о судьбах Родины. Вот почему критик В. Бондаренко в заметке «Кризис нации?» («Литературная Россия», 1989, № 27) резонно задает вопросы: да и существует ли у нас национальная интеллигенция, думающая о русском народе? Есть ли у нас национальная идея?

Это не значит, что вся наша интеллигенция сплошь космополитична, сера, убога и непатриотична; если бы дело обстояло так, то стране вообще пора было бы петь отходную. Есть у нас интеллигенты, которых народ считает воплощением своей совести, но их очень немного. А неизмеримо большее число их коллег либо вообще равнодушно ко всему, либо активно поддерживает то, что идет с Запада, которого они, кстати говоря, по сути, совсем не знают. Во всяком случае им неизвестно то, что в европейской и американской культуре господствует «трагическое ощущение утраты ценностей, крушение гуманизма.., чувство духовной обездоленности» («Литературная газета» от 26 октября 1988 г.). Крупнейшие деятели культуры Запада говорят своим советским коллегам: «Что же вы равняетесь на нас, когда у вас остается без использования ваше великое духовное наследие, равным которому мы не располагаем?»

Нет, при таком состоянии современной советской интеллигенции не выполнить ей роли духовного авангарда народа. А она тем не менее его просвещает, и горькие плоды такого несоответствия с каждым годом становятся все заметнее.

Чтобы интеллигенция могла достойно выполнить свою историческую миссию, надо прежде всего остановить процесс ее расчеловечения, привить каждому просветителю народа чувство ответственности за настоящее и будущее страны, высокие духовно-нравственные критерии оценки всех видов человеческой деятельности. Кто же это сделает?



Предлагаемые ниже статьи А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА принадлежат к числу наиболее известных его общественных заявлений. Однако до последнего времени, будучи неоднократно опубликованными в зарубежье русскоязычной и иностранной печатью, они ходили на родине писателя только в списках.

«Поминальное слово о Твардовском» составлено в часы траурной процедуры в ЦДЛ 21 декабря 1971 г.; доработано и отдано в Самиздат к девятому дню. В написанном в мае 1982 года отрывке из 7-го дополнения к «Телёнку» писатель возвращается к памяти А. Т. Твардовского, глядя на него уже с другого берега. Здесь он, в частности, пишет: «Теперь, когда эмигрантская литература поскользила в самолюбование, в капризы, в распущенность, — тем более можно вполне оценить высокий такт Твардовского... его вкус, чувство ответственности и меры. У Твардовского был спокойный иммунитет к «авангардизму», к фальшивой безответственной новизне. Только сейчас я с возросшим пониманием вижу, как много мы потеряли в Твардовском, как нам не хватает его сейчас, какая это была бы сегодня для нас фигура! Как он нужен был бы сегодня русской литературе, при новом определении лица ее. Нашей больной литературе, встающей на ноги, как бы помогли его крупные руки, его подсадка. Он и тогда видел, что цензура — не единственная опасность для литературы, как и показало всё позднейшее. Трифоныч — верно чувствовал правильный дух, он был насторожён ранее меня» («Вестник русского христианского движения», 1982, № 137, с. 130).

«Воззвание «Жить не по лжи!» готовилось в ходе 1972 и 1973 годов и первоначально было задумано как призыв к кампании идеологического неповиновения (вместо гражданского неповиновения). Затем эта задача была снята как преждевременная, воззвание приобрело форму более личного обращения. Было готово к сентябрю 1973, и предполагалось публиковать его одновременно с «Письмом вождям». При обострении обстановки с января 1974, после публикации «Архипелага», заложено в нескольких тайных местах с уговором — пускать через сутки после ареста автора, не ожидая более никакого подтверждения. Так и произошло 13 февраля 1974. Распространялось в Самиздате и включено в самиздатский сборник «Жить не по лжи!» (впоследствии изданный в Париже ИМКА-пресс, 1975)», — говорится в авторском комментарии к томам 9, 10 Собрания сочинений А. И. Солженицына, где собраны его речи, статьи, общественные заявления, интервью и пресс-конференции с 1969 по 1981 год. (Вермонт — Париж, 1981—1983). По тексту этих томов, проверенному и исправленному самим писателем, и печатаются публикуемые произведения.

П. ПАЛАМАРЧУК.

Александр СОЛЖЕНИЦЫН

ПОМИНАЛЬНОЕ СЛОВО О ТВАРДОВСКОМ

Есть много способов убить поэта.

Для Твардовского было избрано: отнять его детище — его страсть — его журнал.

Мало было шестнадцатилетних унижений, смиренно сносимых этим богатырём, — только бы продержался журнал, только бы не прервалась литература, только бы печатались люди и читали люди. Мало! — и добавили жжение от разгона, от разгрома, от несправедливости. Это жжение прожгло его в полгода, через полгода он уже был смертельно болен и только по привычной выносливости жил до сих пор — до последнего часа в сознании. В страдании.

Третий день. Над гробом портрет, где покойному близ сорока, и желанно-горькими тяготами журнала ещё не борождён лоб, и во всё сиянье — та детски-озарённая доверчивость, которую пронёс он через всю жизнь, и даже к обречённому она возвращалась к нему.

Под лучшую музыку несут венки, несут венки... «От советских воинов»... Достойно. Помню, как на фронте солдаты все сплошь отличали чудо чистозвонного «Тёркина» от прочих военных книг. Но помним и: как армейским библиотекам запретили подписываться на «Новый мир». И совсем недавно за голубенькую книжку в казарме тягали на допрос.

А вот вся нечётная дюжина *Секретариата* вывалила на сцену. В почётном карауле те самые мёртво-обрюзгшие, кто с улюлюканьем травили его. (Это давно у нас так, это — с Пушкина: именно в руки недругов попадает умерший поэт.) И расторопно распоряжаются телом, вывёртываются в бойких речах.

Обстали гроб каменной группой и думают — отгородили. Разогнали наш единственный журнал и думают — победили.

Надо совсем не знать, не понимать последнего века русской истории, чтобы видеть в этом свою победу, а не просчёт непоправимый.

Безумные! Когда раздадутся голоса молодые, резкие, — вы ещё как пожалеете, что с вами нет этого терпеливого критика, чей мягкий увещательный голос слышали все. Вам впору будет землю руками разгребать, чтобы Трифоныча вернуть. Да поздно.

к девятому дню

27 декабря 1971

ЖИТЬ НЕ ПО ЛЖИ!

Когда-то мы не смели и шёпотом шелестеть. Теперь вот пишем и читаем Самиздат, а уж друг другу-то, сойдясь в курилках НИИ, от души нажалуемся: чего только *они* не накуролесят, куда только не тянут нас! И ненужное космическое хвастовство при разорении и бедности дома; и укрепление дальних диких режимов; и разжигание гражданских войн; и безрассудно вырастили Мао Цзе-дуна (на наши средства) — и нас же на него погонят, и придётся идти, куда денешься? и судят, кого хотят, и здоровых загоняют в умалишённые — всё «они», а мы — бессильны.

Уже до донышка доходит, уже всеобщая духовная гибель насунулась на всех нас, и физическая вот-вот запылает и сожжёт и нас, и наших детей, — а мы по-прежнему всё улыбаемся трусливо и лепечем косноязычно:

— А чем же мы помешаем? У нас нет сил.

Мы так безнадёжно расчеловечились, что за сегодняшнюю скромную кормушку отдадим все принципы, душу свою, все усилия наших предков, все возможности для потомков — только бы не расстроить своего утлого существования. Не осталось у нас ни твёрдости, ни гордости, ни сердечного жара. Мы даже всеобщей атомной смерти не боимся, третьей мировой войны не боимся (может в щёлочку спрячемся), — мы только боимся шагов гражданского мужества! Нам только бы не оторваться от стада, не сделать шага в одиночку — и вдруг оказаться без белых батонов, без газовой колонки, без московской прописки.

Уж как долбили нам на политкружках, так в нас и вросло, удобно жить, на весь век хорошо: *среда*, социальные условия, из них не выскочишь, бытие определяет сознание, мы-то при чём? мы ничего не можем.

А мы можем — всё! — но сами себе лжём, чтобы себя успокоить. Никакие не «они» во всём виноваты — мы сами, только мы!

Возразят: но ведь действительно ничего не придумаешь! Нам закляпили рты, нас не слушают, не спрашивают. Как же заставить *их* послушать нас?

Переубедить их — невозможно.

Естественно было бы их переизбрать! — но перевыборов не бывает в нашей стране.

На Западе люди знают забастовки, демонстрации протеста,— но мы слишком забиты, нам это страшно: как это вдруг — отказаться от работы, как это вдруг — выйти на улицу?

Все же другие роковые пути, за последний век отпробованные в горькой русской истории,— тем более не для нас, и вправду — не надо! Теперь, когда все топоры своего дорубились, когда всё посеянное взошло,— видно нам, как заблудились, как зачадились те молодые, самонадеянные, кто думали террором, кровавым восстанием и гражданской войной сделать страну справедливой и счастливой. Нет, спасибо, отцы просвещения! Теперь-то знаем мы, что гнусность методов распложается в гнусности результатов. Наши руки — да будут чистыми!

Так круг — замкнулся? И выхода — действительно нет? И остаётся нам только бездейственно ждать: вдруг случится что-нибудь само?..

Но никогда оно от нас не отлипнет само, если все мы все дни будем его признавать, прославлять и упрочнять, если не оттолкнёмся хотя б от самой его чувствительной точки.

От — лжи.

Когда насилие врывается в мирную людскую жизнь — его лицо пылает от самоуверенности, оно так и на флаге несёт, и кричит: «Я — Насилие! Разойдись, расступись — раздавлю!» Но насилие быстро стареет, немного лет — оно уже не уверено в себе, и чтобы держаться, чтобы выглядеть прилично,— непременно вызывает себе в союзники Ложь. Ибо: насилию нечем прикрыться кроме лжи, а ложь может держаться только насилием. И не каждый день, не на каждое плечо кладёт насилие свою тяжёлую лапу: оно требует от нас только покорности лжи, ежедневного участия во лжи — и в этом вся верноподданность.

И здесь-то лежит пренебрегаемый нами, самый простой, самый доступный ключ к нашему освобождению: *личное неучастие во лжи!* Пусть ложь всё покрыла, пусть ложь всем владеет, но в самом малом упрёмся: пусть владеет *не через меня!*

И это — прорез во мнимом кольце нашего бездействия! — самый лёгкий для нас и самый разрушительный для лжи. Ибо когда люди отшатываются ото лжи — она просто перестаёт существовать. Как зараза, она может существовать только на людях.

Не призываемся, не созрели мы идти на площади и громогласить правду, высказывать вслух, что думаем, — не надо, это страшно. Но хоть откажемся говорить то, чего не думаем!

Вот это и есть наш путь, самый лёгкий и доступный при нашей проросшей органической трусости, гораздо легче (страшно выговорить) гражданского неповиновения по Ганди.

Наш путь: *ни в чём не поддерживать лжи сознательно!* Осознав, где граница лжи (для каждого она ещё по-разному видна), — отступиться от этой гангренной границы! Не подклеивать мёртвых косточек и чешуек Идеологии, не сшивать гнилого тряпья — и мы поражены будем, как быстро и беспомощно ложь опадёт, и чему надлежит быть голым — то явится миру голым.

Итак, через робость нашу пусть каждый выберет: остаётся ли он сознательным слугою лжи (о, разумеется, не по склонности, но для прокормления семьи, для воспитания детей в духе лжи!), или пришла ему пора отряхнуться честным человеком, достойным уважения и детей своих и современников. И с этого дня он:

— впредь не напишет, не подпишет, не напечатает никаким способом ни единой фразы, искривляющей, по его мнению, правду;

— такой фразы ни в частной беседе, ни многолюдно не выскажет ни от себя, ни по шпаргалке, ни в роли агитатора, учителя, воспитателя, ни по театральной роли;

— живописно, скульптурно, фотографически, технически, музыкально не изобразит, не сопроводит, не протранслирует ни одной ложной мысли, ни одного искажения истины, которое различает;

— не приведёт ни устно, ни письменно ни одной «руководящей» цитаты из угождения, для страховки, для успеха своей работы, если цитируемой мысли не разделяет полностью или она не относится точно сюда;

— не даст принудить себя идти на демонстрацию или митинг, если это против его желания и воли; не возьмёт в руки, не подымет транспаранта, лозунга, которого не разделяет полностью;

— не поднимет голосующей руки за предложение, которому не сочувст-

вует искренне; не проголосует ни явно, ни тайно за лицо, которое считает недостойным или сомнительным;

— не даст загнать себя на собрание, где ожидается принудительное, искажённое обсуждение вопроса;

— тотчас покинет заседание, собрание, лекцию, спектакль, киносеанс, как только услышит от оратора ложь, идеологический вздор или беззастенчивую пропаганду;

— не подпишется и не купит в рознице такую газету или журнал, где информация искажается, первосущные факты скрываются.

Мы перечислили разумеется не все возможные и необходимые уклонения ото лжи. Но тот, кто станет очищаться,— взором очищенным легко различит и другие случаи.

Да, на первых порах выйдет не равно. Кому-то на время лишиться работы. Молодым, желающим жить по правде, это очень осложнит их молодую жизнь при начале: ведь и отвечаемые уроки набиты ложью, надо выбирать. Но и ни для кого, кто хочет быть честным, здесь не осталось лазейки: никакой день никому из нас даже в самых безопасных технических науках не обминуть хоть одного из названных шагов — в сторону правды или в сторону лжи; в сторону духовной независимости или духовного лакейства. И тот, у кого не достанет смелости даже на защиту своей души,— пусть не гордится своими передовыми взглядами, не кичится, что он академик или народный артист, заслуженный деятель или генерал, — та̀к пусть и скажет себе: я — быдло и трус, мне лишь бы сытно и тепло.

Даже этот путь — самый умеренный изо всех путей сопротивления — для засидевшихся нас будет нелёгок. Но насколько же легче самосожжения или даже голодовки: пламя не охватит твоего туловища, глаза не лопнут от жара, и чёрный-то хлеб с чистой водою всегда найдётся для твоей семьи.

Преданный нами, обманутый нами великий народ Европы — чехословацкий, неужели не показал нам, как даже против танков выстаивает незащищённая грудь, если в ней достойное сердце?

Это будет нелёгкий путь? — но самый лёгкий из возможных. Нелёгкий выбор для тела, — но единственный для души. Нелёгкий путь, — однако есть уже у нас люди, даже десятки их, кто годами выдерживает все эти пункты, живёт по правде.

Итак: не первыми вступить на этот путь, а — присоединиться! Тем легче и тем короче окажется всем нам этот путь, чем дружнее, чем гуще мы на него вступим! Будут нас тысячи — и не управятся ни с кем ничего поделать. Станут нас десятки тысяч — и мы не узнаем нашей страны!

Если ж мы струсим, то довольно жаловаться, что кто-то нам не даёт дышать — это мы сами себе не даём! Пригнёмся ещё, подождём, а наши братья биологи помогут приблизить чтение наших мыслей и переделку наших генов.

Если и в э т о м мы струсим, то мы — ничтожны, безнадёжны, и это к нам пушкинское презрение:

К чему стадам дары свободы?
. . . .
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.

12 февраля 1974

Татьяна ГЛУШКОВА

О «РУССКОСТИ», О СЧАСТЬЕ, О СВОБОДЕ

МОНОЛОГИ ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ, или ЛЕОПОЛЬД АВЕРБАХ НАОБОРОТ

ГОВОРЯ об особенностях современного либерализма, как не обратить внимание на дружное шельмование «классовых ценностей», поистине окрылившее нашу либеральную прессу! Слишком все же знакомое, еще с 20-х годов, шельмование, пусть ныне под ценностный нигилизм подпадает уже иной класс — сам пролетариат. После дворянства, крестьянства, духовного сословия, «мелкобуржуазного» городского сословия мещан, старорежимной и, значит, «чуждой» национальной интеллигенции откровенно дошел наконец черед до сомнения в «классовых ценностях» многомиллионного рабочего класса, реально сущего, возглавившего некогда саму Революцию и боровшегося за власть Советов! Подобное «обновление и д е й н о г о арсенала социализма» (на чем настаивают разнообразные доктора «философских наук») чревато «обновлением» самого состава, численности населения страны. Физическое истребление по классовому или сословному признаку (дворянскому, крестьянскому, казацкому и т. п.) начиналось с «основополагающего» третирования «классовых ценностей» всех назначенных к истреблению классов, сословий, слоев: элемент духовно «второсортный», «незрелый» неизбежно оказывался социально «лишним», общественно «опасным» и как минимум нуждающимся в «перековке». И надо воистину не желать помнить пройденный исторический путь, не желать сопрягать вещи в их причинно-следственной связи, чтобы не чуять: отрицание классовых ценностей, свойственных миллионам живых, трудящихся в своей производственной сфере людей, имеет тенденцию вылиться в программу ликвидации самих этих людей — носителей «упраздненных», «узкодуховных», «ретроградных» ценностей. Такова логика социально-ценностного высокомерия, «философской» нетерпимости к разнообразию мира. А между тем вот что пишет в «Литгазете» (1989, № 20) типичнейший радикальный либерал Александр Гангнус, прямо толкуя «приоритет» близких ему ценностей как перечеркивание всех прочих, «низших» и «нежелательных», идеалов: «Пора наконец понять (!), что признание примата общечеловеческих ценностей в культуре означает р а з р ы в с многими иными «ценностями» — «классовыми», расовыми, ведомственными. И только в этом случае победят талант, то есть собственно культура».

Казалось бы, редкий абсурд! Чтобы воздать ему должное, довольно представить себе, например, Пушкина, который если «победил», то потому, стало быть, что «разорвал» с ценностями своего, дворянского, класса (духовными, этическими), с его традициями и преданьями; «разорвал» и с расовыми особенностями-ценностями — славянства ли («суровый славянин», говорил о себе Пушкин), прадеда ли своего Ганнибала (втайне мечтавшего, по Пушкину, «о дальней Африке своей»); «разорвал» и с ценностями «Италии златой», как и «гордого Альбиона» (и т. д.), — ибо надменно отметал все известные ему и сущие в человечестве социальные образования, расовые и национальные, неповторимые черты... Довольно представить себе затем Достоевского, «поправшего» ценности «великого арийского племени» — как «некстати» выразился он в своей предсмертной, «пушкинской речи»... Довольно представить Блока, которому не интересен, «не внятен» — ибо сомнителен как ценность! — ни «острый галльский смысл», ни «сумрачный германский гений»... Довольно вообразить Шаляпина, «разорвавшего» со своей страстной русскостью, триумфально пронесенной им по всему миру... Впрочем, может быть, все они, по Гангнусу, н е п о б е д и л и? не талантливы? или не принадлежат к «собственно культуре»? Как не принадлежат к ней, следовательно, Данте и Руставели, Вагнер и Мусоргский, Гойя и Суриков, Гёте и Байрон (и т. д.), которым трудно все-таки приписать «разрыв» с ценностями их конкретной исторической почвы — социальной, национальной?..

Окончание с т а т ь и п е р в о й. Начало в № 7 за 1989 г.

11*

Но как знаком нам, однако, сам лозунг, девиз, сама «лево»-либеральная эта идея *разрыва* с разного рода стихиями — «мелкобуржуазной», «патриархально-ценностной», якобы при жизни — отжившими!.. Этот пафос обрубания корней, жизненосных связей, всей одухотворенной плоти бытия!.. И сколь высока, человечна, должно быть, «собственно культура» А. Гангнуса, глумливо закавычивающего слова «класс», «классовые ценности»! «Зарешетив» кавычками эти — видно, призрачно содержательные? — понятия, он вроде и не сомневается в победе над *любым* презираемым им классом. Этот типичный нынешний радикальный либерал есть, конечно, Леопольд Авербах *наоборот*. Леопольд Авербах, легко меняющий в исторической перспективе лозунг классовости на лозунг антиклассовости, которые, однако, вполне стоят друг друга, а собственно говоря, второй из них — в форме тезиса о «бесклассовом обществе» — всегда был *пределом* первого... Но попытка поместить закавыченные «классовые» ценности, связанные с классом трудящихся — именно пролетариатом, в единый негативный ряд с *ведомственными*, то есть административно-бюрократическими (цинично-эксплуататорскими) «ценностями», а заодно и с расовыми (рабочий класс, может быть, сформирован по расовым признакам?), — это жест, пожалуй, неслыханной смелости даже и в либеральной публицистике. Однако на что не пойдет скособоченно-«левый» либерал ради «приоритетности», «примата» его собственного сознания и значения![1] Ведь именно себя — «свободного» от корней, родовых, исторических уз — ощущает он безупречным вместилищем «общечеловеческого» алхимического вещества, «духа»... Он нынче борется, как А. Гангнус, если взять заголовок его «литературных мечтаний», с «мифами социалистического реализма» в культуре, мифами, созданными его же отцами — вроде старшего собеседника его в «Литгазете» доктора философских наук А. Я. Зися. Они, казалось бы, ведут спор, остроконфликтный и непримиримый, в ощущении младшего, диалог. Но с внезапною мудростью, тонким чувством жанра старший замечает: «Диалог у нас с вами не очень получается — скорее, два монолога *под одной крышей*». А. Я. Зись словно бы не ценит эту свою нечаянную мысль, не развивает всех ее справедливых возможностей. А между тем и впрямь: не вырваться младшему из-под *одной* этой, разрушаемой им крыши. Изобличая «абстрактную нормативность в эстетике» своих «отцов», он на деле с полной преемственностью выдвигает новую абстрактную нормативность — нормативность разрыва, теперь уж и абсолютного разрыва искусства, «культуры» с живой социальной ее основой, со всею естественною природой человеческого творчества... В его антагонизме к феномену, факту «классовых ценностей» (да и любых конкретно-воплощенных, «узко-частных», с надмирной его точки зрения) явственна все та же, взмывшая на новый виток, борьба со «второсортными» классами — именно с теми, кто некогда, как скорбела Латынина, «идею социальной справедливости... предпочел идее личной свободы», идее либерализма. Не мытьем, так ка́таньем — длится нормативная эта борьба с живой жизнью.

Методология ее также знакома... Она состоит именно в доведении до крайности, до абсурда, до категорического Абсолюта той или иной из объективно сущих, действительных истин. Так, действительно существование общечеловеческих ценностей. Но абсурдно — «культурное» игнорирование на этом основании ценностей классовых, народных и прочих, обусловленных реальными, исторически сложившимися человеческими общностями. Абсурдно и стремленье представить взаимоотношение человечества и народа, человечества и трудящегося какого-либо, производительного класса как заведомую конфронтацию, как взаимоисключающие силы, разнонаправленные и исходно разносмысленные. Абсурдно и воображать «общечеловеческие ценности» как нечто независимое, горделиво «оторванное» от конкретных человеческих образований, социальных структур, народов с выработанными ими ценностями — как нечто надстроенное над ними, «параллельно-возвышенное» относительно них, обособленное, саморожденное и самовоспроизводящееся... А вырастает подобная абсурдность, помимо прикладно-политических причин, из самого что ни на есть провинциального восторга перед соблазном «глобального» мышления, отметающего здравый смысл в слепом, эйфорическом и тщеславном полете над «глобусом».

Отверже́нье традиционных классовых ценностей (разрыв со всеми ними) естественно предполагает далее и забвение ценностей цеховых, профессиональных, куда входит, в частности, и трудовая, и общественная этика, — попрание воистину *многих*, по слову Гангнуса, разнообразных устоев, от которых отчуждается неподвластная силе тяготения, «дистиллированная», выхолощенная некая «собственно культура»...

В переводе на русский это, конечно, культура *бескультурья*. Облеченного в «недоступные» *многим* классам, расам (и ведомствам) слова... Однако же дорогим признанием подарил нас публицист, борец со «страшной реальностью» недобитого соцреализма. Ведь оказывается, что «примат общечеловеческих ценностей в культуре» требует — *тоже*, как и соцреализм! — отреченья от «многих *иных* «ценностей» (иных — и потому опять же саркастически закавыченных). И, похоже,

[1] Впрочем, нечаянно открылось, что Гангнусова смелость уравнивания *классовых* и *ведомственных* ценностей восходит, по всем правилам несамобытности либерализма, к социально-политическому «учению» академика Сахарова, который (см. журнал «Век XX и мир», 1989, № 1) настаивает на «безусловном приоритете целей выживания» некоего *внеклассового* «человечества» над «всеми государственными, национальными, классовыми, идеологическими, ведомственными, групповыми и личными интересами» и выдвигает — в свою очередь не оригинальную — «концепцию мирового правительства», то есть уже планетарной командной системы. (Эту концепцию увлеченно разрабатывали западные гуманисты — например, Герберт Уэллс — еще в 30-е годы, параллельно гитлеровским разработкам идеи мирового господства.)

даже от большего числа их, чем диктовали нормативы соцреализма... Да ведает это всяк прыгающий из огня да в полымя новой, гангнусовой, «собственно культуры»! А с другой стороны, ее тоже впору уподобить платоновскому, увлекшему «правовых» и «эстетических» публицистов, *котловану*, духовному «котловану», пустынный зев которого разверзнется на месте «многих иных», соизмеримых с *живым* человеком ценностей.

Эти последние, многообразные ценности, свойственные порой даже не одному народу — группе народов, тесно связанных происхождением, религией, сходством социально-государственных структур, предстают глобально-либеральному сознанию не только узкими (узкоклассовость, узкорасовость, узкокультовость, узкоукладность и т. д.), но и прямо «духовным рабством». Или, иначе говоря, — «завалом ложных формул» (от коих надо «расчистить» заветный *котлован*).

Исповедование «общечеловеческих ценностей», как — котлованно — толкуют их многие либеральные авторы («Пора наконец понять...»!) подразумевает некий чрезвычайный «аскетизм»: длинную серию, череду *разрывов*. Ибо, по этой логике, чем меньше у человека органических, кровных связей с мирозданьем, тем «всемирнее» он. Чем меньше пригодного для котомки «истинных ценностей» материала находит он в человечестве, тем «человечнее», тем «общечеловечнее» он. «Благородно» скуден, «изысканно» невелик ассортимент этих самых «общечеловеческих ценностей», оседающих в итоге неустанных отслоений, выбраковки «низкого», «грязного» земного «праха», после отдувания в сторону социального, расового, национального (и т. д.) духа *как такового*, независимо от его конкретной исторической роли и объективного содержания. Ибо слишком многое, обусловленное самою природой, не ведающей нивелировок и единообразия форм, конвейерных повторений и дубликатов, слишком многое, выработанное историческим развитием в его всегда конкретных, нешаблонных обстоятельствах, — кажется либеральному «аскету» праздной фантазией и излишней вариантностью... Впору предположить даже, что в «чистой» от пылинок какой-либо *почвы*, стиснутой руке «аскета» и вовсе пустота, и духовная жизнь его может быть графически выражена немым прочерком, как те, что выбивают между датами рождения и смерти. Бедный аскет! — недолго подумать об этом голом человеке, равно ободранном, высушенном снаружи и изнутри, обитающем в некоем «общечеловеческом» НИГДЕ или ВЕЗДЕ, когда б не проглядывал за суровым, «спартанским» этим «аскетизмом» обыкновенный, пожалуй что, тривиальнейший, эгоизм. Когда бы отстаиванье своего «права на ущербность» («...мне прошу оставить одно право: право чувствовать себя изуродованным», — как говорил критик Лев Аннинский в диалоге «Фениксы и Хамелеоны»[2], добавляя, впрочем, что не отделяет «права чувствовать» от «права пропагандировать» свои чувства), — когда бы отстаивание собственного «права» на ущербность не переходило в духовную агрессию, в претензию на «примат» подобного «аскетизма», в навязывание всему миру своих жестоких «нормативных» абстракций...

Логика этой агрессии разъяснима. Это логика всякого эгоизма. Но, быть может, особенно страшен, особенно бесконтролен эгоизм ущербности. «Изуродованности», не прощающей миру — зеркал, мстительно бунтующей против всякой неущербности, неизуродованности, бросая вызов «небу», природе, которые и впрямь не знают арифметической справедливости или той же «конвейерности», трафарета своих созданий... Не имея возможности быть в *ряду* с какой-либо неущербностью (традиционной природно-общественной нормой укорененного бытия), ущербность нередко пытается стать выше равноправного внутри себя ряда разнообразных полноценностей. Так провозглашается «ма́ксима», будто уродство — это апогей красоты, особая, «рафинированная» красота, и тому подобные «глубокие» парадоксы и софизмы.

Вместе с тем очевидно, что любая абстракция рождается все-таки земным, человеческим сознанием, имея исходную опору, первоначальную точку отсчета в том или ином, далее — абсолютизируемом, реально сущем опыте. И поскольку ничто не рождается из «ничего», не будет ошибкой сказать, что «котлованные» по способу своего утверждения «общечеловеческие ценности», которые «выпадают в осадок» в результате бесконечного выплескивания, отшелушивания, выбраковки духовных богатств человечества, неизбежно основываются практически на *чьих-то личных, индивидуально-присущих* обыкновениях: определенного социального слоя или народа, эгоистически возводящего *себя* в эталон человечества, свои ценности — в ранг преимущественных, общеобязательных и только в этом, принудительном, смысле — «общих»... Тут, по сути, именно истребительные «ценности», да и сам принцип «приоритетности» их заведомо перечеркивает равноправие самобытно-неповторимых явлений мира. Антидемократичный по замыслу, тотальный по своему приложению, он имеет явственную тенденцию «благородной» безжалостности ко всему «неприоритетному».

К этому, пожалуй, следует добавить, что естественная для эстетики, этики, жизни объективная иерархия ценностей, которую — пусть и на свой лад — признаёт, в сущности, каждый, и философия приоритетности вряд ли совпадают. Иерархии не обойтись без своих разномасштабных, но равно необходимых ей, *звеньев*. Идея приоритетности же не чужда как раз отсечению «второстепенного», «низкосортного». Она близка к представлению о «самодостаточности» приоритетного объекта: «первый», «преимущественный» и «лучший» вполне может обойтись без существования «худшего», «справедливо» игнорировать его.

Склонная к саморазвитию идеология *разрыва*, перманентной уценки ценностей, которая свойственна несентиментальному лево-либеральному исповеданию, не-

[2] «Литературная газета», 1987, № 17.

ает в себе возможность резкого конфликта даже с прямыми, ближайшими предшественниками, хотя этот конфликт порой обусловливается также и переменой исторических обстоятельств. Впрочем, в случае Александра Гангнуса — Авнера Зися мы встретились все-таки с безусловной преемственностью при всей болезненности ее путей: перед нами — драматическое достраивание «одной крыши» над обеими спорящими сторонами, перестраивание ради «окончательного» триумфального достраивания, при котором не обойтись без замены конструкций, без отходов и строительных жертв. Это конфликт двух «эстетических» экстремизмов — нового и старого, исторически «прогрессивного» и «отсталого». Развернувшийся на почве эстетики: ценности соцреализма — или же более максималистские «общечеловеческие ценности» в культуре»? — он отражает, конечно, взаимоотношение социальных, политических ориентаций. Его можно рассматривать и как конфликт поколений, достаточно жестокий — со стороны младшего, в то время как старший ищет линии схождения, и жаль, что при этом не указывает «детям» на их глубинную зависимость от наработанного — так ли уж промотавшимися?— «отцами»... (Будет ли достроена «одна крыша» при такой расточительности новой смены к «устарелым» материалам, при столь нещадном «капитальном ремонте» с нигилизмом к прежней социально-общественной идеологии, или, напротив, все-таки рухнет этот «общечеловеческий» свод в ходе ненасытного усовершенствования наших умов и душ, в процессе бесконечного «разрушения как созидания» — это вопрос особый.)

Разногласие же, обнаруженное ранее между Латыниной и Л. Чуковской насчет подведомственности слова, мнения, литературной, общественной мысли, отражает не столько конфликт между поколениями, сколько нечто более принципиальное, широкое по значению: их разногласие отражает собою объективный, вызревший к сему дню кризис либерализма. «Мундир голубой», доброхотно, поспешно натянутый на себя нынешним либералом, и есть ведь, собственно, знак этого кризиса. Очевидного кризиса, независимо от того, прячется ли либерал за карающий закон, передоверив ему свои тайные интересы, или же, не скрывая лица, «до... и вместо Закона» испытанными морально-террористическими средствами вводит «единомыслие в России»...

Противоречие между А. Латыниной и Л. Чуковской заведомо вынесено из области эстетики и касается самих условий существования литературной мысли, самого бытия и развития нестесненного общественного мнения.

Взгляд Л. Чуковской 60-х годов кажется более самостоятельным, чем вдохновенный правовой формализм нынешних либералов: писательница мыслила шире, чем юрист, пытаясь противопоставить сухому «юридическому мировоззрению» гуманную русскую литературную традицию — «традицию заступничества» которая требует «не упрощенно, а глубоко и тонко, во всеоружии социального и психологического анализа, вникать в сложные причины человеческих ошибок, проступков...» Она исходила не из п р а в а — «социалистического» или «буржуазного», неизбежно слитого с государством, — а из надгосударственного статуса литературы, и тезис: «Литература уголовному суду не подлежит», — имея обоснованием духовно-этическую традицию русской культуры, не мог восприниматься как отстаиванье, скажем, безнравственности и вседозволенности для писателя.

Эта точка зрения, будучи проведенной последовательно — именно как «традиция заступничества» за человека, которая не зависит от политической конъюнктуры, — по сути, равно противостоит и «либеральному террору», и рационалистическому «правосознанию», выливается ли оно в методы трибуналов или в параграфы некоего «идеального» кодекса.

И тут стоит заметить, что при всем преимуществе законов над беззаконием право не может оказаться выше, чем реальное культурное состояние общества, не может «выскочить» из его реального экономического строя, социально-политической структуры. Для простоты скажем: правовые нормы, власть которых предвкушают наши литературные критики и публицисты, сообразны именно их культурному уровню, социальному чувству и политическим устремлениям. И во всяком случае уместно вспомнить в связи с нынешним правовым фетишизмом («Законы могут всё», по слову Гельвеция), с представлениями о праве как о «первооснове» общества и главном движущем факторе его, — уместно вспомнить по поводу этого «классического мировоззрения буржуазии» [3] суждение Маркса, что в действительности «...общество основывается не на законе. Это — фантазия юристов. Наоборот, закон должен основываться на обществе, он должен быть выражением его общих, вытекающих из данного материального способа производства интересов и потребностей...» [4].

Ведь наши либералы от литературной критики уповают именно надстроить Закон над обществом, над реальными течениями общественной мысли, многоразличными интересами и потребностями. С в о й эгоистический и, пожалуй, достаточно утопический Закон — так что можно уже предвидеть их нервозность и растерянность, если практическая жизнь не вполне посчитается с их планами и, главное, когда им придется удостовериться, что правовая надстройка не в силах стабилизировать базис или фундамент...

Идея правового государства, антифеодальная задача «заменить правление людей правлением законов» родилась на гребне западноевропейской рационалистической философии XVIII века, став одним из лозунгов Великой французской революции. Схематическое перенесение его через двести лет на нашу почву, как предстает это в нынешней публицистике, похоже на очередной социальный эксперимент, который основывается не на конкретном, исторически сложившемся обществе, но исходит из умозрения, будто существует некая вседействительная по «рентабельности», «общечеловечески» приложимая форма и формула демократии вроде вседействительных математических формул... Этот схематизм исходит также из того — феодального — «условия», будто до сего дня наша государственность была безусловно отрешена от права, опираясь именно на «правление людей» вместо «правления законов», и лишь впереди — счастливо-демократическое благоденствие, о каком мечтает взлелеявший правовую «панацею» либерал. Но судебный иск И. Шеховцова, вызвавший — сам по себе — широкое общественное (и прежде всего — либеральное) негодование, строился, заметим, по сути, на классических нормах правового демократического государства (невиновен тот, чья вина не доказана судом и следствием), и этот иск оказался нечаянной насмешкой над либерально-правовой «панацеей», выявив некое принципиальное противоречие между холодным правом и воспаленным «общественным мнением». Похоже, либерал не осознал при этом, что попал в сети собственной «правово-демократической» философии...

Поскольку «вообще-демократии» (не-английской, не-французской, не-американской и т. д.) в действительности не дано, наш либерал неотвратимо вносит в «объективную», надысторическую, вненациональную схему, теоретически заявленную им, свою собственную, субъективную окраску. Это, следует прямо сказать, окраска удручающая. Нынешний наш либерал с его «изящными, в высшей степени благородными чертами лица» вполне подобен героине чеховского рассказа «Ариадна», которая «сердилась, когда подсудимых оправдывали». Оттого-то нередки в прессе профессиональные мнения будто «доводы об антигуманной сущности смертной казни несостоятельны» («ЛГ», 1989, № 11). Оттого-то возможны угрозы наших «либеральных» Мальбруков (от Г. Бакланова до М. Ульянова) послать во все концы страны «столько войск и столько танков, сколько нужно» для усмиренья народов — пасынков перестройки («МН», 1988. № 49)... Вот оно, наше либеральное ПРАВО, с едким дымком каннибализма!

Привычно оправдывая себя нашим «проклятым прошлым» (для идей разрушительных всякое прошлое обязано быть именно проклятым — дореволюционное ли, послереволюционное ли), «правозаступнический» наш либерализм порой очертя голову даже выговаривает свою суть, смело рисуя социальную карту будущего. «Правовое государство» обнаруживает себя именно как царство рабства, которое нам предлагается положительно оценить в сравнении с — так сказать — «неправовым» угнетением или рабством. «До сих пор у нас был тоталитаризм, кровавая сталинская диктатура и ее тяжкое наследие, так что сразу перейти к прямой демократии мы не можем (?)... — пишет один из историков, чьи мысли при всем «тяжком наследии» отнюдь не стеснены нынче в обороте.— Необходимо поэтапное (!) прохождение всех фаз развития демократии, так что а б с о л ю т и з м, разрешающий представительную демократию д л я и з б р а н н ы х, — это уже шаг вперед по сравнению со сталинской диктатурой».

Это — об абсолютизме или правовом государстве «для избранных» — особенно интересно читать в год 200-летнего юбилея Великой французской революции, чьи заветы о «свободе» любит повторять либерал, тая в душе лавочника мечту о каком-нибудь Наполеоне — Четвертом или же Пятом... [5]

Это интересно читать и в виду латынинской тоски, что либерализм в России до сих пор не переходил в «моноидею, способную увлечь массы», — хотя не странное ли мечтанье: увлечь массы «демократией для избранных»?

Отчужденность от истории д а н н о г о общества, ребяческая попытка вернуть его «аккурат» вспять (для «поэтапного прохождения всех фаз развития демократии»), готовность к эксперименту теперь уже «от противного» (по причине «разочарования» в «ущербной» идее социальной справедливости) — тут, разумеется, и «легкость в мыслях необыкновенная», вполне свойственная либералу, и его органичный социальный эгоизм.

Этот эгоизм заявляет о себе все беззастенчивее. Вот и обремененная наградами и титулами академик Заславская, бессменный ученый пособник и консультант «развернутого строительства коммунизма» в нашей стране, а затем — фундаментальной «перестройки» возведенного «здания», выступая при вручении ей западногерманской премии (восхищены в ФРГ высотой нашей экономической науки и практики!), разъяснила, что «перестройка призвана обеспечить п р и н ц и п и а л ь н о е п е р е р а с п р е д е л е н и е в л а с т и, п р а в и с в о б о д между общественными классами и слоями» [6].

«Перепланировка», «переформировка» социального неравенства, «передел мира» (его благ) внутри страны, то есть новая, но по-старому п р и н ц и п и а л ь н а я селекция общества, — вот в чем, оказывается, состоит священная задача нашей перестройки!

Весьма интересно, кстати, что «перераспределение» предполагается именно между к л а с с а м и и социальными слоями, то

---

[3] К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с., т. 21, с. 496.

[4] Т а м ж е, т. 6, с. 259.

[5] К июлю-августу с. г. эта мечта, не таясь уже, вышла на простор. «Даешь Робеспьера! (Бонапарта! Пол Пота!..)» — вскричал ярый лавочник-либерал, имея тотемом Тучного Золотого Тельца... (Ему нужна, конечно, идеальная марионетка, машущая игрушечным мечом над глухой ширмой, скрывающей кукольников-«гуманистов».) «Зондеркоманда» из мастеров пера-топора сколачивает некий «Межрегиональный» Конвент, сманивая свободу в «карантинную» зону рабства, «спасая» демократию за пазухой диктатуры. Новобонапартистская проповедь а в т о р и т а р и з м а, «персонифицированной (!) с и л ь н о й в л а с т и на вершине номенклатурной пирамиды», требование « ж е л е з н о й р у к и» с «особыми, чрезвычайными (!) полномочиями», — «неизбежными на переходе к демократии», необходимыми ради «добротного рынка», — заполнила страницы «Московских новостей», «Нового мира», «Литгазеты», демонстрируя всю «цивилизованную» дикость наших подражательных, кооперированных буржуа.

[6] Цит. по журн. «Молодая гвардия», 1989, № 7, с. 275.

есть чьи-то классовые и сословные интересы (не поименованные автором) будут все-таки выдвинуты на первый, «приоритетный» план — сравнительно с интересами других «общественных классов и слоев», и как согласовать это с широко заявленным пренебрежением к «классовым ценностям» (ради ценностей «общечеловеческих») — не ясно!.. Разве что интересы каких-то — особых — «общественных классов и слоев» будут приравнены к «общечеловеческим ценностям», будут выданы за них и расшифруют собою наконец истинные демографические границы, сословные зоны бытования «общечеловеческого» — вполне частного на деле и именно ограниченного по своему содержанию?

Впрочем, ничего не стоит поймать современного либерала-прогрессиста, «демократического» радикала на логической неувязке, отражающей его лукавство. И обращает на себя внимание тот факт, что нынешний «надклассово»-либеральный и даже радикально-либеральный стан имеет общую, по сути, единую социальную характеристику. Он состоит отнюдь не из «проклятьем заклейменных», как пелось прежде, «голодных и рабов». Это, напротив, вне всякого сомнения, стан сытых, хотя, возможно, и ненасытных — мечтающих о дополнительном «перераспределении», правовой, матерьяльной, а к тому же — моральной надбавке. Стан ненасытных сытых, узурпирующих себе титул «совести нации» и пытающихся манипулировать голодными — заведомыми (исторически неизменными!) жертвами нового «принципиального перераспределения власти, прав и свобод»... Ведь если вглядеться, шельмованием классовых ценностей страстно заняты у нас: академики и «престижные» писатели, советские члены Пен-клуба и «высокогорного» Иссык-Кульского форума (творцов-управителей, «гувернеров» беспомощного человечества), заслуженные деятели культуры (кино, театра) и городские удачливые кооператоры, крупные чиновники-«интеллектуалы» и барбароссы рок-музыки, главные редакторы центральных изданий, ректоры столичных вузов, руководители совместных с инофирмами предприятий, журналисты-международники, архитекторы телемостов с «правовыми, цивилизованными» государствами (и т. п.), — отнюдь не обреченные на бюджет в водянистых отечественных рублях, обладатели не талонов на мыло и сахар, но чековых книжек для таинственных советских «Березок» и «общечеловеческих» супермаркетов.

Все они стали ныне борцами, ораторами и публицистами, защищая своею социально бронированной грудью «общечеловеческие», «свободно конвертируемые» ценности от «узкоклассовых», нище-классовых!

Личный социальный статус ведущих общественных «прорабов» перестройки (или «принципиального перераспределения» условий жизни), их неизменная социально-экономическая неуязвимость что в эпоху «развитого социализма», что под знаменами тотального ревизионизма, их стойкая приближенность к власти — прошлой, позапрошлой, сущей и «перестраиваемой» на завтрашний день (приближенность — даже при отдельных конфликтах, вспыхивающих внутри идеологически-кровосмесительных отношений) — слишком бросается в глаза, слишком старит их «честное», благородно-страдальческое («мученическое») чело.

Иной раз они учат нас даже самоотверженности. Подавая как бы пример ее. Заверяя в своей готовности дорого заплатить за... светлое настоящее.

«За то ощущение свободы, какое есть у нас (?) сегодня, я готов заплатить еще годами ожидания экономических результатов», — признаётся один из либеральных абсолютистов, классический баловень всех политических эпох, случившихся на его веку, — Виталий Коротич. Он «готов заплатить», значит, именно экономической катастрофой, по сути — голодом для страны за «наше» («ихнее» — чье-то!) «ощущение свободы»: за узаконенную «демократию для избранных», за то «правовое государство», которое страховать будет «диктатуру кошелька»?..[7]

Эта его услужливая готовность стóит внимания, ибо, микрописатель, международно известный коммивояжер «социалистической демократии», будучи «накоротке» с «генсеками», премьерами и президентами разных стран, он отражает невольно, пусть и в самой вульгарной форме, некую мировую стратегию «торжества свободы» в нашей стране... Меняя окраску во всем диапазоне «социализм — капитализм», исповедуя «конвергенцию» то слева направо, то справа налево, этот юркий хамелеон, скользя между камушками перестройки, дает нам сегодня представление о цвете времени, одном из его цветов, о тех идеологических красителях, что разрабатываются для российских низин на высотах «мирового сообщества», в алхимических подвалах «общеевропейского дома», в оптово-торговых залах транснационального маклерства, где выставлены лакированные образчики «патентованных» свобод с кровавыми ценниками при них...

Что ж до цены, которую «готов заплатить» нынче знаток мировой конъюнктуры Коротич, — ясное дело, столь щедро «платит» лишь тот, кто платить намерен из чужого кармана — годами бедствий, предназначенных другим людям, не «избранным», не сподобленным льгот «антисталинского» абсолютизма, то бишь новой («шаг вперед»!) «демократии».

Он воистину «за ценой не постоит»! Ему («им») нужно «последнее и решительное» — необратимо победное! — «перераспределение власти, прав и свобод», какими бы «экономическими результатами» ни сопровождалось оно для бессчетных изгоев нового этого «перераспределения». Выхоленный эпохой застоя, воспитанный идеологами «развитого социализма», литературное дитя «малой земли» Больших Льгот, вкусившее от гарун-аль-рашидовских щедрот широкой брежневщины, этот «прораб перестройки» не таит своих аппетитов, претензий и вполне субъективных «ощущений».

[7] Выражение. А. Салуцкого в его комментарии к коротичеву «ощущению свободы» («Московский литератор» от 14 апреля 1989 г.).

Он нынче не только по-прежнему (если не пуще прежнего!) социально застрахован, но и дополнительно свободен: свободен призывать нас терпеливо, годами ожидать элементарных экономических результатов при нерушимо-убыточной организации хозяйства; полномочен устанавливать всенародную цену «наших» прав и свобод; свободен — афишировать «демократическую» программу социальной несправедливости... В этой свободно развернутой им пропаганде и агитации несомненно прочитывается внутреннее раскрепощение автора, даже и не «по капле» — куда стремительней! — выдавливающего из себя «раба» прежних хозяев. В самом деле, если в пору «застоя» свободолюбивый Коротич «вынужден» был внушать обездоленным, что они — счастливы, уверять бедствующих, что неуклонно «растет их благосостояние», именовать разруху не иначе, как «развернутым строительством коммунизма», послушно клеймить «звериное лицо» капитализма, империализма, сионизма (и прочих, по-нынешнему — «общечеловеческих», явлений), наконец — в личном плане — быть украинским писателем, сердечно преданным — дочернобыльской — матери-Украине, то нынче он последовательно сбросил все душные, все тягостные маски. Теперь ему можно без всякого ущерба для себя гласно предаться прямому самовыражению: приветствовать голод — голодным, власть, права и свободы — избранным или «традиционно» сытым. Теперь можно братски сесть за «огоньковский» широковещательный «круглый стол» с «московскими» и «американскими» спецами по России (и Украине), жадно внимая «звериноликим» оракулам: «если Горбачев победит, то в СССР восторжествует капитализм». И уж, само собой, можно наконец отступить от «рідної мови», отдавшись истинной своей безъязыкости, как раз и пригодной для воспевания надсоциальных, наднациональных, тесному кругу доступных «общечеловеческих ценностей».

Эта «прорабская», коротичева «свобода», ясней всего воплощенная для народа в свободе от предметов первой жизненной необходимости, — и впрямь, точно чернобыльская наука (по крылатому выражению высокопоставленного технократа), «требует жертв». Это свобода вымирания большинства ради остро-вдохновительных, кружащих голову «ощущений» некоего «свободолюбивого», избранно-«демократического» меньшинства, нахваливающего себя, свою — удачливо «перераспределенную» — власть как «меньшее» из зол, как преодоление («шаг вперед»!) «сталинской диктатуры».

Это меньшинство в его презрении к чуждо-классовым проблемам столь духовно и монолитно, что весьма слаженно защищает «общечеловеческие ценности» от... «философии колбасы» (как выражается «наша совесть» — академик Лихачев). Что ж, известная в принципе инвектива — и выглядела уместно в гётевско-шиллеровские, скажем, времена и обстановке, когда направлена была против сытого филистерства, «колбасников»-бюргеров. Только вот нынешние борцы с «узкоклассовыми» интересами попрекают «философией колбасы» не бюргеров, не запасливое мещанство-купечество, но именно тех, кто забыл запах этого «низменно-философского» продукта...

Последние становятся решительно нелицеприятны. Чуя дыханье такого «бытия», которое и впрямь всецело «определяет сознание», насильственно снижая его до самых прозаических забот. Которое заведомо придавливает человека, сплющивая его в голодных очередях, — под аккомпанемент фарисейских проповедей о высвобождаемой духовности... И вот на диспуте «Молодежь и культура», организованном Советским фондом культуры, звучит «грубый», «узкоклассовый» голос:

«— Какая там культура, если в Москве нет колбасы! Вот будут все сыты — и появится настоящая культура. А пока — болтовня».

Достойная отповедь теоретическому российскому «колбаснику» не заставляет себя ждать. Ее дает «Главный Интеллигент страны» (как счастливо обозначила в «Московских новостях» Т. Толстая), председатель правления Советского фонда культуры. Поучая насчет героического самоограничения и феномена голодного вдохновения, он «парирует» по поводу экономической базы: «...хочу напомнить... какие прекрасные, потрясшие весь мир художественные произведения были созданы в годы ленинградской блокады (!), когда были резко обострены ум, чувства людей, их сознание».

Как и какие — эстетические? — чувства людей могли особенно обостряться в блокадные зимы — тема для специального диспута, который также, видимо, по плечу руководству Советского фонда культуры. Но если следовать логике «Главного Интеллигента страны», Генерального, так сказать, Интеллигента, ныне мы, в сущности, приближаемся как раз к лучшим условиям творчества («когда резко обострены...»)? И налицо — очень серьезные предпосылки общенародной культуры?

Интеллигентность, ставшая профессией, хлебной, номенклатурною должностью, очевидно, способна диктовать самые оригинальные воспоминания и выводы.

«Я не за то (!), чтобы наши люди голодали, — продолжает далее академик Лихачев, — но и было бы принципиально неверно сводить причины низкой культуры части людей к «философии колбасы». А корреспондент (В. Лисовский, «профессор, лауреат премии Ленинского комсомола»), излагающий в «Правде» (от 20 июня с. г.) этот диспут, разъяснительно добавляет уже от себя: «Академик не стал рассказывать, как в годы блокады умирающая от голода жена возила его на саночках в Дом ученых, где давали жидкую похлебку. Но именно в то время Дмитрий Сергеевич написал небольшую книгу...»

«Высокая» щепетильность таких рекламных примеров (а подобные «клейма» — с «саночками» — перенятые из иконописи жанра «Святой в житии», густо рассыпаны по культурно-нравоучительной прессе) — вопрос особый. Особый, пожалуй, вопрос и о блокадниках — с «академической» похлебкой и без нее... Но (напрашивается не-

вольно насущнейшая мысль): при какой «похлебке» или же в какой общественно-этической прострации можно сегодня с п е к у л и р о в а т ь нравственным подвигом ленинградских блокадников, их творческим подвигом («...потрясшие весь мир художественные произведения...»), нечеловеческими лишениями военных лет, дабы (заодно и передергивая историко-культурные факты, игнорируя множество культурно-человеческих потерь в блокадном Ленинграде) оправдать свое равнодушие к нынешнему положению огромной, подавляющей «части людей» с их «низкой культурой» — якобы принципиально н е о б у с л о в л е н н о й социальными, экономическими обстоятельствами в РСФСР или Белоруссии, в Казахстане или в Молдавии?.. Да и все это «равнение» на ситуацию военных лет, к какому призывают сегодня наши учителя гуманности и культуры, не означает ли самого безжалостного взгляда на народ, обреченный у нас во все эпохи быть не иначе, как изумляющим «весь мир» страстотерпцем?

Все эти «одухотворенные» речи («не хлебом единым», а... коротичевой «свободой», лихачевской обостренно-голодной «культурой» и т. п.!) более или менее прямо указывают, что «экономические результаты», то есть хотя б относительное благосостояние многомиллионного населения нашей страны, не входят в «пакет» (как «элегантно» теперь выражаются) «общечеловеческих ценностей», а тяготеют скорей к ценностям «узкоклассовым», отнюдь не «приоритетным». То ли дело — «ощущение свободы», «культура», которой сподоблены «избранные», хоть она, может быть, вовсе не отвлечена от истинной, глубинно-филистерской «философии колбасы» или по-современному густой «общечеловеческой» похлебки нынешних «граждан мира»!

Кто из них скажет (как некогда Александр Довженко) и решится на практике подтвердить эти, пожалуй, единственно достойные ч е л о в е к а к у л ь т у р ы, слова: «Я не хочу жить лучше своего народа, я не могу и не хочу жить и видеть истребление, агонию моего народа. Я хочу разделить его судьбу полностью, до конца и без оглядки»?

Это для «новомыслящих», «общечеловеческих» — «старое», «узкое», верно, даже и «ретроградное» мышление! И они будут пресыщенно попрекать разоренный народ его материальной озабоченностью; возомнив себя патриархами всея Руси, приглашать (понукать!) его к п о к а я н и ю; неутомимо самодовольствовать перед телекамерой, на эстраде, «с р ы в а я а п л о д и с м е н т ы влюбленных в него (того ж «Главного Интеллигента страны». — *Т. Г.*) зрителей», как свидетельствует в газете влюбленная же Т. Толстая... (Интеллигентность как э с т р а д н ы й жанр, «святопастырские» поучения с эстрады «множеству множеств» нашего «неинтеллигентного» люда — свежайшая страница в летописи отечественной культуры.)

Отрадно одно: жизнь — и так случалось в истории не раз — весьма быстро опрокидывает теории, планы, мечтанья «либеральной интеллигенции», которая нынче — подчеркнем — высокомерно, высокопарно, ссылаясь на «возвышенное» свое, «планетарное» сознание, по сути, покинула с т о р о н у н а р о д а, едва ль не всецело перейдя в социальную элиту, слившись фактически с элитой правящей, «интеллектуально» высиживая нам «просвещенный авторитаризм» [4].

Но, покуда жрецы «транснациональных ценностей и целей», либералы всех (тоталитарно-авторитарных) мастей шельмовали «классовые ценности» — именно трудящихся, производительных классов, — зрели и грянули в стране забастовки шахтеров. И, что до простых, «устарелых» и «узких» ценностей, неотменимых для жизни страны и народа (только и рождающего КУЛЬТУРУ), — пора бы вспомнить «общечеловеческим» нашим гуманистам мудрую поговорку: смеется тот, кто смеется последним!

«Когда массы подключаются к решению серьезных вопросов, они решают их зачастую себе во вред», — смеются пока еще клямкины и миграняны, маленькие «Великие Инквизиторы», «спасители» масс.

«Они не знают народа и не любят его. Некультурные и душевно убогие, бездуховные и бессердечные, они пользуются своим положением... и пишут односторонние и сусальные россказни...» — замечал А. Довженко о своих «коллегах» по культуре, которым «н е т д е л а до того, что народ страдает, мучится, гибнет...»

«Мы не должны быть ни с народом, ни для народа. М ы — н а р о д», — победоносно отвечают на столь «ретроградную» боль нынешние учредители «независимого (от народа? — *Т. Г.*) комитета «Апрель» («Писатели в поддержку перестройки»)». Они учреждают новую, упрощенную, более удобную Управителям структуру общества — взамен «п р о к и с ш е г о к л а с с о в о г о т о р т а» (как выражается в «Московских новостях» Т. Толстая).

Они ж (которые — н а р о д) — также и н а ц и я. То есть «цвет нации». «Цвет», который трепещет, как бы «наша (?) национальная самобытность» не обернулась «национальной ограниченностью»...

Какую же нацию представляют (то есть украшают ц в е т е н ь е м) учредители?

Это любопытство не праздное, если о «н а ш е й национальной самобытности» хлопочут (судя по подписям учредителей в «Московском литераторе» от 17 марта с. г.): А. Гербер и Ю. Мориц, Б. Кагарлицкий и А. Борщаговский, И. Дуэль и т. п. Тут же, конечно, и А. Латынина, бдящая насчет «национал-радикализма»...

Либерализм в понимании н а ц и и столь безусловен у основоположников «апрельского» н а р о д а, что среди былых «представителей передовой р у с с к о й интеллигенции» (то есть «цвета» русской нации) они называют Марка Шагала — н а р я д у с Шаляпиным и Львом Толстым. То есть, стало быть, тоже из русских — русского!..

Спорить с этими «национал-либералами» — все равно что спорить, скажем, с булгаковским Швондером из «Собачьего сердца», также писавшим «бессмысленные пасквили в газетах».

Они, чернильно-бумажный этот благоухающий «цвет», восстанавливают, по их заверениям, историческую, литературную, национальную (и всяческую) п р а в д у. Они — носители «нравственных абсолютов», некогда пренебреженных. «В двадцатые — тридцатые годы... — утверждают «апрельские» правдолюбцы, — п о д м е н и л и общечеловеческие ценности классовыми».

Подменили!.. Это, видать, и революция — Октябрьская — шла под лозунгом «общечеловеческих», по-сегодняшнему, ценностей, которые п о с л е, в 20 — 30-е годы, были коварно подменены классовыми! Или же революционный лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — не имел на деле в виду интересы этого самого класса пролетариев?..

Право, занимательно читать признания образованного, «генетически ответственного» (по Д. Лихачеву) в исторически справедливого «цвета нации»: некоей «общечеловеческой» нации, которая борется сегодня и с «узкою» классовостью, и с устарелым н а р о д о м, и с «национал-радикалами», ибо она борется со всем, не похожим на нее, «подменяющим» ее — «нравственно абсолютную», неотступную, «приоритетную»!..

ПО КОМ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ?

Жаль, очень жаль, что Л. Овруцкий, чуткий к приблизительности, неполноте и м е н и д л я в е щ и, повторяя, «обкатывая» и смакуя новое имя — «национал-радикализм», — не пытается уточнить для читателя вдохновенный «эскиз» упражняющейся в «политическом словаре перестройки» Аллы Латыниной. Эскиз заголовка с т а т ь и чаемого ею драконового З а к о н а...

Как бы сговорившись, уточнения этого избегает каждый из взаимопонимающих критиков, взявших на вооружение терминологическую новинку. «Что такое «национал-радикализм» и насколько типична для него Т. Глушкова — вопрос для самостоятельного исследования», — откладывает объяснительную работу и Сергей Кирилов («Вопросы литературы», 1989, № 2), хотя выступает более чем через полгода после латынинского открытия и посвящает свою статью — «Союзы и союзники» — опровержению круга мыслей, ославленных как «национал-радикалистские» и печально-чреватые...

И вот остается решительно неясным, к пользе к а к о й национальности и в ущерб к а к и м национальностям направлено «все более влиятельное течение общественной мысли». Так что, по-видимому, оберечься должны люди самых разных национальностей нашей страны: ведь таинственный этот «национал-радикализм», против которого, по Овруцкому, обязана ковать щит Свобода, все-таки легче всего приводит на память термин: «нацизм».

«Не путать с национал-социализмом», — замечает в скобках Л. Овруцкий, словно чуя неизбежную в сознании современников перекличку «имен». Но снова-таки уходит от разъяснения предмета своего гнева, оставляя предполагать, что новое «течение общественной мысли», уловленное Латыниной, еще катастрофичнее, чем фашизм, зародившийся некогда вне нашей страны...

Мудреная, конечно, задача — ковать «щит» или ладить другие заслоны явлению, обозначенному лишь приблизительно, с недоговоркой, невнятно. Против «влиятельной» силы, неизвестно где именно располагающейся. Национальной угрозы — со стороны неведомо какой нации да и неведомо каким народам... Так что набат, прозвучавший в статье Латыниной «Колокольный звон...» и подхваченный многими, интуитивно чуткими, но страдающими «благоприобретенным косноязычием» звонарями, гремит, в сущности, беспредметно. Однако тревога непонятная, предупредительная сирена необъяснимого толка, сплошной звон при незримой и не называемой точно опасности — способны, пожалуй, особенно будоражить людей, подвигая их на самые хаотические, продиктованные слепой паникой действия. На, так сказать, бессистемную и сплошную «круговую оборону»: на юге и севере, западе и востоке... П р и з р а к угрозы, воспаляемая темными намеками мнительность способны побудить к столь агрессивной «ответной» самозащите, которая так же успешно взрывает мирное, плодотворное течение жизни, как и само инициативное, «первопричинное» насилие извне.

Упражнение в туманно-зловещих ярлыках, которому предалась «либеральная» А. Латынина, служит не только мечтаемому карающему Закону, но прежде того — национальной взвинченности в самых широких географических масштабах. Межнациональной подозрительности или, как сказал бы В. Кардин, всеобщей настороженности — от коей «отказываться еще не срок»!

Интересно сопоставить с этим севом повсеместной тревоги массовые протесты либеральной критики против разнообразных м и ф о в. Старых и новых. «От «врагов народа» — к «врагам нации»?» — возмущенно обличала неугомонное мифотворчество Н. Иванова на страницах «Огонька», будучи далеко не одинокой в этой «предупреждающей» бедствия постановке вопроса... Подобный же «миф» («поиск «врагов нации») развеивает и Л. Овруцкий, обрушиваясь на «антисемитов» из «Памяти» и странным образом не замечая, что наличие антисемитов (в чем не сомневается он!) подтверждает собою как раз принципиальное с у щ е с т в о в а н и е «врагов нации». Это же подтверждает, конечно, и наличие «черносотенцев», «шовинистов» («великодержавных» и помельче), дружно и давно уже признанное во многих массовых изданиях.

Тут, конечно же, парадокс мифоборческого «научного сознания» (за которое ратует тот же Л. Овруцкий). Знаменательный парадокс. В силу которого при всех недоговорках критики можно заключить, что «враги нации» — это миф относительно не всех без исключения наций. Что есть или могут быть нации, имеющие действительных врагов («анти...», «черно...», «шови...»), ощеренных против них, а есть такие, у кого враги — лишь мифические: вот какие счастливые, значит, есть нации! Нации — баловни судьбы, никогда не ведавшие сто-

[4] Эта «просвещенная» деспотия предполагает д л я н и х «наличие... определенной (!) сферы гражданского общества, свободной от тотальной регламентации со стороны политической власти», как пишет «антитоталитарист» А. Мигранян в «Новом мире» (1989, № 7).

ронних врагов лишь сами себе виноватые, сами себя секшие (как показывают новейшие исторические экскурсы в глубь и ширь времен) и лишь по отсутствию «национальной с а м о к р и т и к и» способные озаботиться «поисками «происков», идущих извне, — как иронизирует в очередной своей вдохновенной работе одномысленная с А. Латыниной Н. Иванова...

К таким счастливым. блаженно-безопасным и лишь вздорно-фантазирующим порою нациям относится во всяком случае русская нация. Об этом нечаянно проговаривается и А. Латынина, хотя и стремится, как правило, к неопределенно-личным, то есть неопределенно-национальным, обличительным конструкциям. «Идея о некоем тайном заговоре против русской культуры», о «гешефтмахерских» происках и кознях», направленных в э т у, русскую, сторону, — вот, по Латыниной, первоочередной (и единственный) пример «мышления мифологического».

У самой же Латыниной, стóит для объективности сказать, мышление скорее мистическое (даром что Овруцкий видит в нем приметы «обыденного сознания»). Из статьи в статью, какую бы тему ни подымала она, Латынина уверяет нас, что мировая история и политика никогда не знавала (и знавать не могла!) ни «чьих-то злых козней», ни вообще феномена з а г о в о р а — ни «Заговора равных», стало быть, ни заговоров цареубийств, ни заговора, допустим, левых эсеров в 1918 году, ни заговора. например, против Кеннеди в не столь уж давнее время... Не знала история и политических тайных обществ, достойных внимания, хоть бы и признавались в таковых перед следственной комиссией «странные», верно, мифологизировавшие действительность декабристы... Именно в этом здоровом скептицизме «неромантической» А. Латыниной, в недоверии к факту каких-либо земных, организованных тайн и подвохов, вообще — засекреченных организаций и негласных партий и коренилось ее неприятие исторической прозы В. Пикуля, о чем здесь уже поминалось. Исторический романист, не способный избегнуть в сюжете деятельности нелегальных сообществ, заговорщиков, клубов, закулисных фигур, влияющих на ход явных событий, — такой исторический романист, по Латыниной, просто нелепый мифолог, ибо истинная история — наглядна, бесспорна, проста, под стать пареной репе. Она развивается по уныло прямолинейному закону, демонстрируя — вся нараспашку — свои автоматические этапы, не зная случайностей, светлых и мрачных чудес, — прочно детерминированная «свыше» и всецело в том очевидная...

Кандидат философских наук, А. Латынина вполне фаталистически понимает историю, никак, по ее мнению, не зависящую от воли и целей реальных людей. Критик против поиска «корня зла... в лицах» (если вычесть, однако, «национал-радикалистов»). Только — «в идеях»! Падающих с неба. К которым отнюдь не причастно то или иное провозгласившее идею лицо. Всё течет у Латыниной строго с а м о с о б о й. В бестелесном пространстве. (Ролью л и ч н о с т и за все тысячелетия в истории облечен был только И. Сталин. Исключение, подтверждающее правило!) «Серьезные литераторы... избегают касаться толков о «злых кознях», — учит Латынина. Ни один режим сознательных и ответственных врагов не знал. Намерения у всех действовавших в человечестве лиц бывали либо добрые, либо — никаких. «Один лишь Валентин Распутин... — сетует Латынина, — ставит вопрос резко и прямо» (насчет исторических «злых козней»), хоть вроде и серьезный с виду литератор... Это удивляет А. Латынину. И она готова даже выдвинуть в пример В. Распутину, «художественное творчество которого уже успело подсказать нам многие глубокие ответы», — куда более доступного ей В. Кожинова. «Но почему, — вот ведь какая для Латыниной незадача! — высмеивая представление о течении истории как результате чьих-то злых козней, тот же Кожинов ответственность за план реконструкции Москвы возлагает на Кагановича?» То есть «тот же Кожинов» все же диалектически, выходит, смотрит на исторический процесс, отмечая и сверхличную тенденцию в нем, и роль облеченной властными полномочиями, активно действующей личности!.. А это уж не с руки фаталистической и мистической Алле Латыниной.

В учете либерального этого «историзма», объективистских склонностей и глубокой веры Латыниной в Предопределение, можно предположить, что она бы, пожалуй, легко выиграла Нюрибергский процесс в пользу «неответственных» обвиняемых. И с тем большей естественностью ударяет она сегодня в гуманный и народолюбивый колокол, раскачанный уже до нее героями «национальной самокритики». «На место мифа о враге народа приходит миф о враге нации, что может иметь такие же губительные для народа последствия», — пишет эта чуткая прорицательница летальных («катастрофических») исходов для страны и народа.

Хорошо, когда критик знает всё: как было, как есть, как будет и, главное, как обязано быть во всем подлунном многонациональном мире. Ценно, когда литературный критик обладает притом даром мадам Ленорман, предсказавшей крушение империи Наполеона. Но вот что смущает: восставая против мифа о «враге нации», А. Латынина творит зато всеохватный миф о таинственном «враге н а ц и й», каким выступает, похоже, — не адресованный точно — непреложно выявленный ею «национал-радикализм»! И в этом — еще один парадокс современного либерального мышления, чья бескорыстная непредвзятость всякий раз заслуживает проверки по крайней мере со стороны логики.

Сознавая нечеткий характер своего «колокольного звона», А. Латынина ссылается на «неразвитость нашей политической терминологии»; а Л. Овруцкий глубже видит причину невольного, вынужденного несовершенства автора: «Неразвитость политической терминологии — простое следствие неразвитости политических отношений». Но когда публицист при этом говорит о «б л а г о п р и о б р е т е н н о м косноязычии» кустарей — изготовителей ярлыков, это наводит на мысль о неких прежних, исходных «золотых временах» раскованного, непринужденного изъяснения «научно» движущейся теории национального вопроса. Такие времена, видно, придут (вернутся?) в процессе развития самих «политических отношений», по мере совершенствования их. «Но это п р о ц е с с, — увещевает нетерпеливых Л. Овруцкий, — его не сразу углядишь», — то есть удостоверишься в надежных свершеньях его... Но тогда (хотя и не сразу!). «по необходимости приблизительное и неполное» ныне, «имя для вещи» — или же политическое обвинение — зазвучит без всякой латынинской «доли условности», застенчивости или жеманства, грянет глубоким, недвусмысленно называющим «национальную опасность» гласом? Тогда в фундаментальных «самостоятельных исследованиях» нам без обиняков уже объявят, «что такое «национал-радикализм», с какой «вражеской» нацией он сопряжен и как с нею всем миром бороться?..

А покуда — приходится довольствоваться небезупречным («неполным») латынинским ярлыком: «это первый приступ к определению», как понимает ступени задачи Л. Овруцкий.

И пока — нам приходится в одиночку разгадывать, кто, что и каким образом «в самом деле способно привести страну к катастрофе» по литературно-критическим, более или менее иносказательным выкладкам Латыниной; на основании того материала латынинской статьи, что побудил критика к ярлыковому словотворчеству; вникая в комментарии А. Латыниной к этому материалу — «манифесту», как утверждает она, «национал-радикализма» помещенному было в «Литературной газете»...

А. Латынина с легкостью атрибутирует «манифесты».

«Этот манифест сталинизма», — обронила она о статье Н. Андреевой, помянная «радостное событие — осуждение» ее. И поспешно указывает на другой программный якобы документ «определенного литературно-политического направления» (как выражается вслед за ней С. Кирилов).

Надо верить, что, назвав литературное произведение манифестом, Латынина метко угадывает организационно-практический смысл его — и это делает честь ее бдительности или, по слову В. Шохиной, чувствительности «к переменам литературно-общественного тонуса». Ибо, тонизированные «новой политической ситуацией» граждане, в том числе и писатели, — предполагается тут, — сочиняют теперь исключительно прокламации, воззвания, манифесты, а не просто авторские статьи, излагающие вовсе не общеобязательные взгляды. Либо, рассуждают «чувствительные», — создавая о б р а з в р а г а, его непременно следует устрашающе укрупнить, снабдить капитальной, наступательною «платформой», к которой стягиваются суровые шеренги множества единомышленников?..

Самое же примечательное для меня как автора, по Латыниной, м а н и ф е с т а опасного и влиятельного «течения» — то, что критик не подкрепляет своего обвинения ни единой строкою из моей статьи, строкою, которая обсуждала бы национально-политические вопросы или под углом национальной принадлежности рассматривала какое-либо литературное явление. А ведь, казалось бы, что́ проще, как процитировать идеи и призывы м а н и ф е с т а, сам жанр которого заведомо строится на наборе программных тезисов, идейных формул, принципиальных обобщений?

Но дело в том, что в панически атрибутированной Латыниной статье «Куда ведет «ариаднина нить»?», посвященной трудностям осмысления новооткрытой литературы XX века, отнюдь нет таких тезисов, формул, непререкаемых обобщений. Нет национально-политических идей и угрожающих какой-либо нации призывов. А ежели что есть на волнующую Латынину «межнациональную» тему, то — например, ирония над р а с о в о й теорией гениальности в недавних публикациях об известном поэте — «человеке н е р у с с к и х к р о в е й» (Б. Пастернаке). Есть — сомнение в корректности, правоте такого, связанного с ним, универсального умозаключения: «Вторжение инородного начала (расового или культурно-сословного) о б ы ч н о т о л ь к о и д е л а е т большого человека полновластным хозяином национальной культуры» [9]. Есть еще — возражение против культурной монополии, основанной на кастово-генетической теории «воспроизводства» интеллигенции когда забота о культуре начинается с такой откровенной посылки: «Дело ве в том (!), что отдельные нации множатся, в другие нет» — и выливается в исключительную скорбь о... «малодетности интеллигенции»: «Дело в том, что в мире перестают воспроизводиться люди с обостренным чувством ответственности» («цвет наций»)!

Автор этих, оспоренных мною мыслей («воплощение реликтовой интеллигентности, Дмитрий Сергеевич Лихачев», как именует его один из моих оппонентов — Ст. Рассадин) полагает, что слой «лучших», г е н е т и ч е с к и совестливых и культурных людей мог бы заменить собою исчезающие нации. Да вот только как произрастать, на чем удержаться (да и чем кормиться) рафинированному этому слою, когда иссякают сами, те или другие, «отдельные нации»? — задумалась в своей статье я...

Ст. Рассадин-то взглянул на проблему просто: что́ ему нации, что ему даже и перспективная судьба всего слоя, когда «не пощажен», как выражается он, не пощажено... Значительное Лицо?!

«Беспощадностью» и даже «страшной», «кровавой» жесткостью у слабонервного этого критика почитается всё, отличное от молитвенного коленопреклоненья перед е г о авторитетами.

«Поняли?.. — потрясает читателя он в связи с моими сомненьями или «безумным (!) правом» на несогласие с кастовыми теориями «самовоспроизводства» культуры. — Если же — от растерянности, потому что как тут не растеряться? — нет, то перечтите... Это о Лихачеве. И... какою же сатанинской уверенностью надо

[9] Разрядка моя Наречия падежи и другие грамматические формы — автора Н. Бильмонта. — *Т. Г.*

обладать в своем праве сказать *ему — это*...» (разрядка автора. — *Т. Г.*).

Чем не фантасмагория Гоголя или Салтыкова-Щедрина — в столь отчаянном рассуждении критика о *правах*?

Но и в самом деле: «Какой пассаж!..» Сущее светопреставление! И «*как* тут не растеряться?»! Ведь «*он*» (впрочем, следует уже с прописной буквы: «*Он*») — *сам* «Главный Интеллигент страны», как знаем мы из Т. Толстой; а также: «золотой (!) эталон интеллигентности для множеств и множеств людей» (из нее же, Т. Толстой). А тут — критика Его взглядов, Его кастово-генетической теории интеллигенции!..

Трепет пробегает по жилам Рассадина, судорога сводит его перо от «сатанинского», как только и разумеет он, бесстрашия перед «существующей, не выдуманной, *никем не навязанной*! — иерархией...»[10].

Но Латынина?

С ее первостепенной заботой об «азбуке» демократии, о «некоторых обязанностях» по самокритике либералов, а главное — о народах и нациях, нуждающихся в защите от губителей — «национал-радикалистов»...

Казалось бы, в некоем «радикализме» (коль приспела охота следить политический «изм») в учете прямо заявленного равнодушия к демографическому состоянию целых «отдельных наций» А. Латынина скорей бы могла обвинить автора, с которым я полемизировала, — академика «всех» гуманитарных наук...

Казалось бы, грубоватая ставка на «инородное» расовое начало, «только» и обеспечивающее собой *гений* или феномен «полновластного хозяина» туземной культуры, также должна была покоробить национально-непредвзятую и щепетильную А. Латынину...

Ничуть не бывало! Сострадательная к народам мира Латынина отнюдь не заметила экстремальных, пожалуй что, взлетов сегодняшней «гуманистической» мысли... Высокомерной все-таки, пусть и нечаянно, к национальным культурам... По какой-то особой логике — видимо, «национал-либерализма»? — в «катастрофических» для страны чувствованиях был обвинен как раз тот, кто усомнился в непременно *нерусском* гене — залоге человеческой гениальности; кто смутился перед «культурным» безразличием к судьбам целых наций — и вступил в спор с маститыми гуманитариями, явно рискуя в условиях «никем не навязанной» иерархии своею («безумной», по Ст. Рассадину) головой...

«Материал для памфлета здесь, конечно, есть», — горячо поддержала Рассадина «объективная» А. Латынина, усмотрев «деструктивный характер» и «низший тип национального сознания» именно в напоминаниях о необходимости такта в разговоре о национальных культурах или творческой потенции аборигенов.

Тут уместно особенно подчеркнуть, что столь возмутившая Латынину статья, в отличие от манифестов и других оргдокументов (а также — памфлетов), вообще построена не на утверждениях, а — уже начиная с самого заголовка — преимущественно на вопросах, которые не подлежат моментальным, вне доказательств, «ответам» или «окончательному» силовому разрешению. И сводятся эти вопросы к единому, в своем роде суммарному: «Как применить к осваиваемой нами литературе неподдельный пробный камень *народности*, вне которой немыслимо величие писателя?»

По поводу этого, тривиальнейшего для русской культуры, вопроса я вынуждена была заключить с сожалением и тревогой: «...на этот вопрос не умеет ответить рекламная критика без того, чтобы противоестественно не приспосабливать народ к интеллигенции, понимая гласность как крик на голос, а демократию — как «интеллектуальный» диктат». Теперь же, по прошествии времени — и как раз прочитав статью А. Латыниной, — следовало бы добавить: «...без того, чтобы» к писателям, подымающим классический (в свете Пушкина, Белинского, Добролюбова, Чернышевского, Тургенева, Л. Толстого, Достоевского) вопрос о народности литературы, применительно к творчеству Б. Пастернака, М. Булгакова, О. Мандельштама, М. Цветаевой (и др.), приглашая критиков добросовестно, вдумчиво обсудить его, — не приклеивали ярлыки, уводящие к фашистской, губительной для народа идеологии...

Впрочем, Латынина вовсе не считает данный вопрос классическим. Она чрезвычайно омолаживает происхождение его, пытаясь придать ему прикладно-политический характер и, собственно, уводя его из области эстетики. «Категория народности, — пишет этот ученый критик, — утвердилась в нашем литературоведении в полемике с вульгарными социологами, когда стало ясно, что «классовую» пролетарскую культуру, исключающую общечеловеческие ценности, создать нельзя».

Ничего подобного, однако, *тогда* ясно не стало. Попытка перенести или «привнести» в середину 30-х годов, в апогей сталинской эпохи, то, что называется нынче новым мышлением («приоритет общечеловеческих ценностей над узкоклассовыми»), выглядит достаточным нонсенсом. Особенно удивителен он со стороны А. Латыниной, которой, казалось бы, вовсе не к лицу по-современному идеализировать сталинскую эпоху... А предпринята эта попытка, пожалуй, затем, чтобы походя охарактеризовать «категорию народности» через доминанту «общечеловеческих ценностей», якобы основополагающих, «приоритетных», исходных и необходимо-достаточных для нее.

«Новомыслительные» представления Латыниной на этот счет вступают в решительный конфликт с пушкинскими.

«Народность в писателе, — писал «старомысленный», хоть навряд ли вульгарно-социологический, Пушкин, — есть достоинство, которое вполне может быть оценено *одними соотечественниками* — для других оно или не существует, или даже может показаться пороком. Ученый немец негодует на учтивость героев Расина, француз смеется, видя в Кальдероне Кориолана, вызывающего на дуэль своего противника. Все это носит, однако ж, печать народности».

Не вполне «общечеловеческая» вроде, не латынинская во всяком случае печать, — между тем как Пушкин у «сих писателей», а равно у Шекспира, Ариосто отмечает «достоинства *великой* народности»...

Не потому ли — в частности — резко омолаживающей историю «больного» вопроса «транснациональной» Алле Латыниной не с руки вспоминать, что «категория народности» была выработана в России еще декабристской критикой, прочно утверждена была Пушкиным как непосредственным художником и как литературным мыслителем — вне какой-либо политической злобы дня?

Утопически желая перепрыгнуть в «категории народности» именно *народность* (ради «человечества», ради рассудочных, умозрительных «универсалий» — как то делают все прыгуны с шестом!), Латынина берет точкой отсчета вторую половину 30-х годов нашего века — победительную «полемику с вульгарными социологами». Но критика интересует — даже на этом, позднем этапе истории вопроса — не столько торжество «категории народности», сколько поражение вульгарных социологов в его нарочитом соотнесении с нынешней политической доктриной.

Поражение вульгарных социологов было, однако же, небезнадежным. А та народность литературы и искусства, что получила права во второй половине 30-х годов, хотя и не совпадала с латынинским пафосом «общечеловеческого», носила все же достаточно фасадный и «ряженый» характер. «Выбор предметов из отечественной истории» (Пушкин), предполагавшийся, в частности, этой, дозволенною «народностью», хоть и был для иссушенного, обстриженного «передовой идеологией» сознания плодотворным шагом «назад», — далеко не предполагал свободы в воплощении народного чувства «национальной по форме» литературой...

Озабоченная не эстетической истиной, не действительной «категорией народности», не правдой конкретной эпохи истории литературы, но именно политическими «аллюзиями», Латынина адресует 30-м годам сегодняшнюю этико-политическую *свою* ориентацию с принятым нынче «международным», а не собственно-народным или внутренне-государственным акцентом мыслей и чувств. Именно отсюда-то, по Латыниной, полвека назад и «стало ясно, что «классовую» пролетарскую культуру, исключающую общечеловеческие ценности, создать нельзя»!

Ибо ведь «классовая» (почему-то закавыченная критиком) пролетарская культура как раз была создана (куда иначе денешь множество произведений — от повести Горького «Мать» и поэзии В. Маяковского до большой суммы стихов и романов советского времени; не сплошь же все-таки бездарных, хоть зачастую и жестко тенденциозных?); другое дело — духовная непреложность этой, достаточно влиятельной в тогдашнем мире культуры, ее художественная «конкурентоспособность» с мировой классикой (о чем с уверенностью мечтал в своем докладе Первому съезду советских писателей Бухарин)...

Именно неколебимо классовый, авангардно-классовый принцип лег в основу и введенного с 30-х годов метода социалистического реализма, ставшего монопольным при всей полемике с вульгарными социологами. «Точка зрения победоносной борьбы пролетариата» (Бухарин) для метода социалистического реализма сохранилась как идеологический, духовный критерий всех явлений жизни на долгие, долгие десятилетия. «Социалистический реализм отличается от просто-реализма тем, что он в центре внимания неизбежно (!) ставит изображение строительства социализма, борьбы пролетариата...»[11] — на разные лады твердили провозвестники нового «художественного метода», полагая, что «классовый знак» и таковая же «целеустремленность есть наличный момент любого произведения»[12]. И, в сущности, сходные речи мы слышали вплоть до последних лет, в меру собственной робости трепеща от «классового знака», усмотренного, не усмотренного (или в каком смысле усмотренного) в художественных произведениях то Оскоцким, то Суровцевым, имя кому — легион... Развивая старые заветы, недавний этот легион способен был вступать с ними и в «диалектическое» противоречие. Так, «классовый знак», этот, по Бухарину, «наличный момент любого произведения, хотя бы и в очень тонкой и сублимированной форме», невольно оспаривался названными критиками: не чуя или не признавая сублимированных форм, они любили упрекать писателей во «внеклассовом», то есть, по-старому, утопичном подходе, считая этот, подстерегаемый ими, подход столь же предосудительным, как и чуждо-классовый...

Стоит заметить, что даже термин «деревенская проза» возник — в 60-х годах, — помимо прочего, также и как «классовый знак». Знак не «высшего качества», служащий закреплению издавна внушенного комплекса социальной неполноценности. В сущности, это была ярлыково-ослабленная, своего рода параллель когдатошней, уничтоженной «кулацкой лирике». И классово-истребительный термин «мужиковствующие» расцвел на страницах «Нового мира» через тридцать с лишним лет после «победы» литературоведской народности над вульгарными социологами.

Итак, «категория народности», возродившаяся «в полемике с вульгарными социологами», строго сопрягалась с «точкой зре-

---

[10] Буйную эту образность, сопряженную с адом и «желтым домом», см. в «Огоньке», 1988, № 13 — том самом, что опередил выход в свет опровергаемой Ст. Рассадиным статьи.

[11] Николай Бухарин. «Действительный мир и мир человеческих чувств». — «Литературная газета», 1988, № 29.

[12] *Там же.*

Вообще сама по себе, восходящая к ленинским работам, мысль о более или менее явном «классовом знаке» произведения достаточно верна. Если исключить, однако, утверждение о непременной классовой «целеустремленности». Ибо, говоря строго, не «классовый знак», а именно эта нарочитая «целеустремленность», похожая на классовый эгоизм, лишает произведение признака *народности*. Именно поэтому, исходя из такой бухаринско-рапповской философии, в 20-е и начале 30-х годов столь упорно толковали, например, о «феодальном», «дворянско-помещичьем» характере и направленности великой русской классики.

ния победоносной борьбы пролетариата», отнюдь не перекрывая эту «неизбежную» точку зрения. Таким образом, то была весьма модернизированная «народность» — «пролетарская» или социалистически-классовая... Она допускала, скажем, носить национальный костюм по случаю колхозной свадьбы или оперного «праздника урожая»; петь в самодеятельности «в том числе» и народные песни; приоткрыть сокровищницу национального языка — взамен партжаргона, «международных» одессизмов и совканцеляризмов, не стыдиться даже таких «нецензурных» слов, как «русский», «Россия», дотоле брезгливо закавычиваемых всяким партийным «интеллигентом» вроде затейливого «интернационалиста» Бухарина; наконец, дозволялось — «фрагментарно» вспоминать историческое прошлое, под контрольно-классовым, но уже не огульно чернящим «углом зрения»... Однако эта «народность» (вырвавшаяся из тюрьмы да с плахи на поднадзорное поселение!) ни в коем случае не была повернута к сокровенному «мнению народному» (Пушкин) насчет современного дня. Даже и к пролетарскому мнению... Искусству предлагалось «жить думами и чаяниями народа» лишь при строгом ассортименте чаяний и дум. И воскрешена была эта, конечно, «верхушечная», «дисциплинированная» — «национальная по форме, социалистическая по содержанию», хирургически-выхолощенная, зато принаряженная да подрумяненная «народность» (в лентах, маках, черкесках да тюбетейках) не ради строительства великой культуры, не в результате сознания, «что классовую»... культуру... создать нельзя». Как и воскрешена была вовсе не ради исповедуемых А. Латыниной риторических «общечеловеческих ценностей»...

«Категория народности», зазвучавшая «в нашем литературоведении» во второй половине 30-х годов, имела прежде всего политическое значение: впереди была война с нацистской Германией. Война, в которой победить мог отнюдь не класс, хоть бы и «самый передовой», а народ; не умозрительно-общечеловеческие (никому в особенности не принадлежащие) ценности, а конкретный народ или народы с их ценностями, начиная с внеклассового, но вместе с тем вовсе не охватывающего собой всю планету, очень конкретного в предмете своем чувства патриотизма — первичного, основополагающего для всех прочих чувств, способных служить победе над фашизмом...

Очевидно, что вооруженной силе нацизма могла противостоять именно нация, мощно-органическое, исторически выпестованное единство и сплочение, а не просто неким «обратным образом» политизированное население. И тем паче — не класс, который «не имеет отечества»[13], родово-этнических ценностей, осмысленных национальных корней. Вооруженной силе нацизма могла надежно противостоять именно великая, в своем роде горделивая нация, с живым чувством собственного национального достоинства — в благородной, не болезненной и извращенной его форме. Та самая, исстари непобедимая, русская нация, что была главным объектом уничтожения для агрессора... У которой «даже пролетариат», как немедленно выяснилось, в сердце своем вполне имеет Отечество!.. Русская нация, сплотившая народы страны.

[13] «Рабочие не имеют отечества. У них нельзя отнять то, чего у них нет» (К. Маркс и Ф. Энгельс. «Манифест коммунистической партии». М., Издательство политической литературы, 1967, с. 52).

Ввиду несомненной нацистской угрозы разве что очень плохие политики могли — как Бухарин, вплоть до 1937 года, в центральной прессе страны («Известиях»), — предаваться своим личным страстям, неустанно твердить о русских как о «нации Обломовых» или «нации рабов», о вароде-«растяпе» («российском растяпе») с его «азиатской ленью» и дикостью, лживо клеймить «рабское прошлое» России — слишком все-таки обширное сравнительно с коротким пролетарски-«нерабским» ее настоящим... Этот взгляд, столь близкий гитлеровским «национальным воззрениям» на Россию и вообще славянство, должен был быть потеснен, хоть отчасти, но по всему «идеологическому фронту»[14] — коснувшись, следовательно, и литературоведения, где на помощь пришла «категория народности». Категория, предполагающая национальный характер творчества как залог, по Пушкину, «великой народности» писателя и самой даже художественности — сколько бы ни негодовал «ученый немец» или кто другой на национальные особенности, «обычаи, поверья и привычки» народа, его исключительную, «особенную физиономию»...

И тут мы прямо подходим к тому, отчего сегодня вопрос о народности литературы вообще и, в частности, о народности творчества иных, фаворитных для нынешней критики авторов XX века (именно русской народности их творчества, поскольку писали они на языке данного народа) — оказывается сакраментальным. И ведет даже к обвинениям в «национал-радикализме» — по адресу тех, кто дерзает ставить такой вопрос в его хрестоматийном, классическом, национально обусловленном значении.

Все дело именно в национальном содержательном аспекте русской эстетической теории народности. В неотрывности, согласно этой теории, национального от общественно-социального, их строгом, природном двуединстве.

Интересно, что этот невыносимый для

[14] В связи с этим далеко на лояльный к сталинизму и не доверчивый к зигзагам политики большевиков русский мыслитель-эмигрант Г. П. Федотов писал по свежим следам поворота политического курса в СССР: «Та громкая всероссийская пощечина, которую только что получил Бухарин, редактор «Известий», от руководителей «Правды» несомненно встретила сочувственный отклик в русской эмиграции Бухарин получил ее за оскорбление России».

А для того, чтобы оценить крутизну дальнейших поворотов истории, довольно сказать, что сегодня редактор общественно-политического еженедельника совсем не рискует получить «всероссийскую пощечину» от руководителей газеты «Правда», когда называет русских даже не «нацией Обломовых», а «детьми Шарикова», полагая их происхожденье от псов. И эта расистская злобность находится, может быть, в некоем «моральном» соответствии с его блаженной уверенностью, что нашей стране впредь «никакая внешняя опасность не угрожает».

многих наших нынешних литературоведов факт прекрасно понял современный французский публицист Жорж Нива. В своем обзоре нашей литературной жизни, озаглавленном: «Новое появится в России, и только там...» («Магазин литтерэр», Париж), он, объясняя своим соотечественникам, отчего С. Залыгин назвал Валентина Распутина «истинно народным писателем», замечает: «Русское слово «народный» нередко становится камнем преткновения для переводчиков, поскольку несет в себе два значения — национальный по духу и выражающий чаяния народа». Указывая, что «советское общество изменилось, оно «озападнилось», Жорж Нива, однако, считает «лучшими представителями советской литературы» — «так называемых «деревенщиков» Валентина Распутина, Василия Белова, Виктора Астафьева и некоторых других» и продолжает о народности этой прозы: «Как подчеркивает Залыгин в статье о Распутине, народный писатель хранит память о прошлом и, повествуя о страданиях и надеждах народа, пытается понять его историю сквозь призму преемственности нравственных и национальных ценностей... «Деревенская» проза ищет эти ценности в преемственности духовных традиций русского крестьянства». Не без связи с проблемой народности французский обозреватель касается и диалога между автором этих строк и Л. Аннинским «Фениксы и Хамелеоны», опубликованного в «Литературной газете», и добросовестно обнаруживает у одной из сторон взгляд, обусловленный склонным к гармонии «русским характером»...[15]

«Русский характер» с традиционной для него системой ценностей; «призма национальных ценностей», неизбежная для «народного писателя»; сочетание двух значений, двух составных смысла «русского слова «народный» применительно к литературе («национальный по духу и выражающий чаяния народа») — всё это «камень преткновения» не только «для переводчиков» коренных русских понятий на европейские языки, но и для той же, здешней, А. Латыниной, которая желала бы потопить, растворять этот «камень» в безымянном, анонимном океане «общечеловеческих ценностей». Так что ежели рассуждать о «русскости» этого критика (как поспешил восторженный А. Байгушев), предпочтение справедливо было бы отдать даже и французскому литератору, который проявляет во всяком случае куда более точное знание теории вопроса, связанного с «категорией народности» в русской эстетике.

Впрочем, как не учесть, что «русский характер» (со всею его самобытностью и традиционными ценностями) сегодня сам готов порой стушеваться и вполне даже отречься от себя, когда ему говорят, привычно эксплуатируя его жертвенность, о суперкачественных и несравнимых «общечеловеческих ценностях», заведомо превышающих собственное его (микроскопическое) значение... Когда это значение все дружнее рассматривается исключительно в рамках криминальной коллизии преступления — и

[15] Высказывания Ж. Нива цит. по еженедельнику «За рубежом», 1988, № 18, с. 21—22.

наказания, словно бы речь о природно преступном, кромешном характере, получающем оправдание своему бытию лишь в безысходной, нещадной «расплате»... Когда «национальная самокритика» насаждается в такой, например, сладострастной, садистической форме национального «очищения»: «Утешимся же тем, что унаследованное нами от предков чувство вины (?), кошмарная ваша совесть (!), может быть, одно из созидательных свойств нашего характера»...[16] Когда, наконец, этот «русский характер», понукаемый к «созидательному» самоубийству, не изучают, а учат и учат «русскости» бесчисленные эксперты со стороны, дегустаторы национальных свойств, ценящие в них лишь способность к бесследному испарению...

Вот и латынинский мировой океан «общечеловеческих ценностей», куда должен бы кануть «камень преткновения» — народность литературы, — это вполне эфемерный океан, «химическая формула» которого неустановима. Ясно только, что его составные должны выражаться отрицательной («академической») частицей «не»: не русский, не финский, не английский (и т. д.) элементы образуют его бестелесную, свободную от конкретных народов с национальными свойствами среду... В щепетильно-скромном слежении «приоритетности» анонимного и эфемерного этого океана — перед «русским морем» (Пушкин) в особенности — А. Латынина совершенно равна всем новоявленным «гражданам мира» или поборникам той «экологии культуры», что похожа на полную ее (культуры) национальную «стерилизацию». Но в своей химерической философии, в «благородном строительстве души человека» (А. Байгушев) А. Латынина ступает и дальше, вводя понятие «общечеловеческой морали», никогда не существовавшей. Эту-то единую — для европейца и, например, таитянина, для японца и, скажем, негра из Сенегала — мораль, по заверению критика, «не оказались способными отринуть» столь разные, заметим тут, авторы, как Пастернак и Ахматова, Булгаков и Мандельштам, чохом объединенные у Латыниной признаком русской народности... Ибо «русскость», «народность» — творчества, конкретного человеческого типажа-характера — дороги этому критику как магическое пока еще (ведь предрассудки живучи!) имя, как некий «княжеский», рыцарский, аристократический титул и герб — пусть обветшалый, но вызывающий еще у читателя некие славные ассоциации. Меряется же эта «народность» исключительно «общечеловеческим» (усредненно-ничьими «ценностями», воображаемой «общечеловеческой моралью»), хоть мера такая нелепа, в ней заведомо снят основной критерий — самобытности измеряемого явления.

Как, в самом деле, измерить «общечеловеческим» — «лица́ необщее выраженье»? Необщее выраженье лица, присущее всякому из народов, покуда он жив,

[16] Это отчаянное утешение вышло из-под пера «нашей» Т. Ивановой, впавшей в «кошмарное» национальное исступление после чтения «Избранного» Иннокентия Анненского («Дневник читателя», «Книжное обозрение», 1987, № 49).

храня свою национальную неповторимость...

«Климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную физиономию — которая более и менее отражается в зеркале поэзии», — писал Пушкин в заметке «О народности в литературе», предполагая, как видим, и разную степень («более и менее») отражения в поэзии этой, всегда *особенной*, «физиономии» народа. «Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу», — продолжал Пушкин, не отрывавший «категорию народности» от категории национального — национального духа литературы. А судя по этой «тьме» исключительных «обычаев, поверий и привычек», исключительному или индивидуальному «образу мыслей и чувствований», свойственному всякому из сущих на Земле народов, вряд ли догадывался великий Пушкин о наличии «общечеловеческой морали». Той, какую, по Латыниной, «не оказались способными отринуть» в наши 30-е годы «ни Мандельштам, ни Пастернак»... Пушкин настолько не догадывался о доступных Латыниной абстракциях и унифицирующих «нормах», что прозревал даже непростоту восприятия «всем человечеством» истинно народного какого-нибудь писателя, будь то Шекспир или Расин, — хотя его не печалила эта — естественная — непростота жизни, судьбы в мире «великой народности» творений великих поэтов. Не печалила, ибо свидетельствовала о разнообразии, богатстве человечества, об активном и сложном (и потому — плодотворном) взаимодействии культур, а не о пустом их взаимодублировании, взаимоналожении. («Только различные струны могут производить аккорд, одинаковые же звучат бессмысленно и дисгармонически», — выражал эту же, классическую для русской эстетики и культурологии мысль Белинский.) Не адаптируя человечества, Пушкин понимал даже, что «народность в писателе есть достоинство, которое... для других» — вне данного народа стоящих — «или не существует, или даже может показаться пороком»[17]. Хотя считал эту, неотрывную от национального духа, народность свидетельством творческого дара, — определял степень художественности через степень народности произведения. Так, он писал К. Рылееву о его «Думах»: «Национального, русского нет в них ничего, кроме имен (исключаю «Ивана Сусанина» первую думу, по коей начал я подозревать в тебе *истинный талант*)».

Пушкинский критерий национально-народного характера творчества, чистоты прекрасного «зеркала поэзии», отражающего «особенную физиономию» каждого народа, решительно упразднен современной «палатой мер и весов», изготовляющей мертвые, умозрительные эталоны «общечеловеческих ценностей». Эталоны нивелированья национальных культур, национальных языков, эталоны «одного знаменателя», к какому прийти должны «благодетельно» отрицающие себя, историю своей духовной жизни народы...

Ясное дело «народность в писателе», это нерукотворное достоинство литературы, менее всего оценить может, так сказать — профессиональный умозритель (литературный критик или публицист), ни к какому народу себя особенно не привязывающий, претендуя на «сверх»-точку зрения — «всего» человечества. Умозритель, прыгнувший в «граждане мира» от неспособности взять в сердце конкретный народ, конкретный клочок земли, чувствуя за него боль и ни на кого не переложимую ответственность... «Всеобщему» этому гражданину досадно знать, что подлинная народность творчества немыслима вне «интимного миросозерцания, свойственного той или другой национальности» (Салтыков-Щедрин). Ибо он, «всеобщий», страшится (как страшатся *неведомого*) недоступной, загадочной для него, чужой ему «интимности» — той, на его взгляд, «малости», что храбро, естественно и даже насмешливо, не смущаясь от патетически-обличительных, высокомерных слов, противостоит безответственному «универсализму». «Универсализму», лишающему людей и народы того *сокровенного*, несказанного и непредсказуемого их содержания или внутреннего *смысла*, что не подлежит разложению на «синтезируемые» элементы. Это сокровенное или это «интимное миросозерцание» может быть названо также *душой* народа, живым и единственным источником творчества.

«Всеобщий» гражданин повсеместно выступает — пусть и «бескровным» порой, «либеральным», даже, может быть, бессознательным — убийцей творчества. «Свободный» от питающих дух, натурально-природных корней, от самой силы тяготения (и, значит, любви), а вследствие этого творчески бесплодный (при всей своей склонности к имитации), он желал бы весь мир видеть таким — катящимся в никуда «единым» перекати-полем, в котором спутаны равно иссохшие, неопознаваемые, пустоцветные стебли.

«Всеобщему» гражданину, готовому диктовать свой *ничейный* этический и эстетический — и потому якобы «всеобщий» — опыт всякой культурной, исторической целостности, нестерпим факт чьей-либо суверенности, хоть бы и самой миролюбивой. Ему, «всеобщему», последовательному упрощенцу, «возвысившемуся» над «низменными» корнями, не под силу никакая сложная, органическая структура: род, гнездо, семья — гражданская или народно-национальная, — и он пытается разрушить ее в ее естественных признаках как бы даже во имя нее самой. Чуя либо формально ведая, что «у людей одной нации есть какое-то семейное сходство и в манерах, и в способе смотреть на вещи, и в образе действования, не говоря уже об особенностях языка — этого живого, чувственного проявления народной логики» (Белинский), «всеобщий» гражданин пытается духовно возглавить всякую такую, вполне презираемую им, по сути, семью, освоив разве что ее язык — разумеется, без сокровенных тайн отражения в этом языке «народной логики». Не умея покорить дýши самою по себе *ничейной* идеологией, этот «общечеловек» нередко выдвигает себя в «лучшие» арбитры всякой конкретной национальной духовности, уверяет, что страдает именно за нее самое, видя ее, слишком «замкнутую», «узкую» и «провинциальную», с вышки «всего человечества»... Тут-то и начинается учительное бряцание «общечеловеческими ценностями», всегда бытующими, конечно, на стороне — относительно данного народа. Тут-то и заявляет о себе нарочитое стремленье непременно оторвать дух от тела, аборигенного то есть тела, противопоставляя «национальное самосознание культуры» — «национальному самосознанию крови»: «Первое всегда талантливо, второе — всегда бездарно»[18]. А вместе с тем, при всей абстрактности самосознания как бы бестелесной «культуры» разворачивается пропаганда чужой — верно, «всегда» талантливой, крови: пропаганда «вторжения инородного расового начала», которое безошибочно обеспечивает собою творческий гений, «только и делает» человека «полновластным хозяином национальной культуры»... Ведь современный «общечеловек», эта разновидность пресловутого «übermensch'а», — при всей «непредвзятой» своей отвлеченности от земных народов, национальных семейств — зачастую именно расист. Тонкий. Скрытый. Исполненный высокого «самосознания культуры».

Этот «übermensch» в лучшем случае благодушно посмеивается «над людскою детскостью (!), как ребяческой попыткой: самобытно, на свой аршин и лад, жить и быть человеком». И, всеведающий, гурман-дегустатор «человеческого» в народах-«детях», духовного — в великих русских писателях (например, в Лескове), он резюмирует: «Надо думать: слишком *неразреженно-почвенное* противоречит (!) полету духа (как слишком плотно уложенные дрова не дают разгореться огню)»[19]. Что ж, богатый ассоциативный ряд встает невольно за этими «почвенниками»-дровами, не разрежёнными «инородным расовым началом» — залогом «полета духа» или священного (сжигающего) огня.

Гулливер-«общечеловек», сострадательный к «ребяческим» нациям, к их художникам — слепым «очарованным странникам»[20], дабы духовно поработить всё «неразреженно-почвенное», самобытное и, значит, «ущербное», — сострадательный такой «übermensch» берет на себя и «взрослую» заботу о «категории народности» в любой национальной литературе. Он глумливо, ревниво, тщательно выхолащивает эту «категорию» с ее «старомодным» двуединым смыслом и наполняет ее своею холодною пустотой.

Если учесть эту практику носителей «общечеловеческих ценностей», то использование исторически весомого *имени* — «русский», «народный», «волшебного эпитета «народный» (Белинский), каким награждаются весьма разные «новооткрытые» писатели XX века, — узурпация *имени* при очевидном попрании *сути* понятия — вовсе не оригинальный парадокс латынинского «Колокольного звона...» А «национал-радикалы», которых сплошно разыскивает либеральный этот «звон», радикальны, может быть, в своем интересе к *сути* вещей, способной оправдать традиционное имя или же указать на подлог, самозванство? Но по крайней мере можно уже предположить, что они, «зловредные» эти «радикалисты», противостоят не народам, а нациям, но как раз гражданам *особого статуса*, которые пытаются утвердить себя *над* разными, полноценными в живой самобытности народами, ибо не в силах вписать себя в общий круг органичного творчества, счастливо-бескорыстного созиданья.

---

[17] В нынешние дни мы имели возможность проверить эту истину в ходе оскорбительной «литературно-критической» кампании, развернувшейся вокруг Василия Белова, чей — народный по существу — творческий взгляд на вещи был расценен многими «моралистами» от литературы как принципиальный *порок*.

[18] Семен Липкин, «Дерзость и трепет», «Литературная газета», 1989, № 13.

[19] Последние цитаты (как и термин «общечеловек») взяты из кн.: Н. Вильмонт. «О Борисе Пастернаке. Воспоминания и мысли», М., «Советский писатель», 1989 (выделено автором. — *Т. Г.*). В этой книге развиты соображения автора, на которых я с недоумением останавливалась в своей литгазетовской статье, ссылаясь на первую их публикацию в «Новом мире». Собственно, «мысли» мемуариста служат первым делом доказательству «русского гения» Б. Пастернака, всецело обусловленного именно еврейским происхождением этого писателя. «Наиболее чистый (!) вид общечеловеческой гениальности» усматривает в Б. Пастернаке, как отмечала я, и член-корреспондент АН СССР Вяч. Иванов... И тут стоит вообще сказать: есть авторы, которых на поверку далеко не удовлетворяет исторически многосоставная структура существующих этносов, многонациональная структура человечества. Рассуждая о творческом даре, они усильно стараются свести ее к моноструктуре, выдвигая как якобы внеконкурентное одно-единственное «расовое начало» — «инородное», как сами они говорят, но наиболее высокоценное, гарантирующее всякой нации *ее* культурные свершения... Именно — иудейское, «богоизбранное», начало. Без которого мир бы не ведал ни духовности, ни искусств, ни наук... Оно-то и обеспечивает *любой* национальной культуре ее «истинную» национальную самобытность и подлинный «знак качества»! Идея, конечно, болезненная. Анекдотическая. Однако — воинственная. Чего стоит, к примеру, то же бесцеремонное титулование «*русским* гением» Марка Шагала, тем более что этот художник, несомненный выразитель сугубо еврейского национального духа, попутно объявляется и белорусским, и французским гением. Так что, не будучи ни русским, ни белорусом, ни французом, творчески представляет, оказывается, помимо своей собственной — даже иуда прежде нее, — все эти три, не родственные ему нации...

Подобная философия, облегченное, профанированное отношение к феномену нации, национального духа в художественном творчестве зародилось у нас в 20-х годах. Так, критик А. Воронский, например, верил, что в отличие от «ограниченно»-*национального* С. Есенина, не ставшего американским поэтом от своего пребывания в США или женитьбы на А. Дункан, художник «высшего», «интернационального» типа Исаак Бабель во Франции был бы выдающимся французским писателем, в Англии — английским и т. д., ибо для его надчеловеческой «универсальности» нации и народы суть лишь автоматические клавиши, равно подвластные пальцам виртуоза. «Природа его таланта такова, что он в Америке сможет писать американские рассказы, в Одессе — одесские, в Конармии — конармейские и т. д.», — восхищался Воронский «интернациональным» отсутствием у художника своей, неотвратимой, темы, не замечая, что Бабель, по существу-то, никак не мог выскочить из «непомерно тесных» национальных рамок герметично-еврейского мироощущения, специфического духовного гетто — о чем бы, где бы ни изъяснялся он...

[20] *Н. Вильмонт.* — О Борисе Пастернаке.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В последнее время лучшие наши писатели, поэты, художники, музыканты с тревогой говорит и пишут о наступлении массовой культуры, разрушающей и нивелирующей самобытный духовный облик каждого народа, отрывающей нас от национальной почвы, нарушающей связь и преемственность культурных традиций.

Особенно болезненно этот процесс происходит в области музыкальной культуры.

Тяжелый рок, дешевые песни-однодневки заполонили радиоэфир, с утра до вечера звучат они и с экрана телевидения. Это не может не беспокоить нас, ведь на наших глазах поднялись и выросли уже несколько поколений, совершенно не знающих древнюю и прекрасную песенную культуру своего народа. А народная песня всегда была хранительницей народной души и нравственности.

Не может не беспокоить нас и то обстоятельство, что приобщиться к музыкальной культуре своего народа становится все труднее: в магазинах почти нет пластинок, пропагандирующих народное творчество (как, впрочем, и музыкальную классику), а если и есть, то выходят они мизерным тиражом.

Мы, иркутяне, побывавшие на концертах народной артистки РСФСР Елены Андреевны Сапоговой, исполнительницы старинных русских песен и сказительницы, считаем, что Всесоюзной студии грамзаписи «Мелодия» необходимо массовым тиражом выпустить комплект пластинок с записями этой замечательной певицы, которая так искренне, самобытно и глубоко знакомит нас с древними истоками русской песенности: с культурой языческой и Киевской Руси, с былинами, заговорами, народными плачами, причитаниями, обрядовыми и календарными песнями.

Талант Елены Андреевны Сапоговой, воспринявшей лучшие традиции народной песенной культуры, — наше общее национальное достояние.

Он должен работать на воспитание будущих поколений, на общечеловеческую духовность.

Писатели

РАСПУТИН Валентин Григорьевич,
БАЙБОРОДИН Анатолий Григорьевич,
ФИЛИППОВ Ростислав Владимирович,
КОЗЛОВ Василий Васильевич,
СОКОЛОВ Виктор Петрович,
СОКОЛОВ Виктор Павлович,
КИТАЙСКИЙ Станислав Борисович,
САМСОНОВ Юрий Степанович.

Письмо подписали также представители интеллигенции г. Иркутска, рабочие, студенты, пенсионеры.

Всего 456 подписей.

НАЙТИ АЛЬТЕРНАТИВУ

Сейчас, когда происходит переосмысление советского периода нашей истории, мы много думаем об уроках прошлого, стараемся уяснить причины допущенных просчетов. Серьезные ошибки глобального масштаба объясняются прежде всего отсутствием гласности, что вытекало из самой сути административно-приказной системы хозяйствования, ее диктата. Альтернативные мнения игнорировались, их авторы нередко подвергались репрессиям, все решения принимались в верхах, и — никаких возражений.

Как единственный путь к благополучию, преподносилась принудительная коллективизация, а какой результат? Крайнее разорение российской деревни, скудные прилавки магазинов, отсутствие рачительного хозяина земли. Н. С. Хрущев пытался решить зерновую проблему путем освоения целинных земель, и в данном случае альтернатива — улучшение хозяйственного положения Нечерноземья (тогда это еще не требовало больших капиталовложений) — была пренебрежительно отброшена. Хищническая эксплуатация целины, разорение заброшенного Нечерноземья. А в результате? Исчезновение сотен тысяч деревень — самая большая наша потеря и боль. Сегодня наконец поставлен (А. Салуцким) вопрос об ответственности разработчиков страшного, губительного плана сселения неперспективных деревень.

Вот убедительный пример, дающий представление о масштабе деятельности, к счастью, не осуществленной до конца. В 1968 году в Ярославской области было 7145 населенных пунктов, перспективными были утверждены 1265. В 1976 году в облисполкоме составили и утвердили новую «Схему районной планировки области», по которой предусматривалось оставить всего 211 хозяйств и в каждом лишь один перспективный населенный пункт. Так предрекли судьбу деревни и в других областях. Один журналист подсчитал, что если бы составить в порядок избы, исчезнувшие только в Ярославской области, то порядок этот протянулся бы от Москвы до Архангельска. Надо ли говорить, какой огромный урон был нанесен сельскому хозяйству, земле, оказавшейся, по выражению одного эколога, в коллективной беспризорности.

Дорого нам обошлась гигантомания сибирских строек, особенно БАМа (хорошо бы и здесь принародно назвать авторов проекта), отдача от которого оказалась мизерной. Разорительная мелиорация, гибель Аральского моря, загрязнение Байкала, Ладоги, Волги, едва не состоявшийся проект переброски вод северных рек — не слишком ли много примеров вопиющей бесхозяйственности? И все это — плоды «научно обоснованных» специалистами решений. Поневоле усомнишься в гуманной сущности науки, обслуживающей ведомственные интересы. Кроме того, очевидные изъяны в обоснованиях тех или иных проектов или экономических направлений оправдывались какими-то высшими целями, как будто для неких пророков они были известны, а народ должен был слепо верить их указаниям. На самом деле выгода оказывалась сиюминутной, а убытки неисчислимыми. Легко жилось министерствам, строившим почти беспрепятственно что хотели и где хотели. Местные Советы были бессильны против них, общественность безмолвствовала.

Возьму два примера из нашей ярославской действительности. Когда перед войной возводилась Рыбинская ГЭС и затоплялась огромная площадь плодородных, веками обжитых земель, люди со слезами оставляли их, но не было никакого серьезного протеста. Теперь мы смотрим на эту огромную голубую кляксу на карте области как на печальное недоразумение. Под водой оказались около 700 деревень и сел, старинные города Молога и Весьегонск: 4500 тысяч квадратных километров, примерно одна восьмая территории области! Газетчики воспевали: дескать, самое большое искусственное водохранилище в мире. Очень любим мы превзойти иностранцев гигантизмом строек. Нетрудно прикинуть, сколько дополнительной сельскохозяйственной и лесной продукции давали бы затопленные угодья.

А что дает «море» сейчас? Незначительное количество рыбы, качество которой сомнительно после известных выбросов фенола с предприятий Череповецкого комбината и других химических сбросов, периодически повторяющихся. Соседство Калининской АЭС тоже влияет на состав волжской воды. Мощность Рыбинской ГЭС невелика — 300 тыс. квт. По мнению известного эколога Ф. Я. Шипунова, Рыбинское водохранилище приносит государству ежегодный убыток полтора миллиарда рублей. Затопление Молого-Шекснинской густонаселенной низины является воплощением примером гидротехнического варварства. Альтернативных решений, вероятно, в ту пору и не искали.

Уместно напомнить и то, что по первоначальному проекту переброски части стока вод северных рек в Волгу предполагалось затопить 15,5 тысячи квадратных километров земель, то есть создать еще 3—4 Рыбинских водохранилища, и угроза эта остается реальной для северных областей, потому что Минводхоз разворачивает поспешную деятельность в низовьях Волги. Замысел совершенно очевидный, преступный: развести волжскую воду по степям, искусственно понизить уровень воды в Каспии и снова поставить вопрос о переброске вод северных рек.

Ярославский нефтеперегонный завод строился уже после войны, на наших глазах, в самой населенной части Ярославского района, на Московском шоссе, в непосредственной близости от некрасовской Карабихи. На долю нефтеперегонного и его спутника — завода технического углерода приходится половина вредных выбросов в атмосферу всех предприятий города, а они составляют около 400 тысяч тонн в год, т. е. без малого по тонне на каждого жителя. Экологическая обстановка критическая: Ярославль входит в десятку городов с наиболее загрязненной атмосферой. Не случайно жители пригородного поселка Дубки направили телеграмму в адрес XIX Всесоюзной партконференции о том, что они задыхаются от выбросов нефтеперегонного завода и просят создать авторитетную комиссию для решения вопроса о возможности проживания в поселке. Эта телеграмма была опубликована в «Известиях».

Вместо того чтобы как-то исправлять техническое головотяпство, положение между тем ухудшается: под Ярославлем строится установка глубокого крекинга нефти. И не где-нибудь, а в двух километрах от Карабихи! Вспомним, какую длительную борьбу вела общественность за сохранность Ясной Поляны, как дружно выступают деятели культуры против расширения Заволжского химкомбината в опасной близости от Щелыкова. Заметна какая-то злонамеренная тенденция насаждения химкомбинатов около наших национальных святынь. Неужели мы не в состоянии защитить их? И уж совсем возмутительно, что строительство новой установки крекинга нефти начато без согласия местных властей, методом самозахвата.

Почему же химики чувствуют себя столь вольготно в Ярославской области, действуют как временщики? Ни облисполком, ни обком, ни городская и областная санэпидстанции не давали и не дают согласия на упомянутое строительство, а оно начато. Дело в том, что Центр в лице Госплана РСФСР, Стройбанка СССР, Минздрава РСФСР вопреки позиции местных властей дал зеленый свет Миннефтехимпрому. Приходится констатировать: местные Советы до сих пор не являются хозяевами на своих территориях. Неужели разговоры об их полновластии останутся лишь декларациями?

В настоящее время для жителей Ярославской области нет важнее вопроса, чем предполагаемое строительство атомной ТЭЦ. В местной печати опубликовано множество мнений, отражающих в абсолютном большинстве активное противодействие осуществлению проекта. Да это и понятно: после чернобыльской аварии всюду идет борьба против «аэсизации», ибо понятие «мирный атом» ныне никого не может ввести в заблуждение. Не случайно Совмин Литвы прекратил финансирование строительства Игналинской АЭС, а в Белоруссии отказались от строительства Минской АТЭЦ. Правда, атомщики не теряют надежды все-таки разместить АЭС (уже не АТЭЦ) в другой области Белоруссии, о чем писали недавно в «Литературной газете»

белорусские писатели. В частности, в их статье сказано: «Игнорировать эти последствия (чернобыльской трагедии), насмешливо нарекая их «радиофобией», означает не что иное, как воспринимать белорусскую землю обычной стройплощадкой, бессовестно эксплуатировать якобы покладистый характер белорусского народа».

Не сходна ли белорусская ситуация с ярославской? И пожалуй, в характере ярославцев не меньше покладистости, на которую рассчитывают бюрократы различных ведомств. Надеюсь, они просчитаются: народ скажет свое веское слово. Вопреки всему атомное министерство даже форсирует строительство своих объектов: ведь не дай бог повторится нечто подобное Чернобылю, и, возможно, придется сворачивать программу «аэсификации», прекратится ее финансирование.

Шоковая оцепенелость первого Чернобыля вряд ли повторится. И массовый героизм — тоже. Можно ожидать чего-то совсем иного, куда более гневной реакции; да что же на самом деле с нами делают? сколько можно? Это — не эмоции, потому что аварии разного масштаба на АЭС во всем мире продолжаются, и никто не может дать в этом смысле никаких гарантий. Только в США за последние 20 лет на АЭС возникло 29 нештатных ситуаций. Имели место они и на наших станциях.

Однако беспокойство общественности нимало не смущает генерального директора «Ярэнерго» Е. А. Тюрина, в лице которого атомщики нашли верного союзника. В длительной полемике с земляками он занял крайне неуступчивую позицию, отражающую сугубо ведомственные интересы. Действуя в духе прежнего администрирования, руководитель «Ярэнерго» усердно ратует за создание АТЭЦ и не допускает никакой альтернативы. Выступая на пленуме обкома КПСС, он заявил: «Если лидеры знают, что этот путь (строительства АТЭЦ) единственный, то должны убедить народ». Знакомый метод волевого нажима. Извините, в безошибочную прозорливость лидеров не вернутся: слишком много поучительных примеров преподнесла история. Столько допущено произвола и непростительных ошибок... У нас выработалась система предлагать народу один-единственный путь. К чему тогда набивший оскомину плюрализм мнений? Или он необходим лишь для соблюдения видимости демократии? Вероятно, атомщики и ярославские энергетики предполагают взять измором противников строительства АТЭЦ.

Энергетики пытаются доказать, что ярославские ТЭЦ уже выработали свой ресурс, что иссякают нефть, мазут, газ, каменный уголь, накопились горы золоотвалов и т. п. Разве не обязанность управления «Ярэнерго» заботиться о техническом переоснащении существующих ТЭЦ? Тем более что сейчас взят курс не на строительство новых производственных объектов, а на реконструкцию работающих. Разве нельзя по-хозяйски утилизовать шлаки, получая из них дешевый строительный материал? Совершенно не объективны ссылки на истощение топливных запасов, которых в нашей стране больше, чем в любой другой. Если мы так бедны, то зачем расточительно качать нефть и газ за границу? В 1986 году мы продали зарубежным государствам 130 миллионов тонн сырой нефти, 57 миллионов тонн нефтепродуктов и жидкого топлива и 79 миллиардов кубометров горючего газа. Оправдание такой торговой политики находят в том, что на вырученную валюту покупают за границей хлеб. Решение проблемы в другом: наращивать производство зерна, чтобы полностью отказаться от ввоза его из других стран.

В своем выступлении на совещании в Орле первый секретарь Орловского обкома КПСС тов. Строев говорил о том, что только через эту область пролегли несколько мощных газопроводов, которые тянутся до границы и дальше, а наладить газоснабжение местных сел от магистральных линий нельзя. Хороший хозяин не станет продавать дрова, если нечем обогревать собственный дом. Интересы своих людей должны быть дороже любой валюты.

Следует отметить возможность перевода на газовое топливо всех ТЭЦ Ярославля, поскольку такое разрешение Госплана есть. Это значительно оздоровило бы экологическую обстановку в городе. Так что имеется возможность решить тепловую проблему безопасными средствами, тем более что, оказывается, АТЭЦ проектируется в основном как производитель электроэнергии. Председатель областного комитета по охране природы А. Кузнецов, выступающий против строительства АТЭЦ, приводит следующие данные: «Эта электростанция должна рассматриваться в первую очередь как крупный источник по выработке электроэнергии, а не тепла. Из предполагаемой мощности первой очереди станции в 2 млн. квт для покрытия предполагаемого в будущем дефицита тепла для Ярославля будет использовано всего 5—8 процентов вырабатываемой на ней энергии».

Как показывают анкетные опросы, жители области категорически против строительства АТЭЦ. Не атомщикам из центра, которым легко принимать любые решения, а нам, нашим детям и внукам жить на ярославской и костромской земле. Ведь по соседству находятся Калининская и Горьковская АЭС, и всего в ста километрах от Ярославля начинается строительство Костромской АЭС. Кого устраивает тревожная жизнь возле таких смертоносных вулканов? Кстати, энергоемкого производства в Костромской области не существует.

В развернувшейся дискуссии руководителям «Ярэнерго» трудно найти сторонников, но вот в «Северном рабочем» появилась статья «Главная опасность — спешка». Автор ее — главный инженер Верхне-Волжского треста инженерно-строительных изысканий А. Шиссель. В первых же строках он признается: «Рискуя вызвать отрицательную реакцию большинства читателей, скажу, что не отношу себя к безусловным противникам атомной энергетики вообще и строительства Ярославской АТЭЦ в частности (хотя и не берусь назвать себя сторонником АТЭЦ). Видите, какая мудреная позиция, однако вполне объяснимая. А. Шиссель пытается успокоить ярославцев рассуждениями о том, что если изыскательские и проектные работы вести без спешки, то все будет в порядке, можно надеяться на безаварийную работу АТЭЦ. Конечно же, опять — злополучный ведомственный подход. Дело в том, что названный трест совместно с Горьковским отделением института «Атомтеплоэлектропроект» проводят изыскательские работы по выбору площадки предполагаемой АТЭЦ. Подряд выгодный. На разработку технико-экономического обоснования сооружения станции отпущено 5 миллионов рублей. Вот почему А. Шиссель легко преодолевает «риск» и не причисляет себя к противникам АТЭЦ.

Миновали времена, когда электроэнергию требовалось добывать любой ценой, когда главное наше богатство — земля — было обесценено. Да и с мнением общественности теперь приходится считаться, необходимо использовать вневедомственную экспертизу. Такой опыт есть. По результатам экспертизы прекращено строительство ГЭС возле Даугавпилса в Латвии. Оказалось, стремясь доказать экономическую перспективность станции на Даугаве, энергетики необоснованно исключили из сметной стоимости затраты в размере 60 миллионов рублей. Кроме того, вместо 136 миллионов рублей компенсации сельскому хозяйству в проекте значилось лишь 13 миллионов. Необходимо иметь в виду подобные уловки специалистов.

Экологические беды ярославской земли начались, как я говорил, давно и продолжаются по сей день. Прошлое можно как-то объяснить экологической безграмотностью, но теперь-то зачем доходить до самого края? Имеется и еще одна сторона проблемы. Около каждой АЭС планируется город энергетиков примерно на 25 тысяч жителей, значит, одновременное возведение двух атомных объектов в Ярославской и Костромской областях увеличит городское население этого района сразу на 50 тысяч жителей. Откуда они возьмутся? В основном из деревни, которая и без того разорена. Сельское хозяйство обеих областей, и ныне крайне неблагополучное, будет подорвано.

Учитывая историческую значимость Верхневолжья, где сосредоточены огромные архитектурные, духовные ценности и такие города, как Ярославль, Ростов, Переславль, Углич, Тутаев, Кострома, Галич, и другие, нельзя допустить строительства в этом районе Ярославской атомной ТЭЦ и Костромской АЭС. Мы обязаны позаботиться о своих духовных истоках, ибо если не сохраним природу древнего края, то не сохраним и культуру, и самих себя.

Жители Ярославской области активно противодействуют намечаемому строительству АТЭЦ и надеются, что их выступления будут поддержаны областным Советом народных депутатов. За ним — окончательное решение. Этот наиважнейший вопрос требует обсуждения на сессии. Советы должны доказать на деле, что они являются выразителями народного мнения, полноправными хозяевами на своей территории.

Юрий БОРОДКИН.

Ярославль

МИЛОСЕРДИЕ ЗА... РУБЛИ

Уважаемая редакция!

Прочитала в «Правде» (18.02.89) две замечательные публикации — «Кооперативы: прибой и пена» (актуальное интервью) и статью А. Чекалина «На кофейной гуще...» с подзаголовком «Почему советы ученых-экономистов часто оказываются ошибочными?» Решила высказать и свои соображения по проблемам, затронутым газетой. А в заглавие материала я бы вынесла слова о милосердии и экономической выгоде. Сочетаются ли такие понятия, как милосердие, сострадание, с экономикой, строгим расчетом? Оказывается, да. Есть немало «энтузиастов», которые не прочь сделать себе шумную карьеру на сочетании этих двух понятий. Вот приложение к «Известиям» — «Неделя» (№ 3 за этот год). На первой страничке — заметка «Пункт милосердия». Читаем последний абзац:

«Справочно-медицинский пункт работает на кооперативных началах, каждый анализ стоит денег. К примеру, измерить артериальное давление или определить объем легких — 70 копеек, подсчитать частоту пульса — 60. ...А планы большие: за два года кооператоры собираются открыть пятьдесят подобных пунктов в столице, еще несколько сотен в других городах».

Несложная арифметика. Для измерения пульса медработник-кооперативщик потратит не более одной минуты. Значит, за час сей высококвалифицированный специалист заработает 36 рублей. Сопоставимы ли затраты труда и вознаграждение? Я уж не говорю о врачебной этике, о желании помочь больному...

В Ленинграде открылось много медицинских кооперативов, ежедневно по радио слышим их навязчивые приглашения подлечиться. В кооператив объединились сотрудники Госинститута усовершенствования врачей, включая доцентов и профессоров. И все это происходит в городе, где трудились такие светила мировой медицины, как Мечников, Сеченов, Пирогов, Павлов, для которых святым делом была забота о людях, о развитии науки, желание принести пользу родине. Но выгодно ли врачам-кооператорам хорошо и надежно лечить людей? Конечно, нет: ведь каждый добросовестно вылеченный — это потенциальная потеря дохода. Может, стоит подумать, насколько необходимы кооперативы подобного рода?

Справедливо усомнился А. Чекалин в правомерности управленческих кооперативов. Я, например, трижды перечитала в «Смене» за 11 февраля 1989 г. статью «На

рынке, которого нет». В ней рассуждает об экономике доктор экономических наук, профессор кафедры управления производством В. Н. Андреев. Редакция представила его читателям как автора целого ряда работ в области экономической науки и как председателя кооператива «Рост» (рационализация организационных структур и систем управления).

Помню свои студенческие годы, когда в выходные просиживала в Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, делая переводы экономических статей из французских, американских, японских журналов для докладов в СНО. Повышенная стипендия при отличной учебе мне казалась вполне достаточным вознаграждением. Главное — была радость открытия. Трудно себе представить, какие доводы найдет упомянутый профессор-кооператор, чтобы призвать своих студентов заниматься научной работой просто ради внутреннего совершенствования. Профессор, будем откровенны, получает достаточно высокую зарплату, чтоб не чувствовать себя ущемленным. Вспомним диаграмму распределения доходов, приведенную недавно в «Аргументах и фактах». Всего десять процентов населения имеют доход свыше 300 рублей. Профессорская зарплата вдвое превышает эту цифру. А мы-то предполагали, что в кооператив войдут люди, высвободившиеся из общественного производства. А на деле получается, что в него пошли те, кто и по основной работе достаточно должен быть занят. Неужели профессору Андрееву не надо совершенствовать свои знания, методические навыки? Неужто так блестяще студенты освоили его дисциплину, что он решил заняться еще и кооперативом? Милосерден ли такой подход к экономике? И как нам относиться к такому предприимчивому человеку? Посмотрим, что по этому поводу говорит наш многоопытный академик Л. И. Абалкин в публикации «Комсомольской правды» от 2 февраля 1989 г. «Лунный ландшафт, или Что вырастет на нашей социальной почве?»: «Они (эти самые предприимчивые.— **Н. Т.**) есть. Но мало их для такой огромной страны, чрезвычайно мало».

Потом академик сравнивает нас с народами Запада и делает обобщение: «Разрыв в воспитании, в культуре — как разрыв в эпохах. Физическим ускорением эту пропасть не одолеешь. Нужны миллионы совсем других работников!»

Любопытно бы знать: к какому народу и к каким работникам причисляет себя сам Леонид Иванович?

Подкупает откровенность в суждениях известного ученого: «Как конкретно сделать народное здоровье, благополучие, культуру ценностями на уровне патриотического абсолюта, святыни, я с ходу ответить не могу». Так милосердна ли экономика, которую он проповедует? Осмелюсь посоветовать видному экономисту перечитать «Домострой». А еще — записки помещиков XVIII, XIX веков. Ни один из них не говорил, что у него — не те крестьяне. Землевладельцы считали, что организация хозяйства зависит от их навыков, Леонид же Иванович заявляет, что ему «нужны миллионы совсем других работников!». Даже с восклицательным знаком. Может, потому ныне так резко растет число совместных с Западом предприятий, что есть надежда — будут наконец миллионы других работников?!.

Можно сегодня говорить обо всем. В том числе и о том, что народ наш отстал в развитии на сотню лет. Только как же такому отсталому народу удалось победить германский фашизм в Великую Отечественную? Мой отец и мамин старший брат ушли воевать на Ленинградский фронт в семнадцать лет. Оба заканчивали на пятерки десятый класс, уже имея в кармане удостоверения инвалидов войны второй группы. Оба успешно защитили диссертации, сказали свое слово в науке. И хотя сейчас уже оба ушли из жизни (отец умер в тридцать пять лет от инфаркта), но дела их живут...

Я посетила многие страны Запада, видела там немало хорошего и плохого. Но никогда ни на минуту не забывала, что я — ленинградка. Это в моем городе, находившемся в кольце вражеской осады, под памятником Петру Первому, около Инженерного замка, в укрепленном дзоте разрабатывался проект «катюши». Милосердно ли сегодня тех самых ленинградцев объявлять миллионами людей, не способных ни на что?!

А заглядывал ли когда-нибудь многознающий Абалкин в библиотеку ЦНТИ, чтобы ознакомиться с изобретениями ленинградцев? По непонятной случайности (!) они оказались не востребованными нашей экономикой, но благополучно внедренными в западное производство.

Еще одно запоздалое высказывание академика: «Мое мнение: БЦБК надо срочно ликвидировать, не откладывая на годы». А где же вы, Леонид Иванович, были, когда начиналось строительство этого комбината на Байкале? Защищали докторскую диссертацию? Инициатива закрытия принадлежит самим сибирякам. Впрочем, присоединяться к чужим идеям — творческое кредо многих наших экономистов. Не случайно в завершение беседы Абалкин попросил: «Вот мои, если хотите, вопросы. Ответить на них один человек не способен. Но по капле здравого смысла собираются реки, не только ручьи. Надо собрать народный опыт. Все, у кого есть о чем сказать, чем можно со всей страной поделиться, напишите, расскажите, сообщите. Иных вариантов у нас нет. Иначе не спасем, не восстановим себя...»

Заметили? Он просит помощи у тех, кого считает «не теми работниками». Да, стоит проникнуться риторикой упоительной речи Абалкина: «...но нет слоя мастеров и хозяев. Нет качества массы... Причем я имею в виду и управленцев, и экономистов, и финансистов... А наберется ли у нас в многомиллионной стране хоть с десяток людей, которые разбираются по-настоящему в банковской политике?»

Насколько я понимаю, институт, возглавлявшийся Абалкиным, можно распустить за непригодностью хоть сегодня...

Если мы не пожалеем времени и внимательно перечитаем «Лунный ландшафт...», то без труда заметим, что своей программы у нашего академика нет, зато он обладает

удивительной откровенностью. Обратите внимание:

«— Леонид Иванович, я знаю, что институт, возглавляемый вами, разработал целую программу ликвидации убыточных предприятий.

— Да... Но одна поправка: ликвидация убыточных предприятий. Это кооператоры и арендаторы нам подсказали...»

Браво! Все по подсказке, ну прямо-таки руководство к действию для отстающего школяра!

Но вернемся к БЦБК. Значит, закрытие? И никакой альтернативы? Неужели в проектном институте не читают газет, в том числе «Социалистической индустрии», в которой рассматривался вопрос о внедрении «Экоцелла» — абсолютно безвредного производства, разработанного ленинградским изобретателем кандидатом технических наук Ю. Ивановым. Способ запатентован в Швеции, Финляндии, Канаде, США, Японии. Технология разработана, но осваивать производство ЦНИИбуммаш не соберется. Похоже, что и Л. И. Абалкин не торопится их торопить. Почему? Все просто. Вот его слова: «Обратитесь к Японии, присмотритесь к Швеции... получилась цветущая, полная сил, качественная нация». Что ж, подождем, когда «качественная нация» еще и еще раз опробует технологию наших изобретений и потом нас же облагодетельствует за валюту.

Ну, а чем заняты сотрудники ЦНИИбуммаша? Уж, конечно, не разработкой безвредного и безотходного производства, когда есть дела поважнее. Какие? Кооперативные, наверное.

Передо мной — плакат, выпущенный типографией ВНИИполиграфмаша. Меловая бумага. Тираж — 48 000. Указано: экспериментальная типография. Пытаюсь понять, в чем эксперимент. Рекламно-художественный кооператив «Вернисаж» (с подачи фотографа И. Грановского) знакомит нас с театром-студией под руководством Аллы Пугачевой. Плакат красочный, двусторонний. На обеих сторонах — имя руководительницы театра, блистательные снимки групп «Турбо» (руководитель Д. Шадловский), «Капитан» (Г. Ивашкевич), фамилии А. Зейгермана и других музспецов. Крупным планом В. Пресняков — серьга в ухе (правом), правая коленка обвязана головным расписным платком (красным), желтая шестиконечная звезда у самого сердца... Смею надеяться, что тираж в сорок восемь тысяч позволит и вам, уважаемая редакция, ознакомиться с «шедевром» типографии и кооперативного предпринимательства.

О музыкальных кооперативах, вообще о кооперативах в искусстве, можно говорить много, но это — отдельная тема...

Поговорим все-таки о тех кооператорах, которые кормят нас, или, правильнее сказать, кормятся за счет нас. Нет надобности объяснять пути доходов кооперативщиков-туалетников, но проследим, как складывается прибыль пирожников. А для этого произведем небольшую калькуляцию. Я провела эксперимент в домашних условиях. На изготовление порции вафель (использовала сливочное масло, сахарный песок, а не суррогаты, к каким прибегают некоторые «изобретатели») уходит 1 руб. 80 коп. Получается в среднем 21—23 вафли. Себестоимость каждой — около 9 коп. На изготовление одной вафли уходит от 45 секунд до 1 минуты. Реализуются же они по цене от 30 до 60 копеек за штуку. Нетрудно высчитать реальные трудозатраты. Так зачем, спрашивается, получают продукты эти новоявленные кулинары? Чтобы вернуть нам в спекулятивном порядке? Милосердна ли такая экономика кооператоров?

Такие же расчеты нетрудно сделать относительно шашлыков, напитков и т. д. Все это вполне подходит и к пошивочным кооперативам. И вот что любопытно: экономист Г. Х. Попов, например, считает, что если кооператор будет продавать шашлыки подороже, да еще с вином, то в этом ничего страшного нет. Его мысль, высказанная однажды в Ленинградском Доме писателей и опубликованная в «Смене» 17 января 1989 г., быстро была подхвачена упоминавшимся уже мною профессором В. Н. Андреевым — винить-де кооператоров не за что: если покупатель готов заплатить за изделие 100 рублей, то смешно брать с него рубль.

Смешно Андрееву потому, что он сам — председатель кооператива и, будьте уверены, не продешевит...

Но оставим эти проблемы на совести экономистов подобного рода, поговорим о тех, кто их так широко рекламирует. В Ленинградском Доме писателей с многочасовыми беседами выступали и Г. Х. Попов, и Н. П. Шмелев — при благосклонном внимании одного из руководителей местного Союза писателей Д. А. Гранина. Удивительно, на чем только не строили люди свою предвыборную программу! Д. А. Гранин, например, обратился к милосердию ленинградцев. Да, конечно, ленинградцев не надо учить состраданию, они знали цену куска хлеба, кружки кипятка, полена в «буржуйке»...

Что же предложил для блокадников Гранин? Ни больше ни меньше — сдать в аренду иноземцам на сто лет 100 квадратных километров ленинградской земли, где когда-то проходили бои... Все контрдоводы ленинградцев, главным образом ветеранов войны и труда, Даниил Александрович умудрялся не услышать. А еще предложил наш маститый писатель собрать деньги в фонд «Милосердия». Ленинградцы это сделали. Теперь через газету мы узнаем, что Гранин решил на эти средства построить дом-ночлежку... не для блокадников, а для тех, у кого нет паспорта (или кто не пожелает его показать), но есть необходимость провести ночку-другую в городе. Естественно, читатели откликнулись возмущенными письмами-вопросами: для проституток и бомжей, что ли, будет это воздвигнуто?

Часто слушаю программы Ленрадио, где рассказывается о тяжелых жилищных условиях бывших блокадников. Люди не просят отдельных квартир, согласны хотя бы на комнату с элементарными удобствами. Годами тянутся ожидания. А что же Гранин с его декларируемым милосердием?..

На одной из встреч с народным худож-

ником СССР И. С. Глазуновым я узнала, что он перечислил нашему городу около полумиллиона рублей на развитие культуры, восстановление памятников и т. д., хотя никогда Илья Сергеевич не произносил пространных речей о милосердии. Он просто поступал и поступает милосердно по отношению к ленинградцам.

Н. Я. ТОМАНОВСКАЯ.
Ленинград

НЕ ТИРАЖИРОВАТЬ КОЩУНСТВО!

Еще пять лет тому назад мы, ветераны Великой Отечественной войны, вопреки чувству самосохранения ехали в назначенный день и час в любую отдаленную школу, чтобы рассказать о наших сверстниках, наших однополчанах, не вернувшихся из полета в дальний тыл врага. Мы не щадили при этом ни наших раненых и застуженных в болотах ног, ни наших сердец, надорванных ратным и мирным трудом. В чем черпали мы остатки этих сил? В надежде в который уж раз увидеть в глазах наших внуков весь калейдоскоп чувств: тревогу и боль, гордость и радость. Прошло лишь несколько лет, а в глазах школьников, особенно старшеклассников, все чаще видим мы то равнодушие, то откровенный скепсис... По-видимому, не трудно догадаться о причинах такой метаморфозы: идет безудержное манипулирование общественным мнением по собственному произволу л ю б о г о теле-, радио- или газетного журналиста, идет массированная атака хорошо срежиссированной кучки писателей, критиков, докторов всех мыслимых и немыслимых наук на отечественные святыни. Посмертно репрессируется Павлик Морозов, обесценивается подвиг не вернувшихся из Афганистана наших солдат и, наконец, подвергается осмеянию самое трагическое событие истории СССР — Великая Отечественная война.

В начале марта 1989 года на ежемесячном заседании президиума Совета ветеранов войны Авиации Дальнего Действия в числе таких разрушительных акций упоминался литературный «труд» гражданина ФРГ В. Войновича, охотно опубликованный редакционной коллегией журнала «Юность». Не все из присутствовавших смогли прочесть «Чонкина» к этому времени, но появившаяся в начале мая в «Ветеране» статья «Кощунство», обращенная к А. Дементьеву и В. Коротичу, радостью отозвалась в наших сердцах: оценка, данная редакторам журналов «Юность» и «Огонек» клубом «Золотая Звезда», совпала с нашей. И это был скромный подарок к 44-й годовщине Победы. Но вот минуло 9 мая, и по искалеченным нашим телам и истерзанным сердцам 15 мая лихо прокатилось «Пятое колесо» Ленинградского телевидения. «Силовой конструкцией» этого колеса были В. Войнович, Э. Рязанов и некий репортер, люто ненавидящий наше военное прошлое и статью Конституции, предусматривающую защиту Отечества.

Куда больше часа продолжалась эта телевизионная вакханалия... Вот некоторые ее вершинные достижения, которые вопреки нашему желанию запомнились. Мы услышали циничное признание зарубежного «страдальца» о той звериной ненависти, которую испытывал «творец» «Чонкина» к стране, где долгие годы исправно перерабатывал пищевые продукты и бесплатно пестовал свой незаурядный «интеллект». Впрочем, не остыла его ненависть и сегодня: всех коллег своих по Союзу писателей он лихо поделил на чистых (шибко талантливых!) и нечистых (ярко-серых!). Последних, по его подсчетам, оказалось подавляющее большинство. Что же, «приятного аппетита» вам, товарищи секретари СП СССР, поспешившие в угоду «радетелям» нашей перестройки из зарубежья с отменой своего справедливого решения об исключении господина Войновича из Союза с о в е т с к и х писателей. Но мы, участники Великой Отечественной, не можем бездумно хихикать вместе с теми, кто, читая роман господина Войновича, «смеялся без удержу» (критик И. Золотусский). Мы категорически протестуем против предоставления телевизионной трибуны тем «гражданам мира», которые в погоне за свободно конвертируемой валютой злобно издеваются над русским народом, «не страшась (?!) выставить под лучи смеха одно из самых т р а г и ч е с к и х (разрядка моя. — В. П.) событий эпохи: войну...»

«Пятое колесо» раскрыло нам и дальнейший зловещий замысел симбиоза «Войнович — Рязанов». В присущей ему развязной манере последний поведал телевизионной аудитории, что совершил «гражданский» подвиг: отказался от валютоемкой поездки к Войновичу в ФРГ, а добился его приглашения в СССР для «творческой» работы над сценарием. Итак, пропагандисты «Чонкина» — несостоявшийся народный депутат А. Дементьев, лихой интерпретатор А. Островского Э. Рязанов и огоньковский корпус критиков «быстрого реагирования» (см. «Огонек» № 21, 1989), вооружившись затасканным и «неотразимым», по их мнению, аргументом изобличения сталинской военщины, радуются возможности продолжать кощунство в масштабах геометрической прогрессии: не всякий обыватель заставит себя прочесть почти 400 страниц пошлости, а посмеяться над своими молодыми отцами и матерями, дедушками и бабушками в кинозале за неконвертируемую рублевку — это пожалуйста. И ведь невдомек будет многим потенциальным зрителям, что «старатели» изобличений озабочены совсем другим: как побольней унизить, как поэффективней вывалять в грязи защитников Отечества — мертвых и живых! Даже эмигрантский журнал, писавший о «Чонкине» еще в 1975 году, горько упрекал автора за неправду 1941 года. Даже в чужой стране помнят о великой нашей беде, а доморощенные наши «интеллектуалы» озабочены тем, чтобы будущие их зрители «обхохотались» до п о л н о й потери желания защищать свою родину.

И, наконец, о телерепортере. Не запомнилась его фамилия, но навсегда врезалось в память его паясничание перед камерой: набор провокационных вопросов, с трудом сдерживаемый восторг в ожидании очередной дозы гадостей Войновича и развязностей Рязанова, ухмылки и ужимки перед объективом — все это выдает результат нынешнего нравственного воспитания молодых. Не всех, конечно, а только тех, кто охотно усвоил и овладел неконструктивным критиканством и разрушительным нигилизмом. К счастью, это под силу только тем, кто «не пашет, не сеет, не строит, не г о р д и т с я общественным строем».

Вот почему мы, оставшиеся в живых, от имени павших и своего имени еще раз принародно протестуем против глобального кощунства — теперь против экранизации глумливого шедевра.

Люди, защитите от надругательства «талантов» простых солдат!

В. А. ПЕРОВ,
ветеран войны.

ГРИМАСЫ НОВОЙ ТЕХНИКИ

Итак, сравнив цену с себестоимостью и убедившись, что желания расходятся с возможностями, предприятия, дабы увеличить прибыль, вынуждены искать способы сокращения собственных издержек. В этом суть хозрасчета. Каковы же эти способы? Их много. Есть и запрещенные, недозволенные, но не о них речь. Главный, основной — новая техника.

Еще свежи в памяти счетных работников многопудовые «рейнметаллы», «искры», «вильнюсы» — капризные и гремящие. И в цене — до нескольких тысяч рублей за штуку. И вот появились полупроводники, печатные схемы, жидкие кристаллы. Созданная на их основе счетная техника стала не только в сотни раз изящнее, точнее, быстрее в работе, но и — что самое главное — дешевле. Не дороже, как того требуют вульгарная «экономическая» формула «Чем товар лучше, тем он дороже» или торопыги от экономики, «открывшие» и продолжающие «открывать» все новые и новые способности цены, а дешевле в те же сотни раз! Почему? Да потому, что основное требование закона стоимости, прямо и исподволь регулирующего наши хозяйственные отношения, гласит: цены должны быть эквивалентны затратам.

Тонна стали, выплавленной сегодня в конвертерной нови на Днепропетровском заводе им. Петровского, на 17 рублей 96 копеек дороже, чем в мартеновском цехе — старом, давно намеченном к сносу. Вот к чему приводит игнорирование этого требования. Дело в том, что в конвертерах — предмете гордости министерских администраторов — сталь получают, переплавляя в основном страшно дорогой чугун. В мартенах же практически можно получать всю сталь из даровых отходов — металлолома. Два десятка лет мы сравнивали цену чугуна с ценой лома и вместе с металлургами, академическими и госплановскими экономистами хлопали в ладоши конвертерам, пока не наступило прозрение.

Игра в цены, вольности с ними опасны. Новая техника должна поражать нас не просто скоростями или размерами, весом или надежностью и тому подобными техническими отличиями от старой, а прежде всего дешевизной. Она призвана сокращать общие затраты труда, но не увеличивать их. Иначе грош ей цена. К сожалению, ослабленная безответственностью и равнодушием к экономике инженерная мысль проектных и технологических институтов в металлургии забросала заводы отрасли такой новой техникой, от которой, кроме огромных потерь средств из-за удорожания продукции, ожидать нечего. 9-я домна «Криворожстали», как свидетельствует стела, установленная рядом с этим грандиозным сооружением, обошлась в такую сумму, сколько потрачено по крайней мере на целый металлургический комбинат в Макеевке, где помимо доменного цеха, равного по мощности упомянутой «девятке», работают агломерационный, мартеновский, прокатные и масса вспомогательных цехов. Немудрено, что себестоимость каждой тонны чугуна у этого стоимостного монстра на десять рублей выше, чем у «старушки» домны № 4 того же предприятия.

Новейший конвертерный цех на заводе им. Дзержинского также не радует нас своей дешевизной — чуть ли не в десять раз дороже старого, мартеновского, рядом находящегося. Стали в этом «последнем слове» получают почти вдвое меньше, и снова на каждой ее тонне завод теряет без малого десять рублей.

Теперь об одном из днепропетровских «долгостроев» — ныне действующем стане «550» завода им. Петровского. Прокатный стан, как известно, не увеличивает выплавку стали и, следовательно, выпуск проката, его стоимость, приближающаяся к стоимости основных фондов завода, крепко увеличивает заводские издержки, буквально разоряет предприятие в условиях самофинансирования. Только за шесть месяцев 1988 года в основном из-за работы стана «550» завод им. Петровского «подарил» обществу 11,7 миллиона потерянных рублей, связанных с удорожанием каждой тонны проката. Такова цена еще одной из наших «надежд» — новой техники...

Как показали исследования, сумма потерь в металлургии от непрерывного роста общих удельных затрат за период с 1970 по 1985 год составила примерно 61,5 миллиарда рублей! Казалось бы, достаточно, чтобы убедиться наконец в насущной необходимости перестройки, демократизации управления, хозрасчета. Впрочем, при существующих условиях управления производством, его экономикой, в условиях столь вольного обраще-

ниэ с ценами всякая попытка назвать истинную величину потерь обречена на неудачу. В этой связи нельзя назвать точными и наши цифры.

Главное, что запутывает экономику, осложняет счет потерь или, напротив, выигрыша, — это цены, ценообразование. А если точнее — периодические пересмотры цен. Внедряясь инородным телом в живой организм экономики, они, эти пересмотры, настолько запутывают картину производства, что всякая попытка точно сравнить результаты хозяйствования в масштабах объединения и даже отдельного предприятия просто невозможна.

Цена есть денежное выражение затрат труда, стоимости товара. Это знает каждый, кто знаком с теорией политической экономии. Значит, жонглировать ценами равносильно тому, как если бы нам вздумалось «пересматривать» возраст человека, складывающийся из дней, месяцев и годов его жизни — вчера кому-то было 25 лет, а сегодня вдруг — 45! Не правда ли — абсурд? А вот по отношению к ценам товарищам из Госкомцен это абсурдом не кажется.

Как при этом прикажете «считать» экономику? В ценах «до того» или после пересмотра? Или не обращать внимания на искусственное изменение? А как быть с тем, что осталось неизменным, — например, заработная плата, амортизационные отчисления, стоимость фондов и т. д.? Что делать, если в разных отраслях по-разному «пересмотрелись» цены? Вот и возникают сотни вариантов счета, и каждый из них по-своему справедлив, и все они далеки от истины. Вольно или невольно, но приходится делать ставку на анализ конкретных бед, конкретных потерь на конкретных предприятиях, совершенно не владея общей ситуацией.

Начнем с мариупольского металлургического комбината «Азовсталь». На этом предприятии недавно построили новые конвертерный цех, прокатные станы. Не будем говорить об их стоимости, посмотрим на конечный результат, печальный результат... После реконструкции завода, после ввода в эксплуатацию новой техники общие затраты на один рубль товарной продукции возросли на 31,58 копейки! Начиная с 1979 года ежегодный «взнос» в копилку потерь по отрасли составил 230 миллионов рублей. Почти три потерянных завода «Запорожсталь» по стоимости основных фондов этого предприятия в 1980 году — такова цена новой техники, перевооружения «Азовстали» за семь минувших лет. (Справка: на Победу в Великой Отечественной войне работало, плавило металл всего лишь около двух «Запорожсталей» образца 1980 года по мощности.)

Не лучшим образом обстоят дела и на «Криворожстали». Здесь тоже в результате расширения предприятия, оснащения его новыми агрегатами терялось начиная с 1979 года ежегодно по 200 миллионов рублей. И, естественно, потери будут продолжаться (без учета, как и в случае с «Азовсталью», дополнительных утрат из-за увеличения выпуска продукции и привычного, традиционного, к сожалению, роста ее удельных издержек). Еще 2,4 «Запорожстали»!

Теперь заглянем на Новолипецкий металлургический комбинат, построенный тоже недавно, — с большими домнами, непрерывной разливкой и новейшими прокатными станами. Обошелся этот завод по «последнему слову» Гипромеза страшно дорого. По стоимости своих производственных фондов на 1985 год, например, он в 1,16 раза обскакал знаменитую Магнитку. Однако по конечному результату, то есть по выпуску продукции, этому молодому скакуну еще так далеко до ветерана — отставание в 1,42 раза. С учетом дорогих фондов, дорогой продукции конвертеров, перерабатывающих в основном чугун и сталь (а не лом), издержки новолипецких металлургов гораздо выше, чем на Магнитке. В среднем по 22 копейки, при сравнении со «старой» мартеновской Магниткой, теряет отрасль от эксплуатации этого вновь испеченного творения на каждом рубле его товарной продукции.

Новое предприятие не оправдало надежд. Вместо того чтобы работать с более низкими затратами ресурсов, оно стало пожирать этих ресурсов еще больше. Началось развитие неприметного для общества производства средств производства ради удовлетворения собственных нужд. А ведь всякое непредвиденно увеличенное потребление тянет за собой либо повышенные планы для действующих предприятий, либо нужду строить новые заводы. Все это, особенно довески к планам, усложняет проблемы снабжения, порождает дополнительные дефициты, нарушения условий поставок, снижает качество продукции. Не «замечая» названной причины, борясь со следствиями, порождаемыми ею, очень трудно надеяться на успех. Самый надежный выход из положения — новая техника должна быть обязательно дешевле старой!

Разговор о Новолипецке закончим такой информацией: за пять лет потеряно средств, которых с лихвой хватило бы уже почти на три «Запорожстали» все того же образца 1980 года.

Еще одна новь — Западно-Сибирский металлургический комбинат (мартенов нет). Разрыв в общих затратах по сравнению с Магниткой еще выше: 29 копеек на каждом рубле товарной продукции. В среднем «Запсиб» имеет потери, равные стоимости 2,4 «Запорожстали».

Чтобы не распылять внимание читателя на более мелких издержках, также связанных с новой техникой, остановимся еще на трех очень любопытных предприятиях, отличающихся от своих предшественников прямо-таки «революционной» технологией, но, увы, не экономикой (уточним: не эффективной экономикой). Речь идет об Оскольском заводе, где нет доменных печей, и о новых, как их называют в металлургии, «мини-заводах», работающих полностью на металлоломе.

В 1985 году общие затраты у оскольских металлургов были более чем в 3 (три!) раза выше магнитогорских. Можно, хотя это и трудно, представить себе картину тех неурядиц, сбоев, кутерьмы в снабжении отрасли ресурсами, когда вдруг начинает работать подобный «новатор», пожирающий в три раза больше того, что до сих пор тратилось на получение какой-то единицы привычной продукции. Чтобы покрыть неумеренные аппетиты этого предприятия, народное хозяйство должно расширить ежегодное производство средств производства (опять-таки ради производства средств производства) на сумму в 270 миллионов рублей! Только «благодаря» такой вот новой технике общество вместо 38 880 квартир вынуждено строить новые или расширять, реконструировать старые заводы, цехи, которые будут погашать излишне возросшее в отрасли потребление всевозможных ресурсов.

Теперь о «мини-заводах». По сравнению все с тем же представителем старой техники продукция их оказалась дороже: на Белорусском «мини» в 3,3 раза, на Молдавском — в 3,56 раза. Белорусский «мини-завод» стоит почти столько, сколько «Запорожсталь» (1980 года), а вот продукции в 1985 году выдал в... 14,8 раза меньше! Не помогла и работа на одном дешевом ломе. Снова сотни миллионов потерь, снова «Запорожстали» ради... «Запорожсталей», но — не жилье, не быт, не пища и не одежда...

Грустное перечисление новотехнических гримас в металлургии можно продолжать и продолжать. Вывод, который должны сделать предприятия, перешедшие на хозрасчет и самофинансирование, напрашивается сам собой: не попадаться на наживку новизны, проверять и проверять проекты новой техники и технологии, настороженно относиться к детищам проектных и технологических НИИ. Ведомству же по черной металлургии следует поставить работу своих многочисленных ученых и проектировщиков в прямую зависимость от реального снижения издержек производства на предприятии, где осуществлены их советы и рекомендации. К тому же — обязательно в сравнении с лучшими достижениями старой техники. Новая, как известно, должна понижать эти издержки минимум на пятнадцать процентов — только в этом случае она будет полезна.

Специалистам соответствующих учреждений, позабывшим свое ремесло, растерявшим новаторские способности, следует обратиться к багажу идей, накопленных в наших патентных организациях. Например, к простейшей идее переоборудования существующих мартенов в прямоточные печи с воздухонагревателями, которые, по словам ныне уже покойного профессора Семикина, способны не только соперничать по производительности с конвертерами, но и перерабатывать лом в неограниченном количестве. Лома же сейчас в стране столько, сколько нужно для выплавки из него 80—90 процентов всей стали.

Запуску в оборот такого количества металлических отходов помогла бы прокатка подогретого лома, сообщение о которой появилось в трудах НИИмехчермета лет двенадцать тому назад. Идея эта была загублена все тем же безответственным отношением к экономике и непонятно почему высокими ценами на даровой лом. А что означает выплавка основной массы стали из отслужившего свой век металла? Реальное законсервирование десятков ГОКов, коксохимических заводов, рудников и угольных шахт, доменных цехов, высвобождение десятков тысяч рабочих рук. Безработица? Нет. Цехи и рудники, шахты и агломерационные фабрики — отнюдь не филантропические заведения. Труд в них тяжел, опасен для здоровья, а иногда и для самой жизни человека. Переключение высвободившихся рабочих на строительство жилья и дорог, на производство предметов питания и одежды сделает всех нас только богаче, убережет поля от уничтожения, а наши легкие — от дыма и копоти.

В проблемах, связанных с ломом, можно найти немало недугов, которыми поражено управление промышленным производством. О ценах на него мы уже говорили — они высокие. Теперь немного о причинах того, что отходы металлообработки или строительства не используются полностью. Мы только что назвали цифру возможной выплавки стали из текущих отходов. Если же учесть все, что погребено в балках и оврагах, на свалках и просто на полях, то лома хватит на десятки лет работы металлургии вообще без чугуна!

В свалках вторичного металла повинен Госплан. Планируя от достигнутого, он тем самым «заставляет» предприятия выбрасывать случайные излишки лома, отмахиваться от идей рационализаторов, предлагающих резкое сокращение металлических отходов. Мы справедливо обвиняем работников Втормета в нерасторопности, председателей колхозов и директоров совхозов в том, что не сдают списанные трактора, и т. д. Все верно, но не это главное. К сожалению, до сих пор никто не назвал основных виновников — самих металлургов, которые вкупе с Госпланом немало сделали, чтобы перекрыть дорогу лому в сталеплавильный передел и направить его на свалки. Парадокс? Ничего подобного. Куда прикажете направлять отходы? В уже упомянутый конвертерный цех завода им. Петровского? Нельзя — не переварит, поперхнется. Хорошо, что есть старушки-мартены, иначе быть бы заводу экспортером собственного лома, которого, кстати, получается двести — двести пятьдесят килограммов от каждой тонны выплавленной стали. А потребляется в конвертерах всего лишь сто килограммов. (Ненамного больше используется его в новых цехах «Криворожстали». Полностью конвертерный «Запсиб» перерабатывает аж 286 килограммов...)

То же можно сказать о конвертерных цехах Череповца, Новолипецка, Караганды, Мариуполя и других металлургических городов.

Естественно, что в электропечи дополнительный лом не подать, там его и так сто процентов. Остается одна надежда — могикане-мартены, над которыми уже за-

несен «топор» реконструкции. В свое время они и были созданы для переплава вторичного металла, ибо в их предшественниках — бессемеровских конвертерах с плавкой лома не получалось.

К сожалению, все послевоенное время мартеновцы, подгоняемые благими с виду намерениями Госплана, наращивали производительность своих сооружений, увеличивали емкость печей. Они возводили за забором цеха дорогие кислородные агрегаты, прожигали струей кислорода шихту, ускоряли плавку. Чтобы не засыпать пеплом города и веси, рядышком строили газоочистки, стоимость которых нередко уравнивалась со стоимостью самих печей. (Скептики говорят, что дыма при этом не убавлялось, просто он слегка перекрашивался.) И потихонечку добавляли в шихту жидкий чугун. Как и в конвертерах, где почти один чугун, процесс шел скорее. Конечно же, основное назначение мартенов как агрегатов—утилизаторов лома было подзабыто. А вслед за этим забыли и экономику сталеварения. Вот и перерабатывается на последних «мартеновских» заводах от силы по пятьсот-шестьсот килограммов лома, хотя выплавлять из него можно всю сталь.

Конечно, сегодня не может быть и речи о том, чтобы мартены враз использовали бы все свои возможности и переключились на выплавку стали только из металлических отходов. Случись такое — затянулась бы завалка и плавка в целом, страна недополучила бы десятки миллионов тонн стали, полетели бы все обязательства по поставке продукции в срок. Вряд ли в таких условиях сократились бы издержки производства, хотя прокат, полученный из дешевого лома, стал бы, естественно, дешевле.

Именно поэтому и предлагаем металлургам подумать о прямоточных мартенах, о прокатке подогретого лома. Мы уж не говорим о простых способах увеличения доли вторичного сырья в шихте без ущерба для производительности мартенов и, что, пожалуй, самое главное, о дешевых способах выплавки стали из одних металлических отходов.

Но для этого потребуются новые способы управления. Не отыскание технологий в кабинетах министерства, а конкурсы идей, инициатива предприятий. А еще — строжайший спрос за экономику производства. За экономику, а не за «технический» или еще какой-нибудь «уровень». В этой связи считаем уместным задать вопрос директору Магнитогорского комбината: надеется ли он получить от начатой реконструкции сокращение издержек? Не сбросит ли новая техника возглавляемое им предприятие с заслуженного передового места из-за размеров затрат?

Теперь о накопленных сокровищах идей (о нашей службе патентной). Есть в этом багажнике и по-настоящему революционные идеи. Одна из них, например, — получение рядовой стали, по своим свойствам не уступающей страшно дорогой легированной, к тому же изготовленной способом шлакового переплава. Поясним.

В случае успеха годовой эффект по отрасли более чем сто миллиардов рублей! Стоит игра свеч? И разве лучшую перспективу сулит отраслевой проект перевооружения металлургии, предусматривающий лишь непрерывную разливку да замену мартенов конвертерами, в которых уровень переплава лома будет доведен до сорока процентов? Заметим, что мартены Петровки перерабатывают сегодня свыше шестисот килограммов вторичного металлосырья с каждой тонной стали. Проект этот, ничего по сути не меняя, проглотив массу средств и сил, лишь увеличит отраслевые издержки.

Чтобы поскорее избавиться от «ломобоязни», которой так устойчиво подвержены сталевары, следует, на наш взгляд, пролить свет на истинную эффективность использования вторсырья при выплавке стали. До того, как решится проблема ценообразования (к сожалению, разговоры в научной и популярной печати на эту тему не наполняют наши души оптимизмом), металлургам следует незамедлительно решить вопрос с оценкой хотя бы собственного оборотного лома по его себестоимости. Если эти отходы, идущие транзитом в сталеплавильные печи, то цена им — нуль. Если же они предварительно подготавливаются, то ценить надо по издержкам подготовки. Иными словами, в оценке оборотный лом не должен отличаться от любых полуфабрикатов собственного изготовления, которые давным-давно передаются внутри предприятия по их себестоимости. Такая оценка не вызовет никаких изменений в экономике предприятия: что прокатчики потеряют не обрези, то выиграют на себестоимости стали. И наоборот — стоит увеличить цену на обрезь проката, и понижение себестоимости блюмсов тут же перечеркнется ростом себестоимости стали.

Но «игра» в цены не так уж и безобидна, как может показаться по прочтении этих рассуждений. Дело в том, что повышение цены на лом порождает опасное равнодушие к нему у сталеплавильщиков, в чем мы уже убедились. Но и прокатчикам, в случае, например, оценки обрези по себестоимости проката, ничего не дает борьба с ней. Напротив, понижение цены на отходы стимулирует усилия, направленные на их сокращение. Выходит, все говорит за достойную, то есть по фактическим затратам, оценку лома!

Как видите, уважаемый читатель, ценообразование, если оно изберет ошибочный путь, может во многом поубавить наши надежды на хозрасчет и самофинансирование. Тем более что уродливые цены скрывают целый ряд негативных явлений не только от взора не посвященного в таинства экономики человека. Чтобы разобраться в скрытых (пока) явлениях, нужны усилия мысли, свободной от пут традиционных заблуждений. Но это тема для специального разговора.

Хозрасчет есть хозрасчет... Десятки, а может, сотни предприятий отрасли, выпускающих одинаковую продукцию, сравнивают свою с эталоном. Кто-то оказывается на высоте, у кого-то и копейки не задержится в кармане. Ведь себестоимости одинаковых изделий индивидуальны, как и характеры производителей. У электроэнергии, например, максимальная себестоимость в 36 (!) раз выше минимальной. У цемента такое различие — двенадцатикратное. Естественно, внимание любой отрасли сосредоточится в первую очередь на замыкающих, может быть, даже убыточных заводах и фабриках. Уже сейчас раздаются призывы закрывать их. Но не будем спешить, не так-то просто одним махом разделаться с отстающими. Закрыть, скажем, металлургический завод — значит лишить сотни предприятий и строек проката. Есть и поважнее проблемы. Как, например, заставить десятки тысяч предприятий с относительно благополучным соотношением цены и себестоимости не почивать на лаврах, а столь же энергично, как и отстающие, искать резервы дальнейшего снижения затрат? Нам кажется, что именно эта проблема сегодня наиболее достойна внимания общественности.

Итак, авторы как могли «реабилитировали» свои расчеты потерь в обществе от промахов металлургов. И пришли к умозаключению: никакого успеха, выраженного через прибыль, через рост производительности труда и выпуска продукции, нет! Значит, все дело в искажении действительности, в разнонаправленности вышеозначенных показателей и интересов общества? Получается, что оно, общество, рукоплеща производственникам за выполнение им самим же назначенных норм, заставляет их впустую транжирить ресурсы?

Если так, то хозрасчет, который — это уже можно смело утверждать — не блажь, а средство исцеления экономики производства, нуждается в немедленной, неотложной помощи, пока старые критерии и условия не дискредитировали замечательное начинание.

Кандидаты наук О. ЗОРИН, В. СОБОЛЕВ, Л. АЛЕКСЕЕНКО, И. СОБОЛЕВ.
Инженеры-экономисты Н. КАСЬЯНЕНКО, Г. ГОСТЕВА.

«ЭВРИКА!» — ХОРОМ!..

Нынешняя «глубоко продуманная» система изобретательства, по моему мнению, не способствовала и не способствует развитию научно-технического прогресса в нашей стране. Она не только не ограничивает «соавторство», но и широко поощряет его, о чем свидетельствует установленная «вилка» в оплате поощрительного вознаграждения (от 20 до 200 рублей за одно авторское свидетельство, если оно получено через организацию, но не более 50 рублей одному автору или соавтору).

Ценность любого изобретения, как известно, определяется не количеством соавторов, однако «вилка» недвусмысленно провоцирует включение в «соавторы» руководящих работников, так как при этом оплата ведется, как правило, по максимуму, то есть по 50 рублей каждому, а в случае одного автора последний получает 20+30 рублей и к тому же становится опальным: посмел не включить начальство!

Получение же авторского свидетельства не через организацию не одобрится вовсе — будто в этом случае оно не становится достоянием государства и не содействует развитию научно-технической мысли.

Включая начальство в «соавторы», изобретатель нередко обеспечивает себе продвижение по служебной лестнице. Ну чем не скрытая форма взятки! В свою очередь руководители, оказавшиеся таким образом в списке «людей пытливой мысли», еще прочнее утверждаются в своих креслах; лавинообразный поток получаемых ими авторских свидетельств создает иллюзорное представление о них как об основных, главных изобретателях, генераторах идей.

Несомненно, законодательное ограничение соавторства (до двух-трех как исключение, с обязательным утверждением в общественных организациях) сразу же выявило бы немалое число бездарных руководителей, занимающих не свои посты.

Соавторство в изобретательстве подобно многоженству — оба явления преступны, только последнее по закону наказуемо, а первое не только не преследуется, но и широко вознаграждается служебным продвижением, учеными степенями и званиями, премиальными и различными денежными выплатами.

Всем отлично известно, что воскликнуть «Эврика!» может только один. Ему одному и принадлежит право быть автором собственной идеи, за исключением, может быть, идей «тягучих», связанных, например, с изучением разных растворителей и выбором из них наиболее эффективного, подбором реагентов и получением целевого продукта и некоторыми другими процессами. Соавторство именно в «тягучих» изобретениях должно утверждаться общественными организациями — и ни в каких других случаях. Впрочем, часто даже в подобного рода работы руководители не вносят никакого вклада. Но выявить это трудно, поэтому таких «новаторов» тоже принято называть «тягучими».

Монопольное включение руководителей в число соавторов породило феодальное отношение к судьбам изобретений: начальники внедряют их, даже если есть иные технические решения, с несравненно большим экономическим эффектом.

«Феодалы-соавторы» обеспечивают свободное прохождение заявок через экспертизу ВНИИГПЭ. Тут во всю мощь действуют и сильно преувеличенные оценки в заключениях, и личное влияние начальственных «соизобретателей» на экспертов. Не важно, что заявки оформляются порой на общеизвестные и вообще бесполезные технические рекомендации,— все равно прохо-

дят без задержки. А это весьма губительно влияет на деятельность Госкомизобретений, выдающего массу таких ненужных свидетельств.

Сращивание аппарата Госкомизобретений с «феодалами» приводит к выхолащиванию самого понятия «изобретение» и к насаждению во ВНИИГПЭ неквалифицированных экспертов, через которых легко протолкнуть сомнительные технические идеи «соавторов» из различных организаций, ведомств, городов, сгруппировавшихся, нередко по национальному признаку, вокруг одного авторского свидетельства. В подтверждение могу сослаться на более чем двадцатилетнюю «деятельность» одного такого эксперта — Рафаила Леонидовича Данилова, выдавшего массу никчемных или ранее известных свидетельств «соавторам», преимущественно своим «друзьям» — таким, как Д. И. Хараз, В. М. Турецкий и Б. И. Псахис из НПО «Техэнергохимпром», Б. А. Минкус и А. Г. Дергачев из ОТИХПа, И. М. Калинин, Н. Г. Шмуйлов и Т. М. Сутырина из ВНИИхолодмаша, и многим другим, за что столь щедрый эксперт был наконец отчислен из ВНИИГПЭ. Он же выдавал авторские свидетельства на то, что было ранее описано в его же собственной книге. Обладателями одного из столь «ценных» документов (№ 226443, 1967 г.) стали Э. Г. Айнбиндер, А. И. Батманов, И. Н. Госис, Г. В. Курилов, В. Т. Грицак, О. А. Кремнев, В. О. Кулинков, Л. С. Неустроев, Ф. А. Овенко, А. Т. Балабанова, Г. М. Лившиц. Предмет изобретения, по поводу которого был оформлен указанный документ, взят из книги И. С. Бадылькеса и самого Р. Л. Данилова «Абсорбционные холодильные машины» (М., Пищевая промышленность, 1966, с. 262). Выдал Рафаил Леонидович и авторское свидетельство (№ 589530, 1978 г.) с предметом изобретения, на которое сам ранее получил такой же документ (№ 320685, 1972 г.) в соавторстве с Б. С. Вейнбергом, Я. Л. Вайнштейном и Л. Н. Вайном, в свою очередь «заимствованное» из германского патента № 396878, 1921 г., 17а 1/02. А выдал он его А. П. Кузнецову, Д. Н. Еременко, В. Д. Чертоку и Б. А. Ломовцеву.

Перечень таких возмутительных акций с авторскими свидетельствами можно продолжать до бесконечности, но и приведенные факты со всей очевидностью показывают, что система изобретательства у нас построена не для развития научно-технического прогресса, а в ущерб ему. Обидно, что все это происходит на глазах научно-инженерной общественности, которая, естественно, все видит, все знает, но хранит гробовое молчание.

В. М. ШЛЕЙНИКОВ,
кандидат технических наук.

ОТ РЕДАКЦИИ

В 1989 году журнал «В мире книг» (с шестого номера выходит под названием «Слово») возглавил новый главный редактор Арсений Ларионов. Предлагаем нашему читателю анонс «Слова» на конец 1989 года и на 1990 год.

В номерах 10—12 «Слово» продолжит публикации: воспоминания Арона Симановича, личного секретаря Григория Распутина; фрагментов из «Окаянных дней» И. А. Бунина; «Жизнь Иисуса» Э. Ренана; писем Николая II.

«Слово» начинает печатать: воспоминания дочери Льва Толстого Александры Толстой; современную историческую повесть М. Вострышева «Заговор против отца»; отрывки из мемуаров Анны Вырубовой. В рубрике «От Февраля до Октября»: воспоминания А. Керенского, Б. Савинкова, В. Д. Набокова, П. Милюкова, генералов П. Краснова и А. Деникина, французского посла М. Палеолога, английского посла Дж. Бьюкенена, М. Родзянко, Л. Каменева, Г. Зиновьева.

В конце 1989-го и в 1990 году в рубрике «Историческая повесть» читайте произведения Г. Данилевского, В. Немировича, В. Мордовцева, В. Пикуля; в рубрике «Кудесники слова» — Е. Замятина, М. Пришвина, А. Ремизова, И. Шмелева; в рубрике «Русская мысль» — Н. Бердяева, В. Розанова, К. Леонтьева, В. Соловьева, С. Булгакова, П. Флоренского, В. Вернадского; в рубрике «По страницам эмигрантских журналов» — Б. Зайцева, В. Набокова, Г. Андреева, З. Гиппиус, М. Алданова, А. Солженицына, В. Яновского; в рубрике «Таинства магии» — сочинение С. В. Максимова «Нечистая, неведомая и крестная сила», а также «Встречи с ясновидцами» Дм. Жукова (со слов В. В. Шульгина); в рубрике «Литературное наследие» — В. Чивилихина, В. Федорова, И. Акулова, И. Майского, С. Маркова.

Из редких публикаций: воспоминания Айседоры Дункан «Моя исповедь»; размышления Надежды Мандельштам; дневники Бориса Шергина; неизвестные рассказы Арк. Аверченко; неоконченная повесть Н. Гумилева «Веселые братья».

На страницах «Слова» выступят писатели-современники: Виктор Астафьев, Василий Белов, Валентин Распутин, Юрий Бондарев, Сергей Воронин, Леонид Бородин, Иван Васильев, Юрий Лощиц, Петр Палиевский, Борис Екимов, Михаил Михайлов, Анатолий Ткаченко, Ярослав Шипов, Борис Споров, Виктор Лихоносов, Станислав Золотцев, Анатолий Рогов, Эмиль Амит, Эдуардас Межелайтис.

Подписка на «Слово» принимается во всех отделениях связи с любого номера без ограничений. В розничной продаже журнала нет. В каталоге «Союзкниги» ищите журнал «В мире книг» (индекс 70110).

В ближайших номерах читайте в "Нашем современнике":

Валентин РАСПУТИН. Статьи "ИЗ ГЛУБИН В ГЛУБИНЫ", "ПРАВАЯ, ЛЕВАЯ ГДЕ СТОРОНА?", "СМЫСЛ ДАВНЕГО ПРОШЛОГО".
Письма Василию БЕЛОВУ.
Аркадий САВЕЛИЧЕВ. Роман "ПЕРЕБОРЫ".
Гарий НЕМЧЕНКО. "ЗАСТУПНИЦА". Повествование в рассказах.
Фатей ШИПУНОВ. Очерк "ВЕЛИКАЯ ЗАМЯТНЯ".

В 1990 году:

Александр СОЛЖЕНИЦЫН. "ОКТЯБРЬ ШЕСТНАДЦАТОГО" (Из цикла романов "Красное колесо")
Юрий БОНДАРЕВ. Роман "ЖЕЛАНИЕ".
Сергей АЛЕКСЕЕВ. Роман "КРАМОЛА", книга вторая.
Валентин ПИКУЛЬ. Роман "СТАЛИНГРАД".
Рубрика "РУССКАЯ МЫСЛЬ": труды Н. БЕРДЯЕВА, С. БУЛГАКОВА, Н. ЛОССКОГО, В. РОЗАНОВА, Е. ТРУБЕЦКОГО, Г. ФЕДОТОВА.
Материалы, посвященные русской религиозной мысли прошлого и настоящего.
Записки П. А. СТОЛЫПИНА.

ПОДПИСКА НА "НАШ СОВРЕМЕННИК" ПРИНИМАЕТСЯ
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ
ДО ПЕРВОГО ЧИСЛА ПРЕДПОСЛЕДНЕГО МЕСЯЦА

ИНДЕКС 73274

Цена подписки на год – 9 руб. 60 коп.,
на полгода – 4 руб. 80 коп.,
на квартал – 2 руб. 40 коп.

В розницу журнал не поступает